ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

# Материнское поле



# Материнское поле

## Чингиз Торекулович Айтматов

Аннотация
Чингиз Торекулович Айтматов. Материнское поле
Материнское поле
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ранние журавли
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Прощай, Гульсары!
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Аннотация

Юноша Суванкул и девушка Толгонай клянутся делить счастье и беду поровну. Они делают все вместе: работают на родном поле, взращивают любимых мальчиков, строят по кирпичику дом. Война тянет из женщины свой кровавый оброк, перемалывает мужчин Толгонай жерновами исторических событий. Толганай скорбит, выплакивает полю отчаяние и боль, но находит силы жить дальше в труде, честности, заботах бабушки. Один раз спасла от смерти малыша, чуть не умерев сама: отнесла на руках к врачу по ледяной реке. Иногда Толгонай обращается к полю, спрашивает, как дойти до сердца каждого человека? Поле отвечает: «Ты – Человек. Ты выше всех, ты мудрее всех! Ты – Человек! Ты скажи!».

В составе сборника еще две повести автора: «Ранние журавли» и «Прощай, Гульсары».

# Чингиз Торекулович Айтматов
# Материнское поле

© Айтматов Ч.Т., наследники, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

# Материнское поле

*Отец, я не знаю, где ты похоронен.*
*Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову.*
*Мама, ты вырастила всех нас, четверых.*
*Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой.*

# 1

В белом свежевыстиранном платье, в темном стеганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идет по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не слышно в поле голосов людей, не пылят на проселках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли еще стада на стерню.

За серым большаком далеко, невидимо простирается осенняя степь.

Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыль и сухие былинки, бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки травой. Земля отдыхает после жатвы.

Скоро начнется ненастье, польют дожди, запорошит землю первым снегом и грянут бураны. А пока здесь тишина и покой.

Не надо мешать ей. Вот она останавливается и долго смотрит вокруг потускневшими, старыми глазами.

— Здравствуй, поле, — тихо говорит она.

— Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И еще постарела. Совсем седая. С посошком.

— Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день поминовения.

— Знаю. Жду тебя, Толгонай. Но ты и в этот раз пришла одна?

— Как видишь, опять одна.

— Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толгонай?

— Нет, не посмела.

— Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Думаешь, не обмолвится кто ненароком?

— Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подрос, теперь он может узнать и от других. Но для меня он все еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор.

— Однако человек должен узнать правду. Толгонай.

— Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле мое родимое, то, что знают все, не знает только он один. А когда узнает, то что подумает он, как посмотрит на былое, дойдет ли разумом и сердцем до правды? Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза.

Эх, если бы можно было просто в двух словах взять да и рассказать, будто сказку. В последнее

время только об этом и думаю, ведь не ровен час — помру вдруг. Зимой как-то заболела, слегла, думала — конец. И не столько боялась смерти — пришла бы, я противиться бы не стала, — а боялась я, что не успею открыть ему глаза на самого себя, боялась унести с собой его правду. А ему и невдомек было, почему так маялась я… Жалел, конечно, даже в школу не ходил, все крутился возле постели — в мать весь. «Бабушка, бабушка! Может, воды тебе или лекарства? Или укрыть потеплее?» А я не решилась, язык не повернулся. Уж очень он доверчивый, бесхитростный. Время идет, и никак не найду я, с какого конца приступить к разговору. По-всякому прикидывала, и так и эдак. И сколько ни думаю, прихожу к одной мысли. Чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нем самом, не только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, о всей нашей жизни и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Быть может, только так будет верно. Ведь тут ничего не выкинешь, ничего не прибавишь: жизнь замесила всех нас в одно тесто, завязала в один узел. А история такая, что

не всякий даже взрослый человек разберется в ней. Пережить ее надо, душой понять… Вот и раздумываю… Знаю, что это мой долг, если бы удалось его исполнить, то и умирать не страшно было бы…

— Садись, Толгонай. Не стой, ноги-то у тебя больные. Присядь на камень, подумаем вместе. Ты помнишь, Толгонай, когда ты первый раз пришла сюда?

— Трудно припомнить, столько воды утекло с тех пор.

— А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толгонай, все с самого начала.

## 2

Смутно очень припоминаю: когда я была маленькой, в дни жатвы меня приводили сюда за руку и сажали в тени под копной. Мне оставляли ломоть хлеба, чтобы я не плакала. А потом, когда я подросла, я прибегала сюда стеречь посевы. Весной тут скот прогоняли в горы. Тогда я была быстроногой косматой девчушкой. Взбалмошное, беззаботное время — детство! Помню, скотоводы шли с низовий Желтой равнины. Гурты за гуртами спешили на новые травы, в прохладные горы. Глупая я тогда была, как подумаю. Табуны мчались со степи лавиной, подвернешься — растопчут вмиг, пыль на версту оставалась висеть в воздухе, а я пряталась в пшенице и выскакивала вдруг, как зверек, пугала их. Лошади шарахались, а табунщики гнались за мной.

— Эй, косматая, вот мы тебе!

Но я увертывалась, убегала по арыкам.

Рыжие отары овец проходили здесь день за днем, курдюки колыхались в пыли, как град, стучали копыта. Гнали овец черные охрипшие

пастухи. Потом шли кочевья богатых аилов [1] с караванами верблюдов, с бурдюками кумыса, притороченными к седлам. Девушки и молодайки, разнаряженные в шелка, покачивались на резвых иноходцах, пели песни о зеленых лугах, о чистых реках. Дивилась я и, позабыв обо всем на свете, долго бежала за ними. «Вот бы и мне когда такое красивое платье и платок с кистями!» — мечтала я, глядя на них, пока они не скрывались из виду. Кем была я тогда? Босоногой дочкой батрака-джатака. Деда моего оставили за долги пахарем, так и пошло в нашем роду. Но хотя никогда не носила я шелкового платья, выросла приметной девушкой. И любила смотреть на свою тень. Идешь и поглядываешь, как в зеркало любуешься... Чудная была я, ей-богу. Лет семнадцать мне было, когда на жатве я и встретила Суванкула. В тот год он пришел батрачить с Верхнего Таласа. А я и сейчас закрою глаза — и точь-в-точь вижу его, каким он был тогда. Совсем молодой еще, лет девятнадцати... Рубахи на нем не было, ходил, накинув на голые плечи старый бешмет. Черный от загара, как прокопченный;

**[1] Примечания: 1**

По данным БСЭ: у киргизов и алтайцев в прошлом посёлок кочевого или полукочевого типа, обычно состоявший из родственников различных степеней.

скулы блестели, как темная медь; с виду казался он худым, тонким, но грудь у него была крепкая и руки словно железные. И работник он был — такого не скоро сыщешь. Пшеницу жал легко, чисто, только слышишь рядом, как серп звенит да колосья подрезанные падают. Бывают такие люди — любо смотреть, как работают. Вот и Суванкул был таким. На что я считалась быстрой жницей, а всегда отставала от него. Далеко уходил вперед Суванкул, потом, бывало, оглянется и вернется, чтобы помочь мне сравняться. А меня это задевало, я сердилась и гнала его:

— Ну, кто тебя просил? Подумаешь! Оставь, я и сама управлюсь!

А он не обижался, усмехнется и молча делает свое. И зачем я сердилась тогда, глупая?

Мы всегда первыми приходили на работу. Рассвет только-только наливался, все еще спали, а мы уже отправлялись на жатву. Суванкул всегда ожидал меня за аилом, на тропинке нашей.

— Ты пришла? — говорил он мне.

— А я думала, что ты давно ушел, — отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда не уйдет.

И потом мы шли вместе.

А заря разгоралась, золотились первыми самые

высокие снежные вершины гор, и ветер со степи струился навстречу синей-синей рекой. Эти летние зори были зорями нашей любви. Когда мы шли с ним вдвоем, весь мир становился иным, как в сказке. И поле — серое, истоптанное и перепаханное — становилось самым красивым полем на свете. Вместе с нами встречал восходящую зарю ранний жаворонок. Он взлетал высоко-высоко, повисал в небе, как точка, и бился там, трепыхался, словно человеческое сердце, и столько раздольного счастья звенело в его песнях…

— Смотри, запел наш жаворонок! — говорил Суванкул.

Чудно, даже жаворонок был у нас свой.

А лунная ночь? Быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна, огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас с Суванкулом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет Суванкула. А подушкой под головой был привалок у арыка. То была самая мягкая подушка. И это была наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе… Натруженной, тяжелой, как чугун, рукой Суванкул тихо гладил мое лицо, лоб,

волосы, и даже через его ладонь я слышала, как буйно и радостно колотилось его сердце. Я тогда сказала ему шепотом:

— Суван, ты как думаешь, ведь мы будем счастливыми, да?

И он ответил:

— Если земля и вода будут поделены всем поровну, если и у нас будет свое поле, если и мы будем пахать, сеять, свой хлеб молотить — это и будет нашим счастьем. А большего счастья человеку и не надо, Толгон. Счастье хлебороба в том, что он посеет да пожнет.

Мне почему-то очень понравились его слова, стало так хорошо от этих слов. Я крепко обняла Суванкула и долго целовала его обветренное, горячее лицо. А потом мы искупались в арыке, брызгались, смеялись. Вода была свежая, искристая, пахла горным ветром. А потом мы лежали, взявшись за руки, и молча, просто так смотрели в небо на звезды. Их было очень много в ту ночь.

И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий

полынный дух суховея, и тогда колосья на меже качались и тихо шелестели. Может быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в самую полную пору ночи, я глянула на небо и увидела Дорогу Соломщика — Млечный Путь простирался через весь небосклон широкой серебристой полосой среди звезд. Я вспомнила слова Суванкула и подумала, что, может быть, и в самом деле этой ночью прошел по небу какой-то могучий, добрый хлебороб с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след осыпавшейся мякины, зерен. И я вдруг представила себе, что когда-нибудь, если исполнятся наши мечты, и мой Суванкул вот так же понесет с гумна солому первого обмолота. Это будет первая охапка соломы своего хлеба. И когда он будет идти с этой пахучей соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка растрясенной соломы. Вот так я мечтала сама с собой, и звезды мечтали вместе со мной, и мне вдруг так захотелось, чтобы все это сбылось, и тогда я первый раз обратилась к матери-земле с человеческой речью. Я сказала: «Земля, ты держишь всех нас на своей груди; если ты не даешь нам счастья, то зачем тебе быть землей, а нам зачем рождаться на свет? Мы твои дети, земля, дай нам счастья, сделай нас счастливыми!» Вот

какие слова я сказала в ту ночь.

А утром я проснулась и смотрю — нет Суванкула со мной рядом. Не знаю, когда он встал, пожалуй, очень рано. Вокруг на жнивье всюду лежали вповалку новые снопы пшеницы. Обидно мне стало — как бы я поработала рядом с ним в ранний час…

— Суванкул, что же ты меня не разбудил? — крикнула я.

Он оглянулся на мой голос; помню, какой он был в то утро — голый по пояс, черные, сильные плечи его блестели от пота. Он стоял и как-то радостно, удивленно смотрел, будто не узнавал меня, а потом, утирая ладонью лицо, сказал улыбаясь:

— Я хотел, чтобы ты поспала.

— А сам? — спрашиваю.

— Я ведь теперь за двоих работаю, — ответил он.

И тут я совсем вроде обиделась, чуть не разревелась даже, хотя на душе было очень хорошо.

— А где же твои вчерашние слова? — укорила я его. — Ты говорил, что мы во всем будем равными, как один человек.

Суванкул бросил серп, подбежал, схватил меня, поднял на руки и, целуя, говорил:

— Отныне вместе во всем — как один человек. Жаворонок ты мой, родная, милая!..

Он носил меня на руках, что-то еще говорил, называл меня жаворонком и другими забавными именами, а я, обхватив его за шею, хохотала, болтала ногами, смеялась — ведь жаворонком называют только маленьких детей, и все же как хорошо было слышать такие слова!

А солнце только-только всходило, поднималось краем глаза из-за горы. Суванкул отпустил меня, обнял за плечи и вдруг крикнул солнцу:

— Эй, солнце, смотри, вот моя жена! Смотри, какая она у меня! Плати мне за смотрины лучами, светом плати!

Не знаю, всерьез или в шутку он так сказал, только я вдруг расплакалась. Так просто, не удержалась от хлынувшей радости, переполнилась она в груди…

И сейчас вот вспоминаю и плачу зачем-то, глупая. Ведь то были слезы другие, они даются человеку только раз в жизни. И разве не удалась наша жизнь так, как мы мечтали? Удалась. Мы с Суванкулом жизнь эту своими руками сделали, трудились, кетмень ни летом, ни зимой не выпускали из рук. Много пота пролили. Много труда ушло. Было это уже в новое время — дом постави-

ли, скотом кое-каким обзавелись. Словом, стали жить как люди. А самое великое — сыновья родились у нас, трое, один за другим, как на подбор. Теперь иной раз такая досада душу палит и такие несуразные мысли приходят в голову: зачем я рожала их, как овца, через каждые год-полтора, нет бы, как у других, через три-четыре года — может, тогда и не случилось бы этого. А может, лучше было бы, если бы они совсем не родились на свет. Дети мои, это я от горя, от боли так говорю. Мать ведь я, мать…

Помню, как все они первый раз появились здесь. Это было в тот день, когда Суванкул привел сюда первый трактор. Всю осень и зиму Суванкул ходил в Заречье, на тот берег, учился там на курсах трактористов. Мы и не знали тогда толком, что такое трактор. И когда Суванкул задерживался до ночи — ходить-то было далеко, — мне и жалко и обидно становилось за него.

— Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе, что ли, было бригадиром… — упрекала я его.

А он, как всегда, спокойно улыбался.

— Ну, не шуми, Толгон. Подожди, вот настанет весна — и тогда убедишься. Потерпи малость…

Говорила я это не со зла — нелегко приходилось

одной с детьми в доме по хозяйству, опять же работа в колхозе. Но отходила я быстро: гляну на него, а он замерз с дороги, не евши, а я еще заставляю его оправдываться — и самой становилось неловко.

— Ладно уж, садись к огню, еда простыла давно, — ворчала я, вроде бы прощая.

В душе-то я понимала, что Суванкул не в игрушки играл. В аиле тогда не нашлось грамотного человека для учебы на курсах, так Суванкул сам вызвался.

«Я, — говорит, — пойду и грамоте буду обучаться, освобождайте меня от бригадирских дел».

Вызваться-то вызвался, зато трудов хлебнул по горло. Как вспомню сейчас — интересное было время, дети отцов учили. Касым и Маселбек ходили уже в школу, они-то и были учителями. Бывало, по вечерам в доме настоящая школа. Столов тогда не было. Суванкул, лежа на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон и каждый учил. Ты, говорят, отец, прямей держи карандаш, да гляди — строка-то вкривь пошла, да за рукой следи — дрожит она у тебя, вот так пиши, а тетрадь вот так держи. А то вдруг заспорят между собой и каждый доказывает, что он лучше знает. В другом бы деле отец

цыкнул на них, а тут слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока одно слово напишет, замучается вконец: пот градом льет с лица Суванкула, будто он не буквы писал, а на молотилке у барабана подавальщиком стоял. Колдуют они всей кучей над тетрадью или букварем, гляжу на них, и меня смех разбирает.

— Дети, да оставьте вы в покое отца. Что вы из него, муллу собираетесь сделать, что ли? А ты, Суванкул, не гонись за двумя зайцами, выбирай одно — или тебе муллой быть, или трактористом.

Сердился Суванкул. Не глянет, покачает головой и тяжко вздохнет:

— Эх ты, тут такое дело, а ты с шутками.

Одним словом — и смех и горе. Но как бы ни было, а все-таки Суванкул добился своего.

Ранней весной — только сошел снег и установилась погода — за аилом однажды что-то затарахтело, загудело. По улице сломя голову промчался вспугнутый табун. Я выскочила со двора. За огородами шел трактор. Черный, чугунный, в дыму. Он быстро приближался к улице, а вокруг трактора народу сбежалось со всего аила. Кто на коне, кто пеший, шумят, толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась вместе с соседками.

И первое, что я увидела, — мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку. Мальчишки свистали им, шапки кидали, а они такие гордые, куда там, словно герои какие, и лица их сияли. Вот ведь сорванцы эдакие, спозаранку еще убежали на реку; оказывается, трактор отцовский встречали, а мне ничего не сказали, побоялись, что не отпущу. А оно и правда, испугалась я за детей — а вдруг что случится — и крикнула им:

— Касым, Маселбек, Джайнак, вот я вам! Слезьте сейчас же! — но в грохоте мотора и сама не услышала свой голос.

А Суванкул понял меня, улыбнулся и кивнул головой — мол, не бойся, ничего не случится. Он сидел за рулем гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он и в самом деле был тогда еще молодым черноусым джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела, как похожи были сыновья на отца. Их всех четверых можно было принять за братьев. Особенно старшие — Касым и Маселбек — точь-в-точь не отличить от Суванкула, такие же поджарые, с крепкими коричневыми скулами, как темная медь. А младшенький мой, Джайнак — тот больше походил на меня, светлее обликом, глаза у него были черные,

ласковые.

Трактор, не останавливаясь, вышел за околицу, и мы все гурьбой повалили следом. Нам любопытно было, как же трактор будет пахать? И когда три огромных лемеха легко врезались в целину и пошли отваливать тяжелые, как гривы жеребцов, пласты, — все заликовали, загалдели и толпой, обгоняя друг друга, нахлестывая приседающих на запятки, храпящих коней, двинулись по борозде. Не понимаю, почему я тогда отделилась от других, почему я отстала тогда от людей, но вдруг очутилась одна, да так и осталась стоять, не могу идти. Трактор уходил все дальше и дальше, а я стояла обессиленная и смотрела вслед. Но не было в тот час на свете человека счастливее меня! И не знала я, чему больше радоваться: тому ли, что Суванкул привел в аил первый трактор, тому ли, что в тот день я увидела, как подросли наши дети и как здорово они были похожи на отца. Я смотрела им вслед, плакала и шептала: «Всегда бы вам так рядышком с отцом, сынки мои! Если бы выросли вы такими же людьми, как он, то ничего мне больше не надо!..»

То была самая лучшая пора моего материнства. И работа спорилась в моих руках, я всегда любила работать. Если человек здоров, если руки-ноги

целы — что может быть лучше работы?

Время шло, сыновья как-то незаметно, дружно поднялись, словно тополя-одногодки. Каждый стал определять свою дорогу. Касым пошел по отцовскому пути: трактористом стал, а потом на комбайнера выучился. Одно лето ходил в штурвальных по ту сторону реки — в колхозе «Каинды» под горами. А через год вернулся комбайнером в свой аил.

Для матери все дети равны, всех одинаково носишь под сердцем, и все же Маселбека я вроде больше любила, гордилась им. Может, оттого, что тосковала о нем в разлуке. Ведь он, как рано оперившийся птенец, первым улетел из гнезда, рано ушел из дома. В школе он с самого детства учился хорошо, все книгами зачитывался — хлебом не корми, только книгу дай. А когда закончил школу, то сразу уехал в город на учебу, учителем решил стать.

А младший — Джайнак — красивый, ладный вышел собою. Одна беда: дома почти не жил. Избрали его в колхозе секретарем комсомольским, вечно у него то собрания, то кружки, то стенгазета, то еще что. Посмотрю, как парнишка пропадает днем и ночью, — зло берет.

— Слушай, непутевый, ты бы уж взял гармонь

свою, подушку да поселился бы в конторе колхозной, — говорила я ему не раз. — Тебе все равно где жить. Ни дома, ни отца, ни матери тебе не надо.

А Суванкул заступался за сына. Переждет, пока я пошумлю, а потом скажет как бы между делом:

— Ты не расстраивайся, мать. Пусть учится жить с людьми. Если бы он болтался без толку, я бы ему и сам шею намылил.

Суванкул к тому времени вернулся снова на свою прежнюю бригадирскую работу. На тракторы села молодежь.

А самое важное вот что: Касым женился вскоре, первая невестка порог перешагнула в дом. Как там у них было, не расспрашивала, но когда Касым проходил лето штурвальным в Заречье, там, видать, и приглянулись они друг другу. Он привез ее из Каиндов. Алиман была молоденькой девушкой, горянка смуглая. Сначала я обрадовалась тому, что невестка попалась пригожая, красивая и проворная. А потом как-то быстро полюбила ее, очень она мне по душе пришлась. Может, оттого, что втайне я всегда мечтала о дочери, хотелось мне иметь дочку свою. Но не только поэтому — просто она была толковая, работящая, ясная такая, как стеклышко. Я и полюбила ее, как свою, родную. Многие, случается, не уживаются между

собой, а мне посчастливилось; такая невестка в доме — это большое счастье. К слову сказать, настоящее, неподдельное счастье, как я понимаю, это не случай, оно не обрушивается вдруг на голову, будто ливень в летний день, а приходит к человеку исподволь, смотря как он к жизни относится, к людям вокруг себя; по крупице, по частице собирается, одно другое дополняет, получается то, что мы называем счастьем.

В тот год, когда пришла Алиман, памятное лето выдалось. Хлеба созрели рано. Рано начался и разлив на реке. За несколько дней до жатвы прошли в горах сильные ливни. Даже издали заметно было, как там, наверху, снег таял, словно сахар. И забурлила в поймище гремучая вода, понеслась в желтой пене, в мыльных хлопьях, приносила с гор огромные ели с комлем, била их в щепки на перепадах. В особенности в первую ночь страшно до самого рассвета ухала и стонала река под кручей. А утром глянули — старых островов как не было, начисто смыло за ночь.

Но погода стояла жаркая. Пшеница подходила ровно, зеленоватая понизу, а поверху желтизной наливалась. В то лето конца-края не было спеющим нивам, хлеба колыхались в степи до самого небосклона. Уборка еще не начиналась, но мы за-

годя выжинали вручную по краям загонов проезд для комбайна. На работе мы с Алиман держались рядышком, так что некоторые женщины вроде бы стыдили меня:

— Ты бы уж сидела дома припеваючи, чем соревноваться с невесткой своей. Уважение имей к себе.

А я думала иначе. Какое к себе уважение — дома сидеть… Да и не усидела бы я дома, люблю жатву.

Так мы и работали вместе с Алиман. И вот тогда заметила я то, чего никогда не забуду. На краю поля среди колосьев цвела в ту пору дикая мальва. Она стояла до самой макушки в крупных белых и розовых цветах и падала под серпами вместе с пшеницей. Смотрю, Алиман наша набрала букет мальвы и, как бы тайком от меня, понесла куда-то. Я поглядываю незаметно, думаю: что ж она будет делать с цветами? Добежала она до комбайна, положила цветы на ступеньки и молча прибежала назад. Комбайн стоял наготове у дороги, со дня на день ждали начала уборки. На нем никого не было, Касым куда-то отлучился.

Я прикинулась, будто ничего не заметила, не стала смущать — застенчивая она еще была, но в душе крепко обрадовалась: значит, любит. Вот и

хорошо, спасибо тебе, невестушка, благодарила я про себя Алиман. И до сих пор вижу, какая она была в тот час. В красной косыночке, в белом платье, с большим букетом мальвы, а сама разрумянилась, и глаза блестят — от радости, от озорства. Что значит молодость! Эх, Алиман, невестушка моя незабвенная! Охотница была до цветов, как девчонка. По весне снег лежит еще сугробами, а она приносила из степи первые подснежники… Эх, Алиман!..

На другой день началась жатва. Первый день страды — всегда праздник, никогда в этот день не видела я сумрачного человека. Никто не объявляет этот праздник, но живет он в самих людях, в их походке, в голосе, в глазах… Даже в тарахтенье бричек и в резвом беге сытых коней живет этот праздник. По правде говоря, в первый день жатвы никто толком не работает. То и дело шутки, игры загораются. В то утро тоже, как всегда, было шумно и людно. Задорные голоса перекликались из одного края в другой. Но веселей всех было у нас, на ручной жатве, потому что молодаек и девушек здесь целый табор был. Бедовый народ. Касым, как на грех, проезжал тем часом на своем велосипеде, полученном в премию от МТС. Озорницы перехватили его на пути.

— А ну, комбайнер, слезай с велосипеда. Ты почему не здороваешься со жницами, зазнался? А ну, кланяйся нам, кланяйся своей жене!

Насели со всех сторон, заставили Касыма поклониться в ноги Алиман, прощения просить. Он и так и эдак:

— Извините, любезные жницы, промашка получилась. Отныне буду вам кланяться за версту.

Но этим Касым не отделался.

— Теперь, — говорят, — давай прокати нас на велосипеде, как барышень городских, да чтоб с ветерком!

И наперебой пошли подсаживать друг дружку на велосипед, а сами следом бегут, со смеху покатываются. Сидели бы уж смирно, так нет — крутятся, визжат.

Касым от смеха еле на ногах держится.

— Ну, хватит, довольно, отпустите, черти! — умоляет он.

А те нет, только одну прокатит — другая цепляется.

Наконец Касым осерчал не на шутку:

— Да вы что, посбесились, что ли? Роса просохла, мне комбайн выводить, а вы!.. Работать пришли или в шутки играть? Отстаньте!

Ох и смеху было в тот день. А небо какое было

в тот день — голубое-голубое, а солнце как ярко светило!

Приступили мы к работе, замелькали серпы, солнце жарче припекло, и застрекотали на всю степь цикады. С непривычки всегда тяжело, пока не втянешься, но весь день не покидало меня утреннее настроение. Широко, светло было на душе. Все, что видели глаза мои, все, что я слышала и ощущала, — все, казалось мне, создано для меня, для моего счастья, и все, казалось мне, полно необыкновенной красоты и радости. Отрадно было видеть, как кто-то скакал куда-то, ныряя в высоких волнах пшеницы, — может, то был Суванкул? Отрадно было слышать звон серпов, шелест падающей пшеницы, слова и смех людей. Отрадно было, когда неподалеку проходил комбайн Касыма, заглушал собой все другое. Касым стоял у штурвала, то и дело подставлял пригоршни под бурую струю обмолота, падающего в бункер, и каждый раз, поднеся зерно к лицу, вдыхал его запах. Мне казалось, что я сама дышу этим теплым, еще молочным запахом спелого зерна, от которого голова идет кругом. А когда комбайн приостановился напротив нас, Касым крикнул, словно бы с вершины горы:

— Эй, ездовой, торопись! Не задерживай!

А Алиман схватила кувшин с айраном.

— Побегу, — говорит, — пить отнесу ему!

И пустилась бежать к комбайну. Она бежала по новой комбайновой стерне стройная, молодая, в красной косынке и белом платье и, казалось, несла в руках не кувшин, а песню любящей жены. Все в ней говорило о любви. А я как-то невольно подумала: «Вот бы и Суванкулу испить айрана», — и оглянулась по сторонам. Но где там! С началом страды не найдешь бригадира, день-деньской он в седле, скачет из конца в конец, хлопот у него по горло.

К вечеру на полевом стане для нас был уже готов хлеб из пшеницы нового урожая. Эту муку приготовили заранее, обмолотив снопы с обкоса, который мы начали неделю назад. Много раз за свою жизнь приводилось мне есть первый хлеб нового урожая, и всякий раз, когда я подношу ко рту первый кусок, мне кажется, совершаю святой обряд. Хлеб этот хотя и темного цвета и немного клейкий, словно бы испеченный из жидко замешенного теста, но ни с чем на свете несравним его сладковатый привкус и необыкновенный дух: пахнет он солнцем, молодой соломой и дымом.

Когда проголодавшиеся жнецы пришли на полевой стан и расположились на траве у арыка,

солнце уже садилось. Оно пылало в пшенице на дальнем краю. Вечер обещал быть светлым и долгим. Мы собрались подле юрты на траве. Правда, Суванкула еще не было, он должен был скоро подоспеть, а Джайнак, как всегда, исчез. Укатил на братнином велосипеде в красный уголок листок какой-то вывешивать.

Алиман расстелила на траве платок, высыпала яблоки-скороспелки, принесла горячих лепешек, налила в чашку квасу. Касым вымыл в арыке руки и, сидя у скатерти, неторопливо разломил лепешки на куски.

— Горячие еще, — сказал он, — бери, мама, ты первой отведай нового хлеба.

Я благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук — свежего зерна, нагретого железа и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не ела я такого вкусного хлеба. Потому что это был сыновний хлеб, его держал в своих комбайнерских руках мой сын. Это был народный хлеб — тех, кто вырастил его, тех, кто сидел в тот час рядом с сыном моим на полевом стане. Святой хлеб! Сердце мое переполнилось гордостью за сына, но об этом никто не знал. И

я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы. Я и сейчас не отрекусь от этой своей веры, что бы ни пережила, как бы круто жизнь ни обошлась со мной. Народ жив, потому и я жива…

В тот вечер Суванкул долго не появлялся, некогда было ему. Стемнело. Молодежь жгла костры на обрыве у реки, песни пела. И среди многих голосов я узнавала голос своего Джайнака… Он там у них гармонистом был, заводилой. Слушала я знакомый голос сына и говорила ему про себя: «Пой, сынок, пой, пока молод. Песня очищает человека, сближает людей. А потом услышишь когда-нибудь эту песню и будешь вспоминать о тех, кто вместе с тобой пел ее в этот летний вечер». И снова я стала думать о своих детях — такова, наверно, природа материнская. Думала я о том, что Касым, слава богу, стал уже самостоятельным человеком. Весной они с Алиман отделятся, дом уже начали строить, хозяйством своим обзаведутся. А там и внуки пойдут. За Касыма я не беспокоилась: работник он вышел в отца, покоя не знал. Темно уже было в тот час, но он еще кружил на комбайне — осталось немного загон закончить. Трактор и комбайн при фарах

шли. И Алиман там с ним. В страдное время минуту вместе побыть — и то дорого.

Вспомнила я Маселбека и затосковала. На прошлой неделе прислал он письмо. Писал, что нынешним летом не удастся ему приехать домой на каникулы. Отправили его с детьми куда-то на озеро Иссык-Куль, в пионерлагерь на практику. Ну что ж, ничего не поделаешь, раз он такую работу себе выбрал, значит, по душе. Где бы ни был, главное — чтоб здоров был, рассуждала я.

Суванкул вернулся поздно. Он наспех поел, и мы с ним поехали домой. Утром надо было по хозяйству управиться. На вечер приглядеть за скотиной я попросила соседку нашу Айшу. Она, бедняжка, часто болела. День поработает в колхозе, а два дома. Болезнь у нее была женская, поясницу ломило, потому и осталась с одним сынишкой — Бекташем.

Когда мы ехали домой, уже стояла ночь. Дул ветерок. Лунный свет качался на колосьях. Стремена задевали метелки созревшего курая, и в воздух бесшумно поднималась терпкая теплая пыльца. По запаху слышно было — цвел донник. Что-то очень знакомое было в этой ночи. На душе защемило. Я сидела на коне сзади Суванкула, на седельной подушке. Он всегда предлагал мне

садиться впереди, но я любила так ездить, ухватившись за его ремень. И то, что он ехал в седле усталый, неразговорчивый — намотался ведь за день, и то, что он временами клевал носом, а потом вздрагивал и ударял каблуками коня, — все это было мне дорого. Я смотрела на его сутулившуюся спину и, прислонив голову, думала, жалела: «Стареем мы понемногу, Суван. Ну что ж, время-то идет. Но недаром, кажется, жизнь проживаем. Это самое главное. А ведь, сдается, совсем недавно мы были молодыми. Как быстро пролетают годы! И все-таки жить еще интересно. Нет, рано нам сдаваться. Дел еще много. Хочется долго жить с тобой...»

И я распрямилась, подняла голову, глянула на небо — и в груди что-то дрогнуло: высоко среди ясных звезд, через весь небосклон, как тогда, широкой серебристой полосой простиралась Дорога Соломщика. И мне опять почудилось, что и в самом деле кто-то только что прошел там с огромной охапкой соломы нового урожая и растряс ее по пути. Там, наверху, золотистые соломинки, ость и мякина шевельнулись, будто от прикосновения ветра. Можно было даже разглядеть просыпавшиеся вместе с мякиной зерна. «Боже мой!» — подивилась я, разом мне

вспомнилось: и та первая ночь, и наша любовь, и молодость, и тот могучий хлебороб, о котором я грезила. Значит, все сбылось, все, о чем мы мечтали! Да, земля и вода стали нашими, мы пахали, сеяли, молотили свой хлеб — значит, исполнилось то, о чем мы думали в первую ночь. Конечно, не знали мы, что придут новые времена, что наступит новая жизнь, но земная мечта простого человека, выходит, совпала с желанием времени, желанием добра и справедливости. Охваченная этими мыслями, я сидела не шелохнувшись и молчала. Суванкул оглянулся и сказал:

— Ты что, уснула, Толгонай? Устала... Ну, ничего, сейчас доберемся до дома. Я тоже намаялся. — Потом он помолчал и спросил: — А может, на новую улицу завернем?

— Завернем, — согласилась я.

Новая улица строилась на пустыре, что примыкал к окраине аила. Улицы-то самой еще не было. Весной только усадьбы нарезали для молодых. Кое-где стены уже стояли. Касым и Алиман тоже здесь усадьбу получили. Вот нам и захотелось взглянуть по пути, что там у них делается. Днем-то в уборочное время не всегда бывает свободная минута отлучиться по своим делам. Касым, Алиман и Джайнак еще с весны кирпичей саманных

наделали, теперь они просыхали, сложенные в штабеля. Канавы прокопали под фундамент да на прошлой неделе навозили с реки бутового камня. Хорошо, что успели до разлива. Камень лежал сваленный посреди двора большой кучей. Суванкул остался доволен работой молодых.

— Ну что ж начало есть. Камня вполне хватит, еще и останется, — сказал Суванкул. — Закончим уборку — стены поставим, крышу наведем, а остальное по мелочи потом докончим весной. До зимы все равно не управиться. Как ты думаешь, правильно я говорю, Толгонай?

— Правильно, — ответила я, — главное — стены под крышу подвести, а остальное успеется. — И, вспомнив о Джайнаке, я засмеялась. — Вот Джайнак наш все не унимается, говорит, на собрании они постановление записали: назвать новую улицу Комсомольской. А Алиман подшучивает над ним. «Ты, — говорит, — Джайнак, как Насреддин, — ребенок не родился еще, а имя даешь. Ты, мол, женись сначала, дом поставь, улицу построй, тогда и придумывай название». А Джайнак спорит. «Ты, — говорит, — ничего не понимаешь».

Суванкул тогда покачал головой, усмехнулся.

— Верно, такой уж он нетерпеливый уродился. А название улицы он таки правильно придумал.

Ведь все это стройки новых, молодых хозяев. Растем, прибавляется народ из года в год. В аиле уже не вмещаемся, новые улицы застраиваем. Это хорошо. Ну а когда улица станет, то посмотришь, сын твой будет прав…

В тот час, когда мы вели этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей…

## 3

Подними голову, Толгонай, возьми себя в руки.

— Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Ты помнишь, земля родная, тот день?

— Помню… Я ничего не забываю, Толгонай. С тех пор как стоит мир, следы всех веков во мне, Толгонай. Не вся история в книгах, не вся история в людской памяти — она вся во мне. И жизнь твоя, Толгонай, тоже во мне, моем сердце. Я слышу тебя, Толгонай. Сегодня твой день.

## 4

На другое утро солнце еще не всходило, мы приступили к работе. В тот день мы начали жать новую полосу, хлеба на самом обрыве у реки. Полоска была такая, что комбайну не развернуться, а колос уже сухой стоял — с краю всегда раньше поспевает. Только мы развернулись цепочкой, сжали снопа по два, как вдруг на той стороне показался скачущий всадник. Он выскочил из-за крайних дворов Заречья и, оставляя за собой хвост пыли, поскакал прямиком, через кустарники, через камыши, точно за ним кто гнался. Конь вынес его на прибрежный галечник. Но он, не сворачивая, погнал коня прямо по камням к реке. Мы удивленно разогнули спины: что за нужда гонит этого человека, почему он не сворачивает к мосту, который был ниже верстах в двух по течению? Всадник оказался русским парнем. Он с ходу понукнул рыжего жеребца к воде, и мы все замерли: что он, ищет гибели? Разве можно в такое время шутить с рекой: при разливе не то что коня — верблюда унесет, костей не соберешь.

— Э-эй, куда ты, остановись, остановись! — закричали мы.

Он что-то кричал нам, размахивая руками, но из-за гула реки ничего не разобрать, слышно было только протяжное:

— …а-а-а-а…

Мы ничего не поняли. И тогда он вздыбил рыжего жеребца и, нахлестывая плетью, бросил его в стремнину. Вода сразу подхватила всадника. Среди бурунов только мелькала голова коня с прижатыми ушами и оскаленной мордой. Всадник обеими руками уцепился за гриву. Фуражку снесло с его головы, она закружилась на волнах. Мы метались по обрыву. Вода быстро уносила всадника, но он, приноровясь к течению, наискось пробивался к берегу. Его снесло далеко, и вышел он на берег ниже мельницы. Все мы облегченно вздохнули. Одни восхитились смелостью всадника, хвалили его: «Молодец!» — кто-то сказал, что неспроста это, надо бы разузнать, а другой недовольно вставил:

— Пьяный дурак какой-то, куражится, а вы будете бегать следам!

На том успокоились. Надо было работать. «Оно и правда, — подумала я, — трезвый человек не стал бы так рисковать собой».

Когда комбайн Касыма вдруг сразу заглох и остановился — а он в тот день обкашивал загон

возле мельницы, — я не придала этому значения: ремень приводной соскочил или цепь порвалась, мало ли какая поломка могла быть на работе. Алиман жала пшеницу недалеко от меня, и вдруг она вскрикнула пронзительным, страшным голосом:

— Мама!

Я встрепенулась. Она стояла бледная-бледная, выронив серп из руки.

— Что с тобой? Змея, что ли? — бросилась я к ней.

Она молчала. Я глянула в ту сторону, куда смотрели ее широко раскрытые, испуганные глаза, и обмерла. Возле комбайна раздавались какие-то крики, со всех сторон прямо по пшенице бежали люди, скакали конные, а иные, стоя в рост на бричках, нахлестывали кнутами коней.

— Что-то случилось, мама! — закричала Алиман и бросилась бежать.

Чьи-то слова резанули ухо:

— Под нож кто-то попал! Или в барабан закрутило! Бежим!

И все жнецы кинулись вслед за Алиман.

«Сохрани, боже! Сохрани, боже!» — взмолилась я, воздевая на бегу руки; прыгая через арык, с маху упала, вскочила и снова пустилась бежать.

Ох, как я бежала тогда по пшенице! Крикнуть хочу, чтобы подождали меня, но не могу, голос пропал.

Когда я обежала, наконец, то вокруг комбайна шумела толпа. Я ничего не расслышала, не разобрала. Рванулась через толпу: «Стойте! Отойдите!» Люди расступились, я потянулась к сыну, как незрячая, с дрожащими руками, Касым шагнул навстречу, подхватил меня.

— Война, мама! — услышала я его голос будто издали.

Я глянула на него, словно не понимала, что это за слово такое.

— Война? Ты говоришь, война? — переспросила я.

— Да, мама, война началась, — ответил он.

А до меня все еще неясно доходило, что таилось за этим словом.

— Как война? Почему война? Ты говоришь, война? — повторяла я это странное, это страшное слово и потом вдруг ужаснулась и тихо заплакала от пережитого страха и этой неожиданной вести.

Слезы потекли по моему лицу, а женщины, глядя на меня, заголосили, запричитали.

— Тише! А ну замолчите! — раздался в толпе

чей-то мужской голос.

Все разом примолкли, словно ожидая, что он, человек этот, скажет что-то такое, что, мол, это неправда. Но он ничего не сказал. И никто ничего не сказал. Только стало так тихо в степи, что явственно донесся с реки громыхающий гул воды. Кто-то шумно вздохнул, шевельнулся. Все опять насторожились, но никто не проронил ни слова. И опять стало так тихо в степи, что слышна стала жара, как тонкий писк комара над ухом. И тогда, оглядывая стоящих вокруг людей, Касым негромко пробормотал, словно бы для себя:

— Теперь надо быстрей управляться с хлебом, а не то под снегом останется. — Он помолчал и вдруг, резко вскинув голову, приказал штурвальному: — Что стоишь? Заводи мотор! А вы все, что смотрите? Не успеем с уборкой — вам же придется туго! Давай за работу!..

Народ зашевелился. И только тогда я заметила русского парня из Заречья. Он стоял в мокрой с головы до ног одежде, держа под уздцы потемневшего жеребца. Когда люди задвигались, нарочный словно очнулся, медленно поднял поникшую русую голову и стал подтягивать подпруги седла. И я увидела, что он был совсем молоденький парень, ровесник моему Джайнаку,

только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли ко лбу, на губах и лице — свежие ссадины, а глаза его, совсем еще мальчишечьи, в тот час смотрели с таким суровым страданием, что я поняла: только что он оставил юность, только что возмужал, сегодня, в одно утро. Он тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших аильских ребят:

— Слушай, друг, ты скачи сейчас, разыщи председателя, бригадиров, передай, чтоб немедленно отправлялись в райком. А я поеду; мне еще в два колхоза. — С этими словами он сел на коня и тронул поводья.

Но тот, к кому он обращался, остановил его:

— Постой, шапку-то у тебя унесло. На, надень мою. Жарко сегодня.

Мы долго смотрели вслед юному гонцу и слушали, как тревожно рокотала сухая дорога под копытами рыжего, уносящегося птицей жеребца. Пыль вскоре скрыла всадника. А мы еще стояли у дороги, каждый, видимо, думая о чем-то своем, и, когда разом взревели моторы комбайна и трактора, люди вздрогнули и посмотрели друг на друга.

С этой минуты началась новая жизнь — жизнь войны…

Мы не слышали грохота сражений, но слыша-

ли наши сердца и крики людей. Сколько жила я на свете, не знала такой палящей жары, такого зноя. Плюнешь на камень — и слюна кипит. А хлеба созрели сразу, за три-четыре дня: сплошь стояли сухие и желтые, простирались под самый полог неба и ждали жатвы. Какое богатство было! И тяжело мне было смотреть, сколько добра пропадало в спешке. Сколько было потоптано, растеряно, растрясено по дорогам. Мы так спешили, что не успевали вязать снопы, кидали пшеницу вилами в мажары — и быстрей на молотилку, на тока, а колосья сыпались и сыпались по пути. Но и это ладно, еще тяжелее было смотреть на людей. Каждый день уходили по повесткам в армию, а те, что оставались, работали. И в полуденную жару, и в душные суховейные ночи — на жатве, на молотьбе, на обозах все работали и работали, не зная сна, не покладая рук. А работы прибавлялось и прибавлялось, потому что мужчин оставалось все меньше и меньше. Касым, бедный сын мой, неужто думал он сам одолеть то, что было уже невпроворот: жатва безнадежно затягивалась, а он как одержимый гонял свой комбайн по полю. И комбайн его не смолкал ни днем, ни ночью, снимал хлеб полосу за полосой, метался в тучах раскаленной пыли

с загона на загон. Все эти дни Касым не сходил с комбайна, не отходил от штурвала. Днями стоял он на мостике под жгучим ветром, как коршун всматривался в мутное марево, за которым скрывались еще не убранные хлеба. Жутко и жалко мне было смотреть на сына, на его черное лицо, на его ввалившиеся, заросшие бородой щеки. Сердце обливалось кровью. «Ой, пропадет он, свалится на солнце», — думала я, но сказать не решалась. Знала я по злому блеску в его глазах, что не отступится он, до последнего часу будет стоять на жатве.

И час тот пришел. Как-то прибежала Алиман к комбайну и вернулась оттуда с поникшей головой.

— Повестку прислали ему, — тихо сказала она.

— Когда?

— Только что, с нарочным сельсовета.

Я знала, что рано или поздно придет черед Касыму идти в армию, как и многим другим. И все же, когда услышала я эту весть, ноги мои подогнулись. И такая боль заныла в намаявшихся руках, что я выронила серп и сама села на землю.

— Что ж он там делает, собираться надо, — проговорила я, с трудом совладев с дрожащими губами.

— К вечеру, говорит, приду. Я пойду, мама, а вы скажите отцу. И Джайнака не видно сегодня. Где он пропадает?..

— Иди, Алиман, иди. Да тесто поставь. Я подойду скоро, — сказала я ей.

А сама как сидела, так и осталась сидеть на жнивье. Долго сидела так. Сил не было поднять с земли платок, упавший с головы. И вот тогда, смотрю я, муравьи цепочкой бегут по тропке. Они тоже трудились, тащили солому, зерна и не подозревали, что рядом сидел человек со своим горем, тоже труженик, во всяком случае не меньше, чем они, труженик, который завидовал в ту минуту даже им, муравьям, этим крошечным работягам. Они могли спокойно делать свое дело. Если бы не война, разве стала бы я завидовать муравьиной жизни? Стыдно говорить…

Тем временем Джайнак прикатил на своей бричке. Он в те дни на комсомольском обозе работал по вывозке хлеба на станцию. Видно, узнал о повестке брата и приехал за мной. Джайнак соскочил с брички, поднял платок и накинул мне на голову.

— Поедем, мама, домой, — сказал он и помог мне встать на ноги.

И мы молча поехали. За последние дни Джай-

нак неузнаваемо изменился, посерьезнел. Чем-то он очень напоминал мне того русского парня, нарочного. Такая же суровая душа поселилась в его детских глазах. В эти дни он также распростился с юностью. Многие тогда распростились с ней… Думая о Джайнаке, вспомнила, что давно уже нет вестей от Маселбека. «Что там с ним? В армию взяли или что? Почему не пишет, почему не может прислать хоть бы коротенькую весточку? Знать, отвык от дома, позабыл отца-мать, зачерствел там, в городе. Да и какая сейчас учеба, лучше бы уж приезжал домой, что там теперь делать», — уныло думала я, сидя на бричке, и потом спросила у Джайнака:

— Джайнак, ты вот ездишь на станцию, как там, не слыхать, случайно, скоро закончится война?

— Нет, мама, не скоро, — ответил тогда Джайнак. — Плохи сейчас наши дела. Немец все гонит и гонит. Вот если бы нашим удалось где-нибудь удержаться да обломать им разок бока, тогда мы пошли бы. Думаю, скоро это случится. — Он замолчал, погоняя коней, потом оглянулся и сказал мне: — А ты, мама, боишься? Очень, да? А ты не думай, не надо, мама, тебе думать, не беспокойся. Все будет хорошо, вот посмотришь.

Эх, глупый мой мальчишка, это он решил успо-

коить меня так, пожалел! Да разве же можно было не думать? Закрой я глаза, заткни уши — и все равно думать не перестала бы.

Приехали домой, а там Алиман сидит плачет; тесто еще не замесила. Зло взяло меня, хотела было пристыдить ее: «Что, мол, ты лучше других, что ли, все идут, не один твой муж. Разнюнилась, руки опустила. Нельзя так. Как же мы будем жить дальше?» Но раздумала, не стала выговаривать. Пожалела молодость ее. А может, напрасно, может, надо было сразу, с первых дней опалить ей душу, чтобы потом ей легче было. Не знаю, только я тогда ничего не сказала.

Касым пришел к вечеру, почти на закате солнца. Как только он появился в воротах, Алиман бросила подтапливать очаг, в слезах кинулась к нему, повисла на шее.

— Не останусь, не останусь я без тебя, умру!

Касым пришел прямо с комбайна, как был — в пыли, в грязи, в мазуте. Он снял с плеч руки жены и сказал:

— Постой, Алиман. Грязный я очень. Ты бы дала мне мыла, полотенце, пойду искупаюсь в реке.

Алиман обернулась, глянула на меня, я поняла. Сунула ей ведро порожнее:

— Принеси заодно воды.

В тот вечер они вернулись с реки поздно, луна уже на три четверти поднялась. Дома я управлялась сама да Джайнак помогал. А к полуночи Суванкул заявился. Я-то все ждала, думала, куда он запропастился. А он, оказывается, еще днем поскакал в горы, иноходца саврасого привел из табуна. Мы его еще жеребенком покупали для Касыма, когда он трактористом начал работать. Добрый был иноходец, резвый на побежку, с крепкими гулкими копытами, в белых чулках задние ноги. На весь аил был известный, девушки в песнях пели:

*…Как заслышу иноходца по дороге,*
*Выбегаю глянуть со двора…*

Отец решил, видно, чтобы сын поездил на своем саврасом иноходце хоть день-два на прощанье.

Рано утром мы все выехали из аила в военкомат. Мы с Алиман на бричке Джайнака, а Касым с отцом на своих конях. То было время самых больших мобилизаций. Народу было еще много. Как глянула я на шоссейную дорогу — черным-черно, один конец в Большом ущелье, а другого не видно. Понаехало народу со всех поселков на конях, на быках. А в райцентре двинуться некуда от людей, от бричек. И детишки здесь, и старики,

и старухи. И все возле своих толкутся, ни на шаг не отстают. Кто плачет, а кто уже и подвыпил. Но недаром говорится: народ — море, в нем есть глубины и мели. Так же и здесь, в этих гомонящих проводах на войну, были твердые, ясные джигиты, которые крепко держались, говорили к слову и даже веселили народ, пели и плясали под гармонь. Киргизские и русские песни сменяли друг друга, а «Катюшу» пели все. Вот тогда-то я и узнала эту песню.

Мобилизованные не вместились в широком дворе военкомата, их построили рядами посреди главной улицы села и стали выкликать каждого по фамилии и имени. Народ сразу затих, затаил дыхание. Глянула я на тех, кто уходил на войну, — горячая волна подкатила к горлу. Все они были как на подбор — молодые, здоровые джигиты. Им бы только жить да жить да работать. Каждый раз, когда выкликали кого-нибудь по списку, он отвечал «я» и бросал взгляд в нашу сторону. Я невольно вся вздрогнула, когда услышала: «Суванкулов Касым», и новая волна горячей боли застлала мне глаза. «Я», — ответил Касым. А Алиман крепко стиснула мою руку. «Мама», — прошептала она. Что ж я могла поделать, понимала я; трудно, страшно было ей расставать-

ся, но кто может стоять в стороне от народа, да еще в лихие дни. Эх, Алиман моя, Алиман, и она понимала, что это нужда военная, нужда всей страны, но не знала я в жизни женщины, которая бы так любила своего мужа, как она.

В тот день мы вернулись в аил, узнали, что отправка будет через сутки. Касым уговорил нас уехать домой: незачем, мол, здесь томиться, забегу по дороге попрощаться. Благо колхоз наш лежит у большака. Мы оставили для Алиман лошадь Суванкула, а сами поехали вместе с другими на телеге. Джайнак тоже оставался в районе, он должен был везти на своей бричке мобилизованных на станцию.

Ночью, войдя в опустевший дом, я дала себе волю, зашлась слезами. Суванкул вскипятил чай, налил мне погуще, заставил выпить и потом сказал, сидя рядом:

— Кто мы были с тобой, Толгонай? Вот с этим народом мы стали людьми. Так давай поровну будем делить с ним все — добро и беды. Когда хорошо было, все были довольны, а теперь, выходит, каждый будет думать только о себе да на судьбу свою плакаться? Нет, так будет нечестно. Завтра держи себя в руках. Если Алиман убивается — так это дело другое, она не видела в жизни

того, что мы видели. А ты — мать. Запомни это. А потом учти, если война подзатянется, то и я уйду, и у Маселбека годы выходят, и его могут призвать. Если потребуется, все уйдем. Так что, Толгонай, готовь себя ко всему, привыкай…

На другой день после полудня началась отправка. Касым и Алиман опередили колонну, прискакали на рысях. Касыму разрешили заехать домой попрощаться. Глаза Алиман опухли, как волдыри, — видно, всю дорогу плакала. Касым старался держаться, крепился, но и ему было нелегко. Вот уж не знаю, что заставило Касыма придумать такое: то ли он побоялся за Алиман, решил как-то облегчить ей расставание, то ли и вправду ему было сказано так, но он, как только сошел с коня, сразу попросил нас не ехать на станцию. Касым сказал, что, может быть, еще вернется домой, потому что трактористов и комбайнеров решили пока не призывать до конца уборки. И если приказ поспеет, то их могут вернуть со станции. Теперь-то я понимаю, что он пожалел Алиман, пожалел нас. До станции почти день езды, а каково возвращаться назад — ведь дорога станет нескончаемой, слез не хватит. А тогда я поверила; говорят, надежда живет в человеке до смерти. Но когда мы вышли провожать

его к большаку, я уже сомневалась.

По дороге с Касымом прощались все, кто работал на уборке. Прибежали жнецы, возчики, молотильщики с гумна, и комбайн оказался неподалеку. Помощники Касыма остановили комбайн поблизости и тоже прибежали проститься.

Говорят, кузнец, уходя на войну, прощается с наковальней и молотом. А Касым мой был мастером, кузнецом своего дела. Когда комбайн остановился, Касым, разговаривая с односельчанами, глянул на дорогу. В тот момент растянувшаяся колонна мобилизованных с обозом, с конями, с красным знаменем во главе только показывалась на повороте.

— На, отец, подержи! — Касым отдал поводья саврасого Суванкулу, а сам направился к комбайну. Он обошел его, оглядел со всех сторон. И потом вдруг взбежал на мостик. — Давай, Эшенкул, гони! Гони, как тогда! — крикнул он трактористу.

Моторы, что чуть слышно работали на пол-оборотах, зарокотали, взревели, комбайн загрохотал, залязгал цепями и, выбрасывая из молотилки соломенный буран, пошел захлестывать пшеницу мотовилами. А Касым подставил лицо горячему ветру, смеялся, расправляя плечи, и, казалось, обо всем забыл. Они с трактористом о чем-то пе-

рекрикивались, кивали головами, развернулись в конце загона и снова пошли. Комбайн летел по полю, как степная птица. И мы все забыли на минуту о войне. Люди стояли со счастливыми глазами, но больше всех горда была Алиман. Она тихо шла навстречу комбайну и тихо смеялась. Комбайн остановился. Мы снова помрачнели. А Бекташ — сынишка соседки нашей Айши, ему было тогда лет тринадцать, он в то лето соломщиком работал на комбайне — кинулся к Касыму и стал целовать его, плакать. Я губы себе искусала, хотела закричать в голос, но, помня наказ Суванкула, не посмела. Касым поднял на руки Бекташа, поцеловал его, поставил парнишку к штурвалу и медленно сошел по лесенке вниз. Мы его обступили. Здесь он простился с помощниками своими, со штурвальным и трактористом. Надо было поторапливаться. Колонна на большаке поравнялась уже с нами.

Вот так мы провожали Касыма. А когда настала минута садиться ему на коня, то Алиман, бедная Алиман, не посмотрела ни на старших, ни на малых — крикнула и замертво повисла у него на плечах. А сама без кровинки в лице, только глаза горят. Мы ее силком оторвали. Но она вырвалась и снова бросилась к мужу. И вот так каждый раз,

как дитя малое, тащила Касыма за руку, не давала ему ногу вдеть в стремя. Молила его:

— Постой! Минутку! Еще одну минутку!

Касым целовал ее, уговаривал:

— Да не плачь ты так, Алиман! Вот увидишь, я завтра же вернусь со станции. Поверь мне!

И тогда Суванкул сказал снохе:

— Ты иди, Алиман, проводи его сама до дороги. А мы простимся здесь. Не будем задерживать. — Суванкул взял сына за руку и тихо сказал: — Посмотри мне в глаза.

Они посмотрели друг другу в глаза.

— Ты меня понял? — спросил отец.

— Да, отец, понял, — ответил сын.

— Ну, отправляйся с богом! — Суванкул сел на коня и, не оглядываясь, поскакал прочь.

Прощаясь со мной, Касым сказал:

— Если будет письмо от Маселбека, пришлите его адрес.

Касым и Алиман пошли к дороге, ведя на поводу саврасого иноходца. Я не спускала с них глаз. Колонна на большаке уже уходила. Сначала Алиман бежала, ухватившись за стремя, потом Касым нагнулся с седла, поцеловал ее в последний раз и пустил саврасого большой иноходью. А Алиман все бежала и бежала за пылью копыт.

Я пошла следом, привела ее домой.

На другой день к вечеру со станции вернулся Джайнак, расседланный иноходец был привязан к заднику брички.

## 5

Вдали шла битва, лилась кровь, а нашей битвой была работа. Правильно предупреждал Касым: сколько мы ни старались, а последние хлеба снег прихватил на корню и на гумнах. Картошка кое-где осталась под снегом, не успели выкопать. Мужчины уходили один за другим, изо дня в день, все на фронт. А мы с утра до вечера в колхозе, разговоры только о войне — как там да что там, и самым желанным человеком в домах стал почтальон.

После того как проводили Касыма, неделю спустя пришло письмо от Маселбека. В первом письме он писал, что его с товарищами по учебе призвали в армию, местопребывание пока там же, в городе. Он просил не печалиться, что не пришлось увидеться, попрощаться — кто мог знать, что так случится, жалеть об этом не надо, самое главное — вернуться с победой. Второе письмо он прислал уже из Новосибирска. Писал, что учится там в командирском училище, и фотокарточку свою прислал. Эта карточка и сейчас висит под стеклом, потускнела уже. Красивая фотография: военная форма ему идет, густые волосы зачесаны

назад, а глаза смотрят чуточку печально, задумчиво. Таким он мне и снится до сих пор… Алиман только раз видела Маселбека, когда он приезжал на денек на свадьбу брата.

— Смотри, мама, а Маселбек наш красивый парень, оказывается, — говорила она, разглядывая фотографию. — В тот раз я его и не разглядела толком из-за занавесок, неудобно мне было, невесте, пялить оттуда глаза, постеснялась. Вот хорошо было бы, если бы он вернулся и нашел себе девушку, такую же образованную, как он сам, и красивую. Правда, хорошо было бы, да, мама?

Я соглашалась и сама начинала мечтать об этом дне. До середины зимы более или менее спокойно было у меня на душе, письма получала от сыновей и довольствовалась этим. Но тут пришло письмо от Касыма, что направляются они в сторону фронта. И затаился в душе страх, сердце замирать стало. А тут еще Суванкула начали то и дело вызывать по повесткам в военкомат. Что ни день — то на комиссию, то на учет, то на переучет. Он прямо извелся, разрываясь между поездками в военкомат и бригадирскими делами в колхозе. Я почему-то не думала, что Суванкула возьмут в армию: ведь без бригадира в колхозе все равно что без рук. Однако призвали и его. Узнала я об

этом на току, где мы домолачивали прихваченный снегом хлеб. Я как узнала — уткнула вилы в солому, прислонилась лицом к холодному черенку и стояла так, с мыслями не могла собраться. Как быть, как жить дальше? Двое сыновей уже там, теперь муж уходит туда же, на фронт…

Тут и сам Суванкул прискакал, молча слез с коня, подошел ко мне и сказал:

— Пошли домой, собираться надо.

Я ехала на лошади, а он шел рядом, сказал, что разговаривать на ходу будет удобнее. Но разговор наш не клеился, больше молчали. Не оттого, что не о чем было, а оттого, что тяжело было, сковывалось все внутри, слово выдавить страшно. Так мы и двигались — я на коне, а он пешком. Мутные, серые тучи застилали небо. С Желтой равнины тянуло сиверком, поземка пошевеливалась, кураи посвистывали к бурану. Я глянула по сторонам — поле лежало унылое и пустое. Без людей, без звуков, без движения, холодное и сумрачное.

Суванкул шел, курил цигарку за цигаркой. Потом взял меня за руку.

— Замерзла? — спросил он.

Я ничего не сказала. И он, собираясь что-то сказать, промолчал. Может, хотел поделиться думкой: «Вот, мол, ухожу вслед за сыновьями. Как

оно там будет, суждено ли вернуться домой или же нет… Может, нынче навеки распрощаемся. Если так, то что ж, столько лет прожили мы в дружбе и согласии. Если что, простим друг другу. Неизвестно ведь, как обернется судьба». Хотел ли он сказать эти слова или другие, кто его знает, только тогда, глядя мне в лицо, он стоял молча, прикусив губу. Мне бросилось глаза, что в бурых усах его начал пробиваться седой волос. Раньше я этого как-то не замечала.

Вспомнила я, как мы с Суванкулом встретились на этом поле молодыми, как двадцать два года вместе трудились здесь, проливали пот, детей растили, хлеб растили, и вся наша жизнь в мгновенье предстала перед глазами. Не думала, не гадала я никогда, что придется нам так разлучаться, быть может навсегда. Вспомнила, как мы летом, в первый день жатвы, ночью ехали на коне по этой же дороге. Увидела, что новая улица на краю аила осталась заброшенной и недостроенной, увидела на усадьбе Алиман и Касыма кучу камней и кирпичей, упала на гриву коня и зарыдала. Долго плакала я. Суванкул молча терпеливо ждал, а потом сказал:

— Ты, Толгон, выплачь сразу все, что на душе, тут никого нет, но отныне при людях не показы-

вай слез. Ты теперь остаешься не только хозяйкой дома, не только головой над Алиман и Джайнаком — тебе придется и бригадиром остаться вместо меня. Больше некому.

Я еще пуще залилась слезами:

— На кой черт мне твое бригадирство? Как ты можешь говорить об этом в такой час? Не нужно мне ничего. Слышать даже не хочу!

Но вечером меня вызвали в контору правления колхоза. Здесь был наш новый председатель — раненый фронтовик Усенбай, Суванкул и еще несколько стариков, аильных аксакалов. Усенбай сразу сказал мне:

— Что ни говори, тетушка Толгонай, а придется по-мужски, крепко подпоясаться и сесть на бригадирского коня. Землю, и воду, и народ нашего аила никто лучше вас не знает. Мы вам верим, верим еще и потому, что вам верит наш лучший бригадир, которого мы теперь, стиснув зубы, провожаем на фронт. Ничего не поделаешь. С завтрашнего дня беритесь за работу, тетушка Толгонай.

Аксакалы тоже стали советовать. В общем, уговорили меня, согласилась я быть бригадиром. Да и как было не согласиться? Разве я не понимала, какое время мы переживали? Правильно

я поступила, хотя бы даже потому, что это была последняя воля моего Суванкула. В ту ночь он до утра не спал, все наказы мне давал. Начинай готовиться к весне, тягло поставь на отдых, ремонтируй плуги, бороны, брички… Присмотри за многодетными семьями, за стариками… То делай так, это эдак… Эх, беспокойный человек мой, милый муж мой, друг сердечный…

И до самого утра не утихала на дворе метель, ветер гудел в трубе.

Суванкула мы провожали тоже на большаке. Он сел в бричку Джайнака вместе с такими же пожилыми людьми, и они укатили по бурану, скрылись в снежной мгле. Ох, как холодно было, лютый ветер лицо обжигал. Я шла медленно, часто оглядывалась и всхлипывала, плакала.

С того дня, как сказал наш председатель Усенбай, туго подпоясалась я, села на коня и вступила в свои обязанности бригадира. И сейчас эта работа не из легких, не каждому по плечу, а тогда и подавно — мука одна. Здоровых мужчин не осталось — больные да хромые, а остальные работники — женщины, девушки, дети, старики. Все, что добывали, отдавали фронту. А в хозяйстве телеги без колес, упряжь — обрывки веревочные, хомуты разбитые, в кузнице и угля нет. Стали

мы жечь джерганак колючий по суходолу в пойме, тем и не давали угаснуть горну. А житье — не прежнее, голод застучался в дома. И все же мы делали все, чтобы не остановилось хозяйство колхозное, тянули его сколько хватало сил. Как вспомню теперь: ради дела к кому с добрым словом подойдешь, к кому с выговором, а то чуть и не за волосы таскались, всякое бывало, чего я только не натерпелась тогда… А все равно и сейчас в ноги кланяюсь народу за то, что в те дни народ не разбрелся, остался народом. Тогдашние женщины — теперь старухи, дети — давно отцы и матери семейств, верно, они и забыли уже о тех днях, а я всякий раз, как увижу их, вспоминаю, какими они были тогда. Встают они перед глазами такими, какими были — голые и голодные. Как они работали тогда в колхозе, как они ждали победы, как плакали и как мужались! Не знают они, что бессмертные дела совершили. И никогда, что бы ни приходилось переносить, как бы ни сгибались плечи мои, никогда не пожалею я, что работала бригадиром. С самого рассвета я была уже на ногах, на колхозном дворе, потом целый день в седле, то туда надо, то сюда, то в степь, то в горы, с вечера до поздней ночи в конторе — вот так и не замечала, как пролетали дни.

Быть может, меня это и спасло. И пусть иной раз с досады, с горя ругали меня, хватали за горло, бросали работу — не в обиде я. Нет, в таких случаях я больше наваливала работу на Джайнака и Алиман, днем и ночью не было им покоя, и тоже не каюсь, что гоняла их безжалостно. А не то тягостные мысли, страх задавили бы нас — ведь три человека из одной семьи на войне, разве можно было не думать? От Касыма второй месяц не было ни слуху ни духу. Мы с Алиман прячем глаза, чтобы не заговорить о том, что и без того страшно, — о Касыме. Если разговаривали, то о том о сем, о работе, о хозяйстве по дому. Как дети, старались не напоминать.

В один из зимних дней с утра побежала я в кузницу помочь. Там перековывали наших рабочих коней. Смотрю, председатель наш Усенбай летит на рысях, а в руке у него бумажка небольшая, с ладонь. Телеграмма, говорит, вам срочная. У меня дух перехватило. Слышу только, как в кузнице молоты стучат по наковальне, точно бьют меня по груди. Видно, лица на мне не было.

— Да вы что, тетушка Толгонай! — вскричал председатель. — Это же телеграмма от Маселбека, из Новосибирска. Да подойдите же, возьмите, не бойтесь! — И, нагнувшись с седла, отдал мне

эту бумажку. — Вы, — говорит, — немедленно отправляйтесь на станцию, сын ваш будет проезжать, хочет увидеться, просит встретить. Я там велел заложить вам бричку, сена, овса лошадям велел прихватить. Не стойте, собирайтесь в дорогу.

И такая радость обуяла меня! Засуетилась я, забегала по кузнице и не знаю, что делать. Кузнецы прогнали меня.

— Сами, — говорят, — управимся, бригадир, езжай быстрей на станцию, чтобы не опоздать.

И побежала я домой. Сама толком не понимаю, что к чему. Знаю только одно: что Маселбек просит приехать на станцию, что Маселбек просит увидеться. Бегу по улице, жарко от мороза, пот прошиб. Бегу и сама с собой разговариваю, как ненормальная:

— Что значит просит? Да я, сынок мой, пешком тысячу верст буду бежать к тебе, как на крыльях долечу!

Эх, мать, мать… Не подумала я в тот час, куда же проезжает мой сын, в какую сторону.

Прибежала домой, наспех всякой снеди наделала, мяса наварила, ведь там небось Маселбек не один, а с товарищами, пусть угостит их домашней стряпней. Уложила все это в переметный

курджун, и в тот же день мы с Алиман выехали на станцию. Сперва я хотела поехать с Джайнаком. Но он сам отказался.

— Нет, — говорит, — мама, лучше будет, если поедет Алиман, а я дома останусь по хозяйству. Так оно будет вернее.

Потом-то я поняла, правильно поступил мой младший сын. Хоть и мальчишка он был, а неглупый. Он-то, оказывается, догадывался, что творилось на душе Алиман в те дни, как она переживала и страдала. Джайнак сам сбегал на сенной двор, где работала Алиман, сам позвал жену брата. Давно я не видела невестку такой радостной. Засветилась вся, загорелась, захлопотала больше, чем я, и стала торопить меня:

— Быстрей, мама, быстрей собирайся. Вот твоя шуба, вот платок пуховый, одевайся, поехали!

И в дороге тоже места себе не находила.

— Погоняй, погоняй быстрей! — торопила она возчика, а иногда выхватывала у него из рук вожжи и сама, гикая, нахлестывала лошадей.

Бричка ходко катила по наезженному насту, лошади шли бодро, мягко гремели, мягко постукивали колеса на смазанных осях. Всю дорогу шел снег — ровный такой, веселый. Стоял легкий морозец. Алиман была в снегу, но она не знала,

как это ей идет. Снег густо налипал ей на голову, на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и ее смуглое лицо с разлившимся на щеках румянцем, ее сияющие черные быстрые глаза и белые зубы казались еще красивее. В молодости человеку все идет — даже снег. Алиман не умолкала всю дорогу. То она просила меня молчать, когда сойдет с поезда Маселбек, не говорить о ней: узнает он ее или нет? То собиралась незаметно подойти к Маселбеку сзади и закрыть ему глаза: что скажет он, перепугается, наверно, скажет, кто это еще здесь с шутками глупыми? И сама смеялась, хохотала над своими придумками. Эх, Алиман, Алиман, невестушка моя сердечная! Неужто думала она, что не догадываюсь я, почему она вела себя так? Да она и сама проговорилась. Замолчала вдруг, перестала смеяться и тихо пробормотала:

— Маселбек очень похож на Касыма. Они как близнецы, правда ведь?

Я сделала вид, будто не расслышала. А она помолчала, думая о чем-то своем, и потом снова выхватила вожжи у паренька и снова, гикая, погнала лошадей.

К вечеру мы были уже на станции. Только остановили мы бричку — и сразу же побежа-

ли с Алиман на пути, словно Маселбек должен тотчас же прибыть. Там никого не было. Мы огляделись по сторонам и приуныли, стоим, как сироты, куда идти, что делать — не знаем. Между рельсами по шпалам бежала поземка. Паровоз ползал взад и вперед, со скрежетом и лязгом страгивал заиндевевшие, примерзшие к месту вагоны. В проводах посвистывал ветер.

Нам не приходилось раньше встречать поезда, мы даже не догадались расспросить кого-нибудь что к чему — когда поезд надо ждать. Тем временем издали послышался гудок паровоза, показался поезд.

— Идем, мама! — сказала Алиман.

У меня коленки задрожали, страшно стало. Поезд быстро приближался. Вот и паровоз прошел в снежной пыли. Поезд остановился. Мы бросились бежать вдоль состава. В вагонах было битком народу. Женщины, дети, но много и солдат. Кто его знает, кто они были и куда ехали. Мы останавливались возле каждого вагона и спрашивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек? Скажите, пожалуйста, нет здесь Суванкулова Маселбека?

Одни отвечали, что не знают, другие молчали, а иные усмехались. Пока мы бегали, поезд тронулся и ушел. Всего-то три минуты, оказывается,

остановка на нашей станции. Мы остались стоять, словно птицу выпустили из рук. Тут к нам подошел пожилой русский железнодорожник в черном полушубке, в валенках. Я заметила его, как он выходил навстречу поезду. Он спросил нас, кого мы ожидаем. Мы рассказали ему, дали почитать телеграмму Маселбека. Он надел очки, долго шевелил губами и сказал затем:

— Сын ваш едет воинским эшелоном. А какой эшелон и в какой час он будет проходить по станции — неизвестно. Если не опоздает, то должен сегодня ночью или завтра прибыть. А может быть, эшелон уже прошел. Сколько теперь эшелонов каждый день в ту или другую сторону проносится, иные и не останавливаются даже, напролет идут.

Мы совсем повесили головы.

— Эх, война, война, — вздохнул железнодорожник, — перевернула все вверх дном. Ну что ж вы будете стоять на ветру? Идите на станцию, там комнатка для ожидающих есть. Сидите там, а когда поезда будут проходить, выходите встречать… Другого выхода нет.

В станционной комнатке было человек десять. Они лежали на скамейках. Жизнь, должно быть, погоняла их по дорогам, по станциям, привык-

ли, наверно, чувствовали себя здесь как дома. Одни спокойно спали, другие переговаривались, курили, в углу двое пили из жестяных кружек горячий кипяток — обжигались, дули на воду, а один тихо наигрывал на гитаре и что-то тихо напевал себе под нос. Десятилинейная лампа с разбитым нечищеным стеклом помигивала, коптила. Оглядевшись в полутьме, мы с Алиман тоже примостились с краю скамейки. Посидели немного, но тут послышался шум поезда, и мы опрометью кинулись к двери. Ветер во тьме рванул за полы и рукава. Поезд был сплошь из товарных вагонов. Солдат в них не видно было, но мы бежали вдоль поезда и выкрикивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек?

— Суванкулов Маселбек здесь?

Никто не откликался, никого не было. Когда мы вернулись на станцию, там уже все спали.

— Мама, приляг немного, отдохни, а я постерегу поезд, — сказала Алиман.

Я прислонила голову к плечу невестки, думала, вздремну, но где там.

Какой мог быть сон? Да и как можно думать о сне, если не только слухом — сердцем, разумом угадываешь приближение поездов, но даже чуешь под ногами за тридевять земель первое

неуловимое содрогание пола и сразу спохватываешься. С какой бы стороны поезд ни шел, мы вскакивали, хватали курджун и выбегали на пути.

Эшелоны шли, но ни в одном из них Маселбека не было. В полночь снова заходила земля под ногами, мы спохватились, выскочили наружу. С обоих концов ущелья одновременно послышались раскатистые гудки паровозов, поезда шли сразу с двух сторон. Растерялись мы, заметались и очутились посреди двух колей. С оглушительно нарастающими гудками сошлись поезда и, не останавливаясь, все быстрей и быстрей набирая бег, пошли напролет. И застучали колеса, заревел ветер, замотал нас в снежном вихре, норовя кинуть под вагоны.

— Мама! — закричала Алиман и, обхватив меня, прижала к столбу фонаря, крепко стиснула в объятиях и не отпускала.

Я всматривалась в проносящиеся, как молнии, окна: а вдруг увижу Маселбека, а вдруг мой сын там и я не знаю об этом? Рельсы стонали под бегущими колесами, так же как сердце мое, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося за собою тучи снега, а мы долго еще стояли, прижавшись, у фонаря.

До самого рассвета мы с Алиман не присели, то и дело бегали взад-вперед вдоль эшелонов. Перед рассветом, когда буран вдруг стих, на станцию подошел с запада еще невиданный нами эшелон: вагоны все обгорелые, с сорванными крышами и выбитыми дверями. Во всем эшелоне — ни живой души. В пустых вагонах тишина, как на кладбище. Пахло дымом, горелым железом, обуглившимися досками и краской. Наш вчерашний железнодорожник в черном полушубке подошел с фонарем.

Алиман спросила у него шепотом:

— Что это за эшелон?

— Бомбили его, — шепотом ответил он.

— А куда теперь эти вагоны?

— На ремонт, — так же тихо ответил железнодорожник.

Я слушала этот разговор и думала о тех, кто ехал в этих вагонах, кто в дыму, криках и пламени расстался с жизнью, о тех, кому оторвало руки и ноги, кто оглох и ослеп навеки… А ведь эти бомбы — лишь отголосок войны. Что же тогда сама она?

Долго стоял разбитый эшелон на станции, потом тихо тронулся и, печально погромыхивая, укатил куда-то. Смотрела я ему вслед с черной

тоской в душе: вон и Маселбек отправится туда, откуда пришел разбитый эшелон. А что с Касымом? Как Суванкул? Он писал, что находятся они где-то под Рязанью. Ведь это, наверно, не так уж далеко от фронта…

Настало утро. Пора было уезжать — сено у лошадей кончилось. А вдруг Маселбек не проезжал еще, тогда как? Столько ждали, разве не обидно будет? По-всякому думали, решали мы с Алиман. Но уехать не посмели.

Погода была, как и вчера, ветреная, холодная. Недаром называют станционное ущелье караван-сараем ветров. Вдруг тучи развеялись, и солнышко проглянуло. «Эх, — подумала я, — вот бы и сын мой блеснул вдруг, как солнышко из-за туч, появился бы на глаза хоть разок…»

И тут послышался вдали шум поезда. Он шел с востока. Мощный двукратный гудок паровоза прокатился по ущелью.

Земля затряслась под ногами, рельсы загудели. С грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями пронеслись два черных паровоза, за ними на платформах — танки, пушки, укрытые брезентом, подле них часовые в шубах, с винтовками в руках, мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек, и пошли — вагон

за вагоном — проносить на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармоней и балалаек. Засмотрелись мы. Тем временем прибежал какой-то человек с красными и желтыми флажками в руках, закричал на ухо:

— Не остановится! Не остановится! Прочь! Прочь с путей! — И стал отталкивать нас.

В эту минуту раздался рядом крик:

— Мама-а-а! Алима-а-ан!

Он! Маселбек! Ах ты, боже мой, боже! Он проносился мимо нас совсем близко. Всем телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал, прощался. Я только помню, как вскрикнула: «Маселбек!» И в тот короткий миг увидела его точно и ясно: ветер растрепал ему волосы, полы шинели бились, как крылья, а на лице и в глазах — радость, и горе, и сожаление, и прощание! И, не отрывая от него глаз, я побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я еще бежала по шпалам, потом упала. Ох, как я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил перестук колес, потом и он стих.

И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь

голову проносится этот эшелон и долго стучат в ушах колеса.

Алиман добежала вся в слезах, опустилась рядом, хочет поднять меня и не может, захлебывается, руки трясутся. Тут подоспела русская женщина, стрелочница. И тоже: «Мама! Мама!» — обнимает, плачет. Они вдвоем вывели меня на обочину, и, когда мы шли к станции, Алиман дала мне солдатскую шапку.

— Возьми, мама, — сказала она. — Маселбек оставил.

Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я бежала за вагоном. Я ехала домой с этой шапкой в руках; сидя в бричке, крепко прижимала ее к груди.

Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой на лбу. Иногда возьму в руки, уткнусь лицом и слышу запах сына.

## 6

— Скажи, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтобы только один раз, только мельком увидеть своего сына?

— Не знаю, Толгонай. Такой войны, как в твое время, мир не знал.

— Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи бог никому обнимать железные рельсы и биться головой о шпалы.

— Когда ты возвращалась домой, еще издали можно было догадаться, что ты не встретилась с сыном. Ты была желтая, с запавшими, измученными глазами, как после долгой болезни.

— Уж лучше бы я действительно пролежала месяц в горячке.

— Бедная моя Толгонай. В тот год седина побила твою голову. А какие были прежде тяжелые и густые твои косы… Молчаливой ты стала тогда, суровой. Молча приходила сюда и уходила, стиснув зубы. Но мне-то понятно было, по глазам видела — с каждым разом трудней и трудней становилось тебе.

— Да, мать-земля, поневоле станешь такой. Если бы только я одна была — ведь не осталось ни

одной семьи, ни одного человека, не схваченного за горло войной. И когда приходили черные бумаги — похоронные — и в аиле в один день сразу в двух-трех домах поднимались плач и проклятья, вот тогда закипала кровь и месть темнила глаза, сжигала сердце. Я горжусь, что именно в те дни я была бригадиром, хлебала свое и чужое горе, делила с народом все невзгоды, голод и холод. Потому и выстояла я, за других выстояла, а иначе упала бы я и война растоптала бы меня в пыль. Поняла я тогда, что на войну только одна управа — биться, бороться, побеждать. Иначе смерть! Вот потому-то, поле мое родимое, я появлялась здесь всегда на коне и не тревожила тебя, молча здоровалась и молча поворачивала назад.

## 7

Настал день, когда от Касыма пришло письмо. Я вскочила на коня и пошла галопом, не разбирая пути, через арыки, через сугробы, с письмом в руке. Алиман и Джайнак разбрасывали здесь кучи навоза, и я закричала им на скаку:

— Суйунчу, суйунчу — радость!

Как же было не порадовать их! Ведь от Касыма два месяца подряд не было ни строчки, не знали мы, что с ним. А в письме он писал, что два раза стоял в обороне под Москвой и оба раза вышел живым. Писал, что немцы остановились, что сломали им зубы, и о том, что полк ихний отвели на передышку.

А Алиман как обрадовалась! Спрыгнула с брички — и наперегонки с Джайнаком, обогнала его.

— Мама, масла в твои уста! — Схватила письмо дрожащими руками, зашлась от счастья, читать не может. Только твердит одно: — Жив! Жив-здоров!

Тут подбежали женщины, обступили ее.

— А ну, прочти, Алиман, что пишет муж? Может, о наших что знает?

А она:

— Сейчас, милые, сейчас! — И ни строчки не может прочесть.

Джайнак не утерпел:

— Дай-ка сюда, людям надо прочесть. — Взял письмо и стал читать вслух.

А Алиман присела на корточки, хватает снег горстями и прикладывает ко лбу. Джайнак кончил читать, она встала и даже лицо забыла утереть, стоит с тающими ручейками на лице, разгоряченная, радостная.

— Ну, теперь пойдемте работать! — тихо сказала она и медленно пошла по снегу.

Шла и тихо оглядывалась по сторонам. О чем она думала в тот час — кто ее знает, может, о том, как летом бежала она здесь по жнивью к мужу с кувшином в руке. А может, о том, как Касым прощался здесь с комбайном. Алиман, казалось мне, заново переживала все дорогое ей, памятное. Глаза ее то улыбались, то меркли. Она долго смотрела в сторону большака, вспоминала, наверное, как уходил по дороге саврасый иноходец, как гудела под копытами земля и как она бежала за Касымом.

А Джайнак шел рядом и стал дразнить ее, тормошить:

— Да ты очнись, наконец, приди в себя. Ты по-

нимаешь, что над тобой теперь будет смеяться весь аил? Письмо не могла прочитать, эх ты! Я вот напишу Касыму, скажу, что жену твою отдал в школу, снова в первый класс, азбуку учить!

Алиман принялась колотить его, а потом они побежали к бричке и гонялись друг за другом.

А я шла и думала. Конечно, кому же и защищать народ, если не таким джигитам, как мои сыновья! Только бы они живыми вернулись, с победой. А все остальное переживем, перетерпим, пусть кожа да кости останутся, только бы до победы дожить. Скорей бы уж, скорей бы победа! И потому что это было не только моим желанием, а мечтой и целью всего народа, ради этого на все шла, со всем соглашалась.

Даже когда самый младший и последний мой сын Джайнак ушел на фронт, а ему восемнадцати еще не было, стиснула я зубы, смолчала, стерпела.

К концу зимы частенько стали его вызывать в военкомат. Не его одного, а многих ребят, обучали их там военному строю. Ну, это было дело привычное, я и не очень беспокоилась. Погоняют, погоняют их там дней десять и распускают по домам. Однажды он что-то быстро вернулся домой, на второй же день.

— Что это тебя так скоро отпустили? — удивилась я. — Или совсем освободили?

— Нет, мама, — ответил Джайнак, — завтра я снова уйду. Разрешили денек побывать дома. В этот раз нас подольше задержат, так что ты не беспокойся.

А я и поверила, нет чтобы догадаться. Ведь он как-то странно вел себя в тот день, словно собирался в дальний путь. С молотком, с гвоздями ходил целое утро, что-то подбивал, приколачивал. А потом, смотрю, дров наколол кучу, навоз убрал на задворье, сено, что было сложено на крыше сарая, перебрал, подсушил. К вечеру пришла, смотрю — он двор вымел, привел в порядок развалившиеся конские ясли. Они нужны были, когда отец был дома, он любил коня держать при себе.

— Зачем ты возишься, сынок, летом успеешь починить, — сказала я ему.

Но он ответил, что надо сделать тогда, когда время есть, а потом некогда будет. И тогда недомыслила я, не подумала ни о чем. Ведь он добровольно ушел на фронт, по комсомольскому призыву. А узнали мы об этом, когда Джайнак был уже в пути. Письмо передал он с товарищем со станции. Вот ведь негодник этакий, сынок мой

бедный, хоть ты и написал письмо, но разве можно было так уходить, не простившись? Да пусть я с ума сойду, все равно надо было сказать. Он просил в том письме у нас с Алиман прощения за то, что молча ушел. Так, говорит, легче, отрубить одним разом. Я, говорит, хотел, чтобы вы меньше переживали, чтобы сразу узнали о моем решении и, узнав, примирились, согласились со мной. Кто его знает, может, он и прав. Конечно, трудно ему было сказать мне в лицо, а может, побоялся, что я стану плакать, отговаривать, упрашивать…

И сейчас, когда я уже лишилась его и прошло уже столько лет, я веду с ним разговор так же, как с матерью-землей.

Джайнак, послушай меня! Пусть тебя не мучит совесть, не в обиде я, нет. Я тогда еще простила тебя, Джайнак, сынок мой младшенький, жеребенок мой, весельчак мой! Думаешь, я не понимала, почему ты ушел, не простившись, почему ты оставил меня одну, почему ты оставил юность, молодость, жизнь свою будущую? Ты был озорной, шумный парень, и не все знали, как ты любил людей. Не смог ты спокойно смотреть на наши страдания и ушел. Ты очень хотел, чтобы люди оставались людьми, чтобы война не калечила в людях живую человеческую душу, чтобы

она не вытравляла из них доброту и сострадание. И ты все сделал для этого. На свете остаются жить только добрые дела, все остальное исчезает. И твое доброе дело осталось жить. Ты давно погиб, пропал без вести. Ты писал, что ты парашютист. Что три раза ходил в тыл врага. И вот в какую-то темную ночь сорок четвертого года ты спрыгнул с самолета вместе со своими товарищами, чтобы помогать партизанам, и пропал без вести. Погиб ли ты в бою, или шальная пуля настигла, или попал в плен, или в болоте утонул — никто не ведает. Но если б ты был жив, то хоть маленькая весточка объявилась бы за эти годы. Да, Джайнак, вот так и не стало тебя. Ты ушел совсем молодым, восемнадцати лет, и не очень крепко остался в памяти людей. Но я помню тебя и всякий раз вспоминаю, как ты ушел на фронт, не посмев сказать мне об этом, потому что ты любил и жалел меня. Вспоминаю, как ты отдал мальчику на станции свой полушубок. Увидел на станции семью эвакуированную — мать и четверых детей — и отдал старшему мальчишке, совсем раздетому, полушубок, а сам вернулся домой в одном пиджачке — зуб на зуб не попадает. Может быть, и он, став взрослым человеком, иногда вспоминает тебя, мальчишку, потому что теперь

ты намного моложе его, а он намного старше. Но ты был его учителем. Ведь добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится.

Эх, что теперь говорить, словами не поможешь. Сколько людей война погубила! Если бы не война, каким красивым, душевным человеком жил бы на свете мой Джайнак!

Сын мой, обидно мне, из двенадцати цветов жизни ты не сорвал ни одного. Ты только начинал жить, и я даже не знаю, какую девушку ты любил…

Последняя свеча горит в душе моей, скоро она погаснет. Но я все помню, помню и тот злосчастный день, когда приехал за мной тот старик на пахоту.

Было это ранней весной. Подснежники еще не сходили, бороньба только начиналась. С Желтой равнины шел понизу теплый ветер, зябь просыхала, трава на солнце пошла зеленеть.

В тот день мы как раз только начали пахоту. Я ехала на коне шажком вслед за трактором, вдыхала земной дух борозды и подумывала про себя, что очень давно нет вестей от Суванкула и Касыма.

Тем временем приехал сюда старик наш один,

вроде бы не по очень срочному делу. Я ему сказала:

— Кстати приехали, аксакал, благословите с добрым началом пахоты.

Он развернул ладони, сидя на коне, и, поглаживая бороду, прошептал:

— Пусть покровитель хлеборобов Дыйкан-баба побудет здесь, пусть урожай будет как половодье. — А потом сказал мне: — Тебя, Толгонай, вызывает начальник какой-то из района. Приказал, чтобы ты явилась в контору. Я за тобой приехал.

— Хорошо, сейчас поедем, аксакал.

Подъехала я к плугарям, предупредила, что к вечеру приеду проверить работу, и мы направились к аилу. В том, что меня вызвал уполномоченный, ничего удивительного не было. Обычное дело, особенно с началом посевной много их разных наезжает в аил. Ехали не торопясь, разговаривали о том о сем, о житье-бытье нашем, и старик в разговоре как-то осторожно вставил:

— Спасибо тебе, Толгонай, что в такое лихолетье служишь ты на коне народу. Хотя и женщина ты, но всем нам голова. Так и держись, Толгонай, крепче держись в седле. Если что, мы все тебе опора, а ты нам. Конечно, и тебе нелегко, знаем.

Судьба человеческая как горная тропа: то вверх, то вниз, то вдруг пропасть впереди. Одному, случается, не под силу, а всем миром одолеть можно… Так-то оно в жизни нашей суетной…

Мы ехали уже по улице, и я заметила возле нашего двора вроде бы толпу людей. Я увидела их головы за дувалом. Но почему-то не придала этому значения. Старик вдруг взял за повод моего коня и сказал мне, не глядя в глаза:

— Слезай, Толгонай, ты должна спешиться.

Я удивленно уставилась на него. Только он сам слез с лошади и, беря меня под руку, повторил:

— Ты должна слезть с седла, Толгонай.

Все еще не соображая, в чем дело, но уже охваченная каким-то страшным предчувствием, уже мертвая, я медленно спешилась и увидела Алиман, идущую к дому вместе с тремя женщинами. Они в тот день работали на очистке арыков. Алиман несла кетмень на плече. Одна из женщин взяла ее кетмень с плеча. И тут я все разом поняла.

— Что вы? Что вы надумали? — закричала я на всю улицу.

Когда я закричала, из двора соседки Айши выбежали женщины. Молча, быстро подошли ко мне, схватили за руки и сказали:

— Крепись, Толгонай, лишились мы наших соколов, погибли Суванкул и Касым.

Я услышала в ту минуту, как вскрикнула Алиман, как заголосили все разом:

— Боорумой — братья наши! Боорумой!

И больше уже ничего не слышала, оглохла сразу. Оглохла, наверно, от своего крика. И закачалась улица, чудилось мне, деревья падают, дома падают. В жуткой тишине мелькали перед глазами то облака в небе, то какие-то искаженные немые лица. Я вырывалась, силилась освободить зажатые в чьих-то руках свои руки. Я не понимала, кто меня держит, что за толпа у ворот. Я видела только Алиман. Видела ее с беспощадной ясностью. Она была страшна, с изодранным в кровь лицом, с разлохмаченными волосами, в изорванном платье. Ее удерживали женщины, закрутив руки за спину, а она вырывалась изо всех сил ко мне и кричала так сильно, что я ничего не слышала. Я тоже рвалась к ней. У меня было только одно желание — быстрей прийти к ней на помощь. Но прошла, казалось, целая вечность, пока мы наконец сошлись. И только тогда, когда Алиман бросилась ко мне на шею, я наконец услышала ее надсадный, хриплый крик:

— Мама, вдовы мы, мама! Несчастные вдовы!

Погасло наше солнце. Черный день! Мама! Черный день!

Да, мы были вдовами. Две вдовы — свекровь и невестка, мы оплакивали свою судьбу, обнимаясь и обливая друг друга горючими слезами.

Но нам с Алиман не пришлось вволю поголосить. На седьмой день пришли колхозники, чтобы еще раз почтить память погибших, и сказали нам:

— Год круглый траур держать и то было бы мало. Мы будем их помнить, но живой человек должен жить. То, что они недожили, пусть доживут Маселбек и Джайнак. (От Джайнака мы тогда еще почти каждую неделю получали письма.) Пусть они вернутся с победой. А вам мы разрешаем выходить на работу. Время сейчас посевное, земля не ждет. Зажмите сердца в кулак. Будьте с нами. И пусть это будет нашей местью врагу.

Посоветовались мы с Алиман и согласились с народом. Утром, когда мы собирались на работу, председатель Усенбай принес две бумажки. Это, говорит, похоронные, сберегите их. Похоронная Касыма прибыла в колхоз, оказывается, еще полмесяца тому назад. Он погиб в наступлении под Москвой, в деревне Ореховка. Пока собирались сообщить об этом, подоспела и похоронная Су-

ванкула. Он тоже погиб в большом наступлении под Ельцом. Односельчанам нашим ничего не оставалось, как сказать правду. И пришлось им сделать это в один и тот же день. Ну а дальше рассказывать нечего. Снова крепко подпоясалась я и снова села на бригадирского коня.

Ведь если бы я стала сетовать, судьбу проклинать, руки опустила, то что было бы с Алиман? Она так убивалась, что мне страшно становилось. Горя у меня было не меньше, я потеряла сразу мужа и сына, утрата была двойная, и все-таки положение мое было иное. Мало ли, много ли, мы с Суванкулом прожили большую жизнь. Всякое видели, всякое испытали — и трудно жили, и счастливо. Детей имели, семью имели, вместе трудились. И если бы не война, вместе были бы до конца дней. А много ли познали Алиман и Касым? Жизнь для них вся была в будущем, вся в мечтах. В самую пору молодости срубила их война топором. Конечно, со временем затянулись бы раны в душе Алиман. Свет не без людей, нашла бы, может быть, человека, которого и полюбила бы даже. И жизнь вернулась бы с новыми надеждами. Другие солдатки так и поступили. Кончилась война, они вышли замуж. Кто удачно, кто не совсем удачно, но они не остались одинокими, все они

теперь матери, жены. Многие из них нашли свое счастье. Но не все люди одинаковы. Есть такие, что быстро забывают о горе, быстро переступают на новую дорогу, другие мучительно, отчаянно топчутся на месте, не находя в себе сил уйти по памяти прошлого. Вот и Алиман, на беду свою, оказалась такой. Не сумела она забыть былое, не смогла примириться с судьбой. Здесь есть и моя непростительная вина. Слаба я оказалась, не осилила жалость свою…

Весной бригада наша копала головные арыки. Я тоже была там. Однажды закончили мы работу рано, до захода солнца, и народ стал расходиться по домам. Мне надо было еще завернуть к плугарям, и я сказала Алиман, чтобы она не ждала меня. Шалаш плугарей был неподалеку. Они как раз ужинали. Я потолковала с ними о делах и, выйдя из шалаша, собиралась было сесть на коня, как увидела Алиман. Она, оказывается, не ушла. Осталась одна и ходила по перелогу, собирала тюльпаны. Ведь она, как девчонка какая, любила цветы. Эх, Алиман, Алиман, горемычная моя невестушка. В руках у нее было штук десять больших тюльпанов. Она их собиралась, наверно, домой понести. Я как увидела ее с цветами, пот горячий проступил на лбу. Вспомнила, как она

тогда на обкосе загона набрала дикой мальвы и тоже стояла с цветами вот так же. Только тогда косынка на ней была красная, а цветы белые, а теперь она была повязана черным платком и в руках держала красные цветы. Вот и вся разница. Но как это резануло по сердцу! А Алиман подняла голову, огляделась по сторонам, потом понурилась, уныло уставилась на цветы, вроде бы: кому их теперь и куда?.. И вдруг встрепенулась вся, упала лицом вниз и стала рвать свои цветы в клочья, хлестала ими землю, потом утихла, уткнулась в руки и лежала так, передергивая плечами. Я спряталась за шалаш. Не стала ее тревожить. Пусть, думаю, поплачет, может, легче ей станет. А она вскочила на ноги и помчалась по перелогу к большаку. Я перепугалась, на коня — и за ней. Страшно мне было видеть, как убегала моя невестка, как бежала она в черном платке по красному полю.

— Алиман! Остановись! Что с тобой? Остановись, Алиман! — кричала я ей, а она не останавливалась.

Добежала до дороги, по которой уходил когда-то саврасый иноходец, тут лишь я догнала ее.

— Мама! Не говори мне ничего. Мама, не говори мне ничего. Не надо!

Я натянула поводья, а она подбежала, схватилась за гриву коня, ткнулась к моей ноге и зарыдала. Я молчала. А что мне было ей говорить? Потом она подняла голову, а лицо все в глине, в слезах, и сказала всхлипывая:

— Посмотри, мама, как светит солнце. Посмотри, какое небо, а степь какая, в цветах! А Касым не вернется, да? Никогда не вернется?

— Нет, не вернется, — ответила я.

Алиман тяжело вздохнула.

— Прости меня, мама, — тихо сказала она. — Хотела добежать туда и умереть там вместе с ним.

И я не выдержала, заплакала, ничего не сказала. Но если бы я была мудрой, дальновидной матерью, я должна была ей твердо сказать: «Ты что, дитя маленькое? Не ты одна, сколько овдовело таких, как ты, — не сосчитать. Перетерпи. Как тебе ни дико это слышать — забудь Касыма. Что прошло, того не вернешь. Придет время — найдется человек по душе. Если не возьмешь себя в руки, тебе же будет хуже. Не смей так убивать себя. Ты еще молода и должна жить». И как я каюсь теперь, что не посмела сказать этой грубой, этой единственной правды. И потом сколько раз подходили удобные случаи, на языке стояли эти слова, я так и не решилась их высказать. Какая-то

неодолимая сила удерживала меня. Да и сама Алиман не хотела меня выслушать. Есть, оказывается, у каждого слова свое время, когда оно ковкое, как раскаленное железо, а если упустишь время — слово остывает, каменеет и лежит на душе тягостным грузом, от которого не так-то просто освободиться. Это я говорю теперь, когда прошло столько лет, а тогда в каждодневной суматохе, в каждодневных заботах и нехватках колхозных некогда было одуматься, сообразить толком, что к чему. Все ожидания, все помыслы были только об одном — скорей бы победа, скорей бы конец войне, а все остальное потом. Думалось: кончится война — и все само собой станет на свое место. А оно, оказывается, не совсем так…

## 8

— Мать-земля, почему не падают горы, почему не разливаются озера, когда погибают такие люди, как Суванкул и Касым? Оба они — отец и сын — были великими хлеборобами. Мир извечно держится на таких людях, они его кормят, поят, а в войну они его защищают, они первые становятся воинами. Если бы не война, сколько бы еще дел сделали Суванкул и Касым, сколько людей одарили они плодами своего труда, сколько еще полей засеяли бы, сколько еще зерна намолотили бы. И сами, сторицею вознагражденные трудами других, сколько бы еще радостей жизни увидели бы! Скажи мне, мать-земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны?

— Ты задала трудный вопрос, Толгонай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах, были города, сожженные огнем и засыпанные песками, были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: «Остановитесь, не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за горами, за морями! Эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно — земли? Вот я — земля! Я для всех

вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд! Бросьте в борозду одно зерно — и я вам дам сто зерен. Воткните прутик — и я выращу вам чинару. Посадите сад — и я засыплю вас плодами. Разводите скот — и я буду травой. Стройте дома — и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна!» А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от меня — от вас, от людей, зависит, от вашей воли и разума.

— Как подумаешь, земля родная, ведь самых лучших тружеников твоих, самых лучших мастеров убивает война. А я не согласна с этим, всей жизнью своей не согласна!

— А ты, Толгонай, думаешь, я не страдаю от войн? Нет, я очень страдаю. Я очень тоскую по крестьянским рукам, я вечно оплакиваю детей своих, хлеборобов, мне всегда не хватает Суванкула, Касыма, Джайнака и всех погибших солдат. Когда я остаюсь непаханой, когда нивы остаются несжатыми, а хлеба необмолоченными, я зову их: «Где вы, мои пахари, где вы, мои сеятели? Встаньте, дети мои, хлеборобы, придите, помогите мне,

задыхаюсь я, умираю!» И если бы тогда пришел Суванкул с кетменем в руках, если бы Касым привел свой комбайн, если бы Джайнак пригнал свою бричку! Но они не откликаются…

— Спасибо тебе, земля, на том. Значит, ты так же тоскуешь о них, как и я, так же оплакиваешь их, как и я. Спасибо тебе, земля.

## 9

Третий и четвертый годы войны и радовали и омрачали: врага изгоняли шаг за шагом — душа ликовала, но что ни день, все трудней и трудней становилась жизнь. Осенью еще куда ни шло, колоски собирали по жнивью, картошку копали в огородах, а с середины зимы начинался голод. Особенно весной да в желтые летние дни туго приходилось, иные едва-едва пробивались дикими кореньями, травой да чуть забеленной молоком водичкой. Мы с Алиман обе работали, и за подол нам детишки не цеплялись. Но лучше бы они цеплялись. Невыносимо становилось на душе, когда у других, у многодетных, детишки с раздутыми животами и опухшими лицами глядели в руки, безмолвно прося хлеба. Если бы мне сказали: «Иди и ты на фронт, умри там — и война кончится, дети будут сытыми», — я не задумалась бы. Только бы не видеть их голодных глаз. Как-то я поделилась этими мыслями с Алиман, она посмотрела на меня и потом сказала:

— Я бы тоже так поступила. Ведь самое страшное то, что дети не понимают, почему они должны голодать. Взрослые-то хоть утешают себя, знают

причины, знают, что будет этому когда-нибудь конец. А дети не понимают. Пока не вернутся их отцы, мы должны хлеб добывать им. Нам с тобой, мама, только это и осталось. А то ведь и жить не стоит…

Все безраздельно принадлежало только войне: и жизнь, и труд, и воля, и даже детская кашка — все, все до единой крупицы уходило в ненастную утробу войны. Однако были и такие, что не хотели делиться с войной ничем; да зачем скрывать, были такие люди. Они тоже урывали от нашего куска.

Как-то я заблудилась. Это произошло в сорок третьем году, кажется, в середине зимы, или нет, к концу зимы дело было. В степи уже темнели прогалины голой земли, но окна еще замерзали по ночам.

Кто его знает, в какой час ночи — все давно спали, — только вдруг заколотил кто-то в окно, думала, стекла полетят.

— Толгонай! Бригадир! Вставай! Проснись! — кричал кто-то с улицы. Мы перепугались, и обе, я и Алиман, вскочили с постелей.

— Мама! — прошептала Алиман в темноте, и так тревожно, словно ждала какого-то чуда.

Эх, проклятая, никогда не покидающая на-

дежда! У меня тоже сердце зашлось от страха и смутной радости: «Может, вернулся кто из наших?» — и я приникла к окну.

— Кто тут? Кто ты?

— Выходи, Толгонай! Быстрей! Лошадей увели! — ответил голос за окном.

Пока Алиман зажигала лампу, я быстро натянула сапоги, надела чапан и выскочила на улицу. Прибежали на конюшню, там были уже люди и сам председатель. Оказалось, что воры трех лошадей увели, в том числе и нашего саврасого иноходца — я его в колхоз передала. Это были лучшие мерины нашей бригады, мы их готовили к пахоте. Конюх говорил, что пошел на сеновал задать лошадям полночное сено, вернулся, а в конюшне темно, фонарь не горит. Решил, что ветер задул, потому не спеша зажег свет, глянул — с краю три стойла свободные.

В то время для колхоза потерять три рабочие лошади — все равно что сейчас десять тракторов потерять. А если подумать поглубже, то это все равно что у каждого солдата на фронте отнять по куску хлеба. Мы оседлали лошадей, некоторые прихватили ружья, и все кинулись в погоню. И если бы догнали воров, то не пожалели бы. Честное слово, не пожалели бы!

За аилом мы разделились на кучки по нескольку человек и поехали в разные стороны. У меня под седлом был племенной жеребец, горячий, поджимистый, в побежку просился. Я дала ему повод. Помню, перемахнула через большак и направилась в сторону гор. За мной скакали еще двое наших. Вдруг оглянулась — нет их. То ли они свернули в сторону, то ли я свернула. Ошибиться было немудрено: луна хоть и просвечивала, но свет ее был обманчив — шагах в двадцати все сливалось в темную мглу. Но не об этом думала я тогда: только бы догнать конокрадов; так досадно и обидно было, что не замечала, куда уносит меня конь, и когда он внезапно остановился, смотрю — впереди глубокий овраг. Под самыми горами очутилась. Луна осторожно шла над темным хребтом, звезды туманились. Вокруг ни огонька. Понизу скользил порывистый ветерок, шевелил сухостойные кураи, тонко посвистывал. На развалинах старой глинобитной гробницы перекликались совы.

Я спустилась на коне в овраг. Ничего не слышно. Только вспугнула лисицу. Она выскочила из камыша и понеслась, сизо-голубая в лунном свете. Больше никого не видать кругом.

Я повернула в аил. Ехала над обрывом и вспо-

минала: поговаривают, что Дженшенкул — был у нас такой в аиле — сбежал из армии, что с ним двое таких же, как сам он, дружков откуда-то с Желтой равнины и что прячутся они в горах. Я не очень-то верила этим слухам. Не понимала я, как можно прятать свою голову, когда все в опасности. Выходит, что кто-то должен идти сражаться, погибать, а кто-то может отсиживаться за его спиной? Нет, вряд ли кто пойдет на такое бесстыдство, думала я. А тут вдруг усомнилась. В аиле мы все знаем друг друга, как пять своих пальцев. Вроде не было людей, которые могли бы пойти на конокрадство. Да и конь не иголка, в воротнике его не припрячешь. Тем более сразу трех лошадей. Значит, воры пришли откуда-то. Должно быть, сейчас, как волки, рыскают в горах и в степи. Если правда, что Дженшенкул в бегах, то, пожалуй, это дело его рук, думалось мне. Однако уверенности в этом не было: как-никак не пойман — не вор, а видеть никто не видел.

Три лошади — упряжка одного двухлемешного плуга. Упряжь эту мы восстановили с горем пополам, объездили молодняк, четверку, запрягли в плуг. Жаль, но ничего не поделаешь. А тут нагрянула посевная, и началось такое, что не до воров было и не до самого бога. Это была, пожа-

луй, самая тяжелая весна в моей жизни. Народ что — народ не виноват. Люди хотели работать и старались, но с пустым желудком не очень-то наработаешь. Того, что прежде за день делали, теперь на неделю хватало. Запаздывали работы, затягивалась посевная. А тут еще беда — семян в колхозе нет. Уж мы до зернышка вымели, выскребли закрома, кое-как свели концы с концами, но план бригады все же выполнили.

В эти дни я крепко призадумалась над нашей жизнью. На трудодни мы ничего не получали, что было из прежних запасов, давно съели. Как быть? По миру расходиться, разбрестись куда глаза глядят? Нет, это значит потерять себя. Ну что же дальше? Хорошо, дотянем до осени, перебьемся зиму, а там опять же весна и опять же придется заставлять работать полуголодных, ослабевших людей. И не работать нельзя.

По-всякому думала я, ночей не спала, и осенила меня мысль такая: распахать залежь — была у нас небольшая на отшибе, — с тем чтобы урожай поделить по семьям. Посоветовалась с председателем, до района дошла, объяснила, что план мы свой выполнили, а это сверх плана, своими силами, специально для себя на трудодни, поддержать чтобы народ. Кто-то мне из-за стола бросил:

— Ты сталинский устав колхоза нарушаешь!

Я не утерпела:

— А пусть он провалится, этот устав! Если мы будем голодными, кто вас будет кормить?

— А ты, — говорит, — знаешь, куда Макар телят не гонял?

— Знаю. Отправляйте, если от этого легче станет. Только подумайте сначала, кто будет хлеб сеять для солдат на фронте.

Зашумели, в райком толкнулись. В общем, разрешили, сказали: под личную ответственность. А дело-то было не в ответственности, а в семенах. В колхозе — хоть шаром покати, что было, все высеяли. Помозговала я и собрала свою бригаду, всех от мала до велика. Не то что собрание, а так, вроде семейный совет устроили.

— Давайте подумаем, как быть нам, — сказала я. — На то, что посеяно на полях, не надо надеяться. Сами знаете, там все для фронта, а если что останется — на семена. Но у нас, если найдем семена, есть возможность посеять хлеб для помощи многодетным, старикам и сиротам. Если верите мне, я беру на себя эту ответственность. Дело сейчас стоит за тем, чтобы каждый из нас отдал на семена золотые крупицы, то, что еще приберегаем мы на дне мешочков и сусеков. Не гневайтесь

на меня, пусть мы оторвем кусок от своего рта, пусть мы будем голодать — дотянем как-нибудь на молоке до жатвы, но зато каждое зернышко вернется нам сторицей. Поднатужьтесь, родные, стисните зубы, отважьтесь на такой подвиг ради себя, ради детей своих. Не пожалеете. Поверьте моему материнскому слову. Помогите мне, пока есть еще время посеять…

На сходке вроде бы все поддержали меня. Но когда коснулись дела, пришлось туго, просто страшно. Особенно страшно было мне, когда выбегали из дворов многодетные матери, когда они проклинали все на свете: и войну, и жизнь такую, и детей, и колхоз, и меня. И все же люди с кровью отрывали от сердца, давали каждый сколько мог и что мог: кто полпуда, а кто пригоршню. Понимала я, что люди отдавали свое последнее, и все же я брала. Собирала все, высыпала в мешки по горсточке. И так обходила я с бричкой двор за двором, умоляла, просила, ругалась, выхватывала из рук. И только одно утешение было, что осенью люди поблагодарят меня, что осенью каждая горсточка вернется пудом.

Никогда не забыть мне, как я обошлась с соседкой своей, Айшой. Она ведь болезненная была. Рано овдовела, муж ее, Жаманбай, умер еще

до войны. И осталась она одна, хворая, с единственным сыном — Бекташем. Если не болела, работала в колхозе, у себя на огороде, коровенку имела — тем и кормилась и растила сына. Бекташ в ту пору был уже работником, надежный вырос парнишка. В тот день как раз на его бричке и ездили мы по дворам. Когда поравнялись с их двором, я спросила его:

— Бекташ, есть у вас дома что-нибудь?

— Есть немного, — ответил, помедлив, парнишка. — В торбочке, за печкой.

— Ну так иди принеси, — сказала я.

— Нет, тетушка Толгонай, сами пойдите, — попросил он. Айше нездоровилось в те дни. Она сидела на кошме, укутав поясницу теплым платком.

— Айша, я пришла получить то, что все дают, — сказала я.

— Все, что у нас есть, вон там, — показала она на торбу за печкой.

— Сколько есть. Не для утехи отдаешь. Для семян. Поле готово, сева ждет, не задерживай, Айша, — поторопила я.

А она прикусила губу и молча опустила голову. Ох, нужда проклятая, до чего доводит людей.

— Айша, подумай: ну, десять, пятнадцать дней

тебе легче было бы перебиваться. Но подумай и о будущей зиме, о весне подумай. Ради сына твоего прошу, Айша. Он ждет на улице с бричкой.

Она подняла глаза и с мольбой посмотрела на меня.

— Если бы было что, думаешь, жалко? Ты же знаешь, Толгонай, соседка ведь я твоя…

Я почувствовала, что не устоять мне перед ее мольбой, но тут же отбросила в сторону жалость.

— Я сейчас тебе не соседка, а бригадир! — отрезала я. — От имени народа забираю у тебя это зерно! — Встала и взяла в руки торбу. Айша отвернулась.

В торбе было килограммов семь пшеницы. Я хотела унести все, но не посмела. И отсыпала половину зерна в порожнее ведро. И сказала ей:

— Смотри, Айша, я половину беру. Не обижайся.

Она обернулась. И я увидела слезы, стекавшие по ее лицу к подбородку. Мне стало не по себе. Я опрометью кинулась из дома. Ах, почему я не поставила торбу на место? Но откуда же мне было знать, что случится с собранными мною семенами?

Зерна набралось два больших мешка. Мы его пропустили через решето, провеяли, очистили

от сорняков, по зернышку перебирали. И я сама свезла семена к пашне. Повременить бы мне в тот день. Но ведь оставалось еще допахать край загона. А мне не терпелось быстрей засеять это поле. С рассветом сама собралась сеять вручную. Все было готово — семена, пашня, все получалось так, как задумала.

Вечером вернулась я с работы домой, и что-то беспокойно стало на душе, места себе не находила. Днем я велела Бекташу и еще одному парень ку отвезти на бричке бороны к полю. Дети, как ни говори, это дети. Не совсем уверена была я, выполнили ли они мое поручение. И я сказала Алиман:

— Съезжу-ка я к ребятам. Погляжу, что они делают.

Села на коня и поехала.

За аилом пошла рысью: сумерки сгущались, темнеть начинало уже. Подъезжаю к месту, смотрю — быки стоят на пашне в ярме. И рядом никого нет. Зло взяло на мальчишку-плугаря: до сир пор тягло не распряжено, томится в ярме. Ну, думаю, подожди у меня, парень, я тебе дам нагоняй. Двинулась я разыскивать его, смотрю — бричка с боронами опрокинута набок. И тут тоже никого нет.

— Эй, ребята! Где вы? Откликнитесь! — позвала я.

Никто не отозвался, ни души вокруг. Да что с ними? Куда они запропастились? Перепугалась я. Поскакала к шалашу, спрыгнула с лошади. Засветила спичку. Ребята лежали в шалаше связанные, избитые в кровь, ободранные, во ртах тряпье какое-то набито. Я вырвала кляп изо рта Бекташа.

— Семена? Где семена? — вскричала я не своим голосом.

— Забрали! Избили! — прохрипел он и мотнул головой в ту сторону, куда исчезли воры.

А дальше не помню, что было. Сроду не гнала я так коня, как в ту ночь. Что там ночь — тьма могильная была нипочем. Если бы дом мой сожгли и разграбили, ничего не сказала бы. Если бы осенью с гумна похитили десять мешков хлеба — стерпела бы: мыши тоже утаскивают. Но за эти семена, за этот хлеб наш будущий — да я придушила бы своими руками.

Оказывается, я гналась по следам воров и вскоре увидела их. Искры заметила из-под копыт. Мешки воры везли перед собой на седлах. Уходили в сторону гор.

Увидев их, я стала кричать, просить:

— Оставьте мешки, это семена! Оставьте, это

семена! Семена это!

Они не оборачивались. Расстояние между ними быстро сокращалось, и я увидела, что один из них, тот, что с краю, ехал на иноходце. Я сразу узнала его. Как было не узнать саврасого иноходца? По побежке узнала, по белым чулкам на задних ногах. И тогда я крикнула:

— Стой, я знаю тебя! Ты Дженшенкул! Ты Дженшенкул! Теперь ты не уйдешь от меня! Стой!

Он и в самом деле оказался Дженшенкулом. Отделившись от других, он повернул ко мне навстречу. Огонь вспыхнул во тьме, что-то прогрохотало. И, уже падая с коня, я поняла, что это был выстрел. А сначала я подумала, что просто споткнулась лошадь.

Придя в себя, я почувствовала тупую, тяжелую, ломившую спину боль. Из головы сочилась кровь, она затекала к затылку холодным студнем. Рядом со мной хрипела, издыхая, лошадь, она еще сучила ногами, пытаясь встать. Клокочущий предсмертный вздох вырвался из ее груди, голова глухо стукнулась о землю, и лошадь утихла. И все вокруг утихло — утихла вся жизнь. Я лежала не шелохнувшись, не пытаясь даже встать. Все теперь было для меня безразлично. И жизнь не имела смысла. Я думала о том, как убить себя.

Была бы поблизости круча, доползла бы и бросилась вниз головой. Я не представляла себе, как, какими глазами теперь буду глядеть на людей. И тут я увидела в небе Дорогу Соломщика. Тусклая, туманная река Млечного Пути напомнила мне мутные слезы, стекавшие по лицу Айши. И я встала на колени, потом на ноги, пошатнулась, снова упала и, рыдая от горя и обиды, стала выкрикивать проклятья:

— Чтоб тебя кровь войны прокляла, Дженшенкул! Убитые пусть проклянут тебя, Дженшенкул! Дети пусть проклянут тебя, Дженшенкул!

Я плакала и кричала, пока не обессилела.

Долго лежала я. Потом послышались чьи-то шаги, и кто-то позвал меня:

— Тетушка Толгонай! Где вы? Тетушка Толгонай!

По голосу узнала Бекташа и отозвалась. Бекташ прибежал запыхавшись, упал на колени, приподнял мою голову:

— Тетушка Толгонай, что с вами, вы ранены?

— Нет, расшиблась, — успокоила я его. — Лошадь вот убило пулей.

— Ну это не так страшно, мы вам сейчас поможем! — обрадовался Бекташ. И добавил: — А мясо не пропадет. Раздадим по дворам.

Ребята привезли меня домой на бричке. Дня три провалялась в постели, спину не отпускало. И сейчас, когда непогодит, ломит порой. В те дни многие приходили наведать меня, справиться о здоровье. Спасибо за это людям, но больше всего спасибо за то, что никто не укорил меня, никто не напомнил, будто ничего не случилось. Может быть, люди догадывались, что мне и так было тяжело. Как вспомню, что труды наши пропали даром, что пашня осталась незасеянной, а зерно, которое я оторвала от плачущих детей, стало добычей этих подлых бандитов, — такая горечь жгла душу, что в глазах меркло.

## 10

— Да, Толгонай, не только ты, но и я, земля, чувствовала эту боль. То пустое поле саднило все лето, как зияющая рана. Долго не утихала боль. Самые страшные раны наносятся мне тогда, когда поля остаются незасеянными, Толгонай. А сколько полей осталось бесплодными из-за войны! Самый смертельный враг мой тот, кто начинает войну.

— Ты права, мать-земля. Не об этом ли писал мой сын Маселбек? Ты помнишь, земля, письмо Маселбека?

— Помню, Толгонай.

— Да, мы с тобой помним. Сегодня день поминовения, мать-земля. Сегодня мы снова все вспомним.

— Вспомним, Толгонай. Ведь Маселбек был не только твоим сыном, он и мой сын — сын земли. Повтори мне его письмо, Толгонай.

## 11

Когда приходили люди проведать о моем здоровье, я думала, что они из сочувствия ко мне старались как-то умолчать о случившемся и поэтому говорили большей частью о новостях, о работе, о погоде; но была, оказывается, еще одна причина. Я потом догадалась об этом. А они-то знали, что меня ждет.

Как-то заглянула к нам Айша, принесла мне чашку сметаны. Когда она переступила порог, мне стало очень стыдно. Я не знала, что говорить, молчала, сидя на постели. А она сказала мне:

— Ты не думай, Толгонай, о том, что было. И прости мою слабость. А я обиды не держу. За тебя, если надо, и жизнь отдать мне не жалко. Бекташ мой теперь у нас помощник на два двора. Он тебя, Толгонай, больше даже любит, чем меня. А я рада этому. Значит, вырастет он понятливым человеком...

Я только промолвила:

— Спасибо на слове, Айша.

Утром другого дня мне было уже легче, и я вышла во двор кое-что по хозяйству присмотреть. Но быстро утомилась и села возле окна, на сол-

нышке посидеть. Алиман тоже была дома. Она стирала белье во дворе. Я ей говорила, чтобы она выходила на работу, но она ответила, что сам председатель предложил ей остаться на денек дома, чтобы я не была одна.

В ту весну большая старая яблоня — ее еще сам Суванкул сажал — так густо зацвела, словно заново набралась сил и помолодела. А когда сады цветут, воздух чист, все дали открываются. Сидела я так, любовалась всем вокруг, а тем временем почтальон наш старик Темирчал пожаловал. Здравствуй, мол, Толгонай, как поживаешь? А сам, против обыкновения, что-то очень заторопился, что-то очень ему не по себе было, кашлял надсадно и жаловался на кашель; на прошлой неделе, говорит, простыл, замучился совсем; а потом, как бы между прочим, говорит:

— Кажется, тебе письмо есть какое-то. — И достает его из сумки.

Я даже обиделась на такое равнодушие:

— Да что же ты сразу не сказал? От кого?

— Да вроде от Маселбека, — пробормотал он.

От радости я сначала не обратила внимания на то, что письмо это было не такое, как всегда, треугольником, а в твердом белом конверте с печатными буквами. Тут пришел на костылях

фронтовик Бектурсун, сосед наш. Я подумала, что у него с раненой ногой хуже стало — еле притащился. Он иногда приходил к нам посидеть, поговорить. Бектурсун поздоровался, взял конверт. От Маселбека, говорит.

— А что у тебя руки дрожат? Да ты не стой на костылях, садись, прочти мне, — попросила я.

Он с трудом сел на кошму: нога у него не подгибалась. Дрожащими пальцами вскрыл конверт и начал читать. Эх, сынок мой, ведь я с первых слов все поняла.

> «Понимаешь, мама, – писал он, – пройдет время, и ты поймешь меня, убедишься, что я сделал правильно. Да, ты обязательно скажешь, что сын твой поступил честно. И все-таки, хотя ты и поймешь, где-то в глубине твоего сердца останутся невысказанные мне слова: «Как же ты мог, сынок, так просто уйти из этого светлого мира? Зачем я тебя родила, зачем растила?» Да, мама, ты мать и вправе спросить с меня, но на твои вопросы ответит потом история. А я сейчас могу лишь сказать, что мы не выпросили себе войну и не мы ее затеяли, это огромная беда

всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы этого не сделаем, то не достойны будем имени Человека. Я никогда не жаждал совершать геройства на войне. Я готовил себя к самой скромной профессии – я хотел быть учителем. Я очень хотел им быть. Но вместо мела и указки мне пришлось взять в руки оружие и стать солдатом. Не моя в этом вина. Время мое оказалось такое. Я не успел дать детям ни одного урока.

Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить в наступлении жизнь многим своим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в человеке.

Это мое последнее письмо, это мои последние слова. Мама! Да, тысячу раз я буду повторять твое материнское имя и все-таки останусь перед тобой в неоплатном долгу. Прости меня, мама, за горе, которое я приношу тебе. Но ты пойми, мама, это не безрассудная жертвенность, нет. Так

учила меня жить сама жизнь. И это мой первый и последний урок детям, которых я должен был учить. Я иду по своей воле и убеждению. Я горжусь, что выполняю свой самый высокий долг перед людьми. Не плачь, мама, пусть никто не плачет. В таких случаях никто не должен плакать.

Прости, мама, и прощай.

Прощайте, горы мои – Ала-Тоо! Как я любил вас! Твой сын – учитель,

лейтенант Маселбек Суванкулов.

Фронт, 9 марта 1943 г. 12 часов ночи».

Как во сне я подняла тяжелую голову. Во дворе безмолвной толпой стояли люди. Никто не плакал. Маселбек просил, чтобы никто не плакал. Женщины подняли меня под руки. И когда я встала, то ветер набежал на яблоню и посыпались тучей белые лепестки цветов. Они бесшумно падали нам на головы. За белой нашей яблоней, за белыми вершинами далеких гор синело бесконечно чистое и бездонное небо. А во мне, в душе моей, поднимался крик. Мне хотелось кричать на весь белый свет. Но я молчала. Я выполняла последнюю волю моего сына, он просил, чтобы я не плакала. Я не знаю, что делала Алиман. Я уви-

дела, как она медленно шла ко мне с вытянутыми руками. Она подошла совсем близко, посмотрела мне в глаза, отвернулась и пошла, закрыв лицо ладонями.

Вот так я лишилась и своего среднего сына. Осталась мне шапка его.

## 12

— А мне осталось имя его, Толгонай. Я его родина. Народу остались слова его, Толгонай. Они его земляки.

— Да, мать-земля, все это так. И колхоз наш называется его именем. Письмо Маселбека прислали в сельсовет его однополчане вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища, будут гордиться его подвигом и что Родина будет всегда чтить его память. Они писали, что Маселбек перед большим наступлением наших войск взорвал вражеский склад боеприпасов, от взрыва этого смело все живое вокруг. Я склоняю голову перед героями и перед сыном своим Маселбеком, славой которого горжусь. Но ничто, никакая слава не может мне возместить его живого. Пусть спросят любую мать, никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рождают детей для жизни, для простого, земного счастья…

— Ты права, Толгонай. Я всегда помню ту весну, когда пришла победа, я всегда помню тот день, когда вы, люди, встречали солдат с фронта, но я до сих пор не могу сказать, Толгонай, чего было

больше — радости или горя.

## 13

В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным плугом. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышалась какая-то беготня и шум. Алиман побежала узнать, в чем дело, и вернулась мигом.

— Мама, собирайся быстрей, — заторопила она меня. — Народ идет солдат встречать.

Плуг, быки в ярме так и остались на пашне. Действительно, весь аил — конные, пешие, сгорбленные старики и старухи, дети, раненые на костылях — все куда-то бежали. На бегу передавали, что какой-то проезжий (зареченский как будто) сказал кому-то, что солдаты возвращаются по домам, что на станцию прибыли два эшелона, там ребята со всех аилов и что они уже в дороге и с часу на час должны подоспеть. Никто не спрашивал, правда ли это. Люди хотели этой правды, люди мечтали об этом долгожданном дне, поэтому ни у кого не было никаких сомнений.

Мы сбежались на окраину аила, туда, где закладывалась до войны новая улица. Конные не слезали с седел, пешие поднялись на пригорок у арыка, мальчишки забрались на развалины

недостроенных стен, а иные вскарабкались на деревья. И все ждали и смотрели на дорогу. Одни, нетерпеливо перебивая друг друга, рассказывали о добрых снах, виденных накануне, другие собрали по пригоршне камешков, стали гадать на них. И во всем этом: и в снах, и в гаданиях, и в других предчувствиях и приметах — видели люди хорошие, желанные предзнаменования. Вспоминаю я теперь и думаю, что если бы люди во всем мире всегда так ждали, охваченные одним чувством, всегда так любили своих сыновей, братьев, отцов и мужей, как мы их ждали и любили, то на земле, может быть, не было бы войны.

Когда разговоры в толпе утихали, каждый молча думал о своем, опустив голову. Люди ждали решения судьбы. Каждый спрашивал себя: кто вернется, а кто нет? Кто дождется, а кто нет? От этого зависела жизнь и дальнейшая судьба.

Вот в такую минуту один мальчишка вдруг крикнул с дерева: «Идут!» И все замерли, натянулись, как струны комуза, а потом все разом глухо повторили: «Идут!» — и снова замолчали в ожидании, снова стало тихо. Очень тихо. Но затем, словно опомнившись, все зашумели: «Где? Где идут? Где?» — и снова замолчали. Впереди на большаке показалась бричка. Она резво катила

по дороге, остановилась на развилке, где отходит проселок к нашему аилу, и с брички соскочил солдат. Он взял свою шинель, вещевой мешок, распрощался с возницей и зашагал в нашу сторону. В толпе никто не проронил ни слова, все молча и удивленно смотрели на дорогу, по которой шел всего лишь один солдат с шинелью и вещевым мешком, перекинутым через плечо. Он приближался, но никто из нас не двинулся с места. На лицах людей застыло недоумение. Мы все еще ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного, а многих.

Солдат подходил все ближе и ближе, потом остановился в нерешительности — тоже оробел, увидев на окраине аила безмолвную толпу людей. Он, наверно, подумал, что это за люди, почему они молчат, почему они стоят как вкопанные? Может быть, они кого-то ждут? Солдат раза два оглянулся на дорогу, но, кроме него, на ней не было ни души. Он снова зашагал к нам, и снова остановился, и снова оглянулся назад. Босоногая девчонка, что стояла впереди нас, неожиданно выкрикнула:

— Это мой брат! Аширалы! Аширалы! — И, сорвав с головы косынку, кинулась к нему со

всех ног.

Бог ее знает, как она его узнала, только крик ее, как выстрел, вывел нас из оцепенения. За ней побежали мальчишки, девушки.

— Да ведь это он, Аширалы! Это он! — зашумели голоса, и тогда все, старые и малые, все мы хлынули толпой к солдату.

Какая-то могучая сила подхватила всех нас и понесла, как на крыльях. Когда мы бежали к солдату, раскрыв объятья, то мы несли вместе с собой всю свою жизнь, все пережитое и выстраданное, наши муки ожидания и наши бессонные ночи, наши поседевшие волосы, наших постаревших девушек, наших вдов и сирот, наши слезы и стоны, наше мужество несли мы Солдату-победителю. И он вдруг, поняв, что это встречают его, тоже побежал нам навстречу.

И когда мы бежали всей толпой, мне почудилось, что мимо проносится с грохотом эшелон; ветер бьет в лицо, я слышу крик: «Мама-а! Алима-ан!» — и в ушах стучат, стучат колеса.

Конные первыми доскакали до солдата, на лету подхватили его шинель и вещевой мешок, а самого взяли за руки с двух сторон.

О, Победа! Мы так долго ждали тебя. Здравствуй, Победа! Здравствуй! Прости наши слезы! Прости

мою невестку Алиман за то, что она билась головой на груди Аширалы и спрашивала его, тряся за плечи: «Где? Где мой Касым?» Прости всех нас, Победа. Столько жертв мы принесли ради тебя. Прости за наши крики: «Где остальные? Где мой? Где мой? Где же все другие? Когда вернутся все?» Прости солдата! Аширалы за то, что он отвечал всем нам: «Вернутся родные мои, все вернутся. Скоро вернутся, завтра вернутся». Прости нас, Победа, прости. Обнимая и целуя Аширалы, я думала в ту минуту о Джайнаке, о Маселбеке, о Касыме, о Суванкуле: из них никто не вернулся. Прости меня, Победа…

Мы шли молча. Алиман все еще изредка и неожиданно всхлипывала, тяжело, шумно вздыхала, словно ей не хватало воздуха. Лицо ее было сумрачно, она смотрела только под ноги себе и, понурив голову, о чем-то напряженно думала. Я догадывалась: мрачные мысли одолевают ее. Да, Алиман очень страдала. Я это видела по ее лицу, по ее тоскливым взглядам и прикушенной губе. Я знала, о чем она думала, и говорила ей про себя: «Ну что ж, невестушка, верно, придется нам расстаться. Теперь-то уж небось ты окончательно похоронила Касыма. А что ж делать? Не умирать же за умершим и не вечно тебе куковать вдовой.

Все кончено. Ты уйдешь. Ничего не поделаешь — уйдешь, конечно. Ну что ж, я не в обиде. Не по воле своей и не по прихоти уходишь. Судьба такая. Эх, судьба, судьба… Знала бы ты, Алиман, как жалко мне разлучаться. Жили мы с тобой, как мать с дочерью. Будешь уходить, благословлю тебя, как дочь свою, буду молиться за твое счастье. Тебе еще жить, молода ты и красива, найдется кто-нибудь. Главное, чтобы человек хороший попался. А сможет ли он быть для тебя таким, как Касым? Кто его знает. И помочь тебе я ничем не могу. Одна лишь просьба: когда уйдешь, то вспоминай меня хоть изредка. Никого у меня нет теперь, кроме тебя. Ведь я остаюсь в доме совсем одна, одна в целом свете. Подумать страшно. И нет мне утешения на старости лет: не успела ты родить мне внука. Но для тебя это, может быть, к лучшему. И ты не смотри на меня. Не губить же тебе молодость свою из-за меня, старухи. Я свое отжила. А тебе жить. Когда надумаешь, тогда и скажешь. Ты свободна уйти в любой день. Уйдешь со спокойной совестью. А я буду всегда тебя помнить, любить и благодарить тебя…»

Так я шла, думала и готовилась сказать эти слова. И Алиман, оказывается, знала, что у меня на уме. Когда люди живут душа в душу, они по-

нимают друг друга с полуслова, с полунамека. И все-таки она сказала не то, чего я ожидала.

Мы шли мимо заброшенной улицы. И я на беду свою глянула на бывшую стройку Алиман и Касыма: на дворе там все так же, как пять лет тому назад, серой громадной кучей лежали навезенные камни, а кирпичи давно превратились в груду обломков. С тех пор как началась война, недостроенная улица совсем заглохла. Каждое лето усадьбы зарастали репьем и лебедой. Стены осели, пообвалились, и даже внутри домов росли колючки, выглядывали из пустых глазниц окон. До самой осени здесь бродили лишь телята на приколе да грустно куковали удоды. Эти хохлатые птицы любят запустение кладбищ. Они и в тот час сидели на развалинах, как на могильниках, нежились тихой теплынью весны и вполголоса, уныло перекликались.

«Боже! — подивилась я пустоте. — Где же остались люди, что хотели здесь жить, иметь свой дым над очагом? И бедному Касыму моему не довелось построить здесь свой первый дом!» Пусто, горестно стало на душе. А Алиман, придерживая меня за руку, жалеючи, улыбнулась.

— Мама, — сказала она, — ну что ты так поникла? Или совсем уж разуверилась в жизни?

Не надо, мама. Понимаю, тяжело. Но ты крепкая у меня. Ты у меня… — Она запнулась, собираясь что-то сказать, и, наверно, раздумав, виновато улыбнулась. — Ты у меня просто хорошая. Давай сядем здесь на бугорок, поговорим, мама. «Ну вот сейчас скажет, скажет, что уйдет», — подумала я. Горячей волной нахлынула жалость к себе и к ней, и я ответила, стараясь унять задрожавший голос:

— Хорошо, сядем поговорим.

Мы присели на бугорок на краю дороги. Да, сели мы с ней так, вдвоем — свекровь и невестка, чтобы решить свою судьбу, как нам дальше быть.

Алиман потупилась и, вздохнув, заговорила:

— Ну вот, мама, война проклятая кончилась. И ты теперь думаешь, наверно, как нам жить дальше. — Она замолчала, и я молчала. Алиман подняла глаза, серьезно и прямо посмотрела мне в лицо. — Не печалься, мама, — грустно улыбнулась она. — Думаешь, не осталось нам от счастья ничего, ну маленько, чуточку хотя бы. Не может быть, чтобы из четырех человек не вернулся ни один. Нет, ты постой, мама, не перебивай, послушай меня. Честно говорю, не мне тебя утешать и обманывать себя я не стала бы. Ты поверь мне, мама, сердце мне подсказы-

вает так: Джайнак должен вернуться. Пропал без вести — это значит, что живой. Ведь никто не видел его убитым. А может, он в плену или с партизанами скрывался в лесах, а теперь вдруг объявится. Или лежит где тяжело раненный и не может сообщить об этом. Всякое может быть. Вот увидишь — возьмет да вернется, упадет как снег на голову. Давай подождем, мама, не будем хоронить прежде времени. Были же случаи — ты же сама слышала, — живыми оказывались не то что там без вести пропавшие, а даже те, на которых приходила черная бумага. Вот в соседнем аиле и еще где-то у казахов Желтой равнины уже оплакивали, поминки справили, а мертвые оказались живыми, вернулись. А я верю, точно знаю, Джайнак наш живой, вернется скоро. Никак не должно быть, чтобы из четырех человек ни один не вернулся. Давай повременим, мама, долго ждали, подождем еще. А обо мне не беспокойся, если раньше я была тебе невесткой, то теперь я тебе как сын, вместо всех сыновей…

Алиман замолчала, и мы долго еще сидели молча. Была уже середина мая. Далеко-далеко от нас собирались в тучу облака и словно бы наливались черным дымом. Там погромыхивал гром. Оттуда тянуло прохладным духом дождя.

В той дали шел светлый ливень. Он проливался струящимися потоками, блистал на солнце и незримыми широкими шагами ходил по земле: то уходил в горы, то спускался вниз, то снова поднимался в горы, то снова опускался к степи. Я смотрела в ту сторону, не отрывая глаз. Далеким дождевым ветром обдавало мое горячее лицо. Я ничего не говорила Алиман. Слова мои для нее были там: такие же щедрые и светлые, как этот светлый далекий ливень.

Да, будут идти дожди, будут расти хлеба, будет жить народ — и я с ним буду жить. Я так думала не потому, что Алиман пожалела меня, не потому, что она из милосердия сказала, что не оставит меня одну. Нет, я радовалась другому. Кто говорит, что война делает людей жестокими, низкими, жадными и пустыми? Нет, война, сорок лет ты будешь топтать людей сапогами, убивать, грабить, сжигать и разрушать — и все равно тебе не согнуть человека, не принизить, не покорить его.

А моя Алиман была человеком! Ради кого крепила она в себе веру в то, что наш Джайнак, спрыгнувший темной ночью с парашютом в стан врагов и бесследно пропавший той же ночью, непременно жив и непременно вернется?

Ради кого убеждала она себя, что мир не так уж несправедлив, как нам кажется? И я не посмела разрушить эту веру, я не посмела смутить ее надежды на лучшее и даже поверила ей. А что, если правда Джайнак жив? Значит, не будет никакого чуда, если в один прекрасный день он вернется. Я поверила, как дитя. Я этого хотела. И уже мечтала об этом дне, когда Алиман нарушила молчание. Она первая вспомнила, что огород остался недопаханным.

— Мама, а ведь у нас плуг простаивает. Пошли, живей! Земля пересохнет, — заторопила она.

Мы прибежали на огород. Быки, волоча за собой плуг, давно уже паслись на траве за огородом. Алиман пригнала их назад, мы снова установили плуг в борозду и продолжали пахоту. Странно, как мало надо человеку! Порой одного доброго слова ему хватит, чтобы воскреснуть из мертвых. Так случилось и с Алиман. Или мне так казалось? Но вдруг она превратилась в прежнюю, довоенную Алиман. Все в ней засветилось, и каждое слово ее, каждая улыбка и движение — все было таким, как когда-то. Она забросила на межу свой коротенький бешмет, подоткнула платье, засучила рукава, косынку сбила на затылок и ловко погоняла быков.

— Эй, белоголовый, цоб-цобе! Эй, куцехвостый, цоб-цобе! — покрикивала она на них, хлестко хлопая длинным кнутом.

Алиман хотела, чтобы я немного приободрилась, чтобы я работала, жила. Потому-то она и вела себя так в тот памятный день. Она оборачивалась на ходу и, смеясь, говорила мне:

— Мама, полегче налегай на чапыги — камень пойдет наверх. Побереги свою силушку!

Когда осталось нам еще два-три круга пройти по огороду, и дождь подоспел. Это был шумный, веселый ливень. Дождь сначала потрогал спины волов первыми редкими каплями, призадумался — и затанцевал сразу всеми струями, заиграл, будто в ладоши захлопал, вмиг всполошил весь аил. Закудахтав, растопырив крылья, побежали куры с цыплятами. Женщины срывали белье с веревок и тоже бежали к домам. На улицу выскакивали детвора и собаки. Они носились в дождевой кутерьме наперегонки. Ребятишки пели песенку:

*Дождик, дождик, подожди,*
*Мне с тобою по пути...*

— Намокнем! Побежим переждем! — сказала я Алиман. Она мотнула головой:

— Ничего, мама, не раскиснем! — И как девчонка, захохотав от щекотки дождя, стала быстрей погонять быков.

И я заразилась ее весельем. Любовалась ею и шептала про себя: «Светлая моя, дождевая! Какая бы ты счастливая была! Эх, жизнь, жизнь...» Теперь-то я понимаю, что все это она делала для меня. Она очень хотела, чтобы я забыла о войне, о горе, чтобы я веселей глянула на жизнь. Алиман подставляла руки и лицо струям дождя и говорила мне:

— Смотри, мама, какой дождь! Смотри, какой чистый дождь! Год будет урожайный! Цоб-цобе, дождь, лей, поливай щедрей, цоб-цобе! — И хлестала кнутом струи дождя и парные спины волов.

Смеялась она и не знала, наверно, какая она была красивая под дождем, в намокшем платье, тонкая, с крутыми грудями и сильными бедрами, с сияющими от счастья глазами и с разгоряченным румянцем на щеках. Будь же ты еще раз трижды проклята, война!

Когда ливень поредел и ушел гулять дальше, Алиман примолкла. С сожалением смотрела она вслед уходящему дождю, прислушивалась к его стихающему за рекой шуму, быть может, думая о

том, что и дождь не вечен, что и он быстро проходит. Она печально вздохнула. Вспомнила ли она о Касыме или еще что, но, глянув на меня, снова улыбнулась.

— Вот, кстати, по дождю и засеем кукурузу! — сказала она и побежала домой.

Алиман принесла в ведерке намоченную кукурузу. Взяла полную пригоршню набухших, крупных зерен.

— Мама, — сказала она мне. — Пусть Джайнак вернется, пока поспеют молочные початки! — И швырнула по огороду первую горсть.

Никогда не забыть мне этот день. Как новорожденный ребенок, выглянуло из-за облаков омытое дождем чистое солнце. По темной влажной пашне Алиман шла босая и, улыбаясь, разбрасывала через каждый шаг семена. Она сеяла не просто зерна, а зерна надежды, добра, ожидания.

— Вот посмотришь, мама, — говорила она при этом. — Сбудутся мои слова. Я еще сама испеку Джайнаку молочную кукурузу в горячей золе. Помнишь, он всегда дрался со мной из-за початков. Однажды он вытащил из золы горячий початок, сунул за пазуху — и бежать от меня. А початок как припечет ему живот. Он завертелся, словно ужаленный. Целое ведро воды выплеснул

себе на грудь. А я нет чтобы ему помочь как-то, со смеху покатываюсь и приговариваю все одно: «Так тебе и надо! Так тебе и надо!» Помнишь, да, мама? — смеялась она, вспоминая этот забавный случай.

И за это спасибо ей…

## 14

— Да, Толгонай, долго вы ждали Джайнака.

— Долго, мать, земля. Кукуруза поспела не один раз, а два, три раза поспела, а Джайнак наш так и не вернулся. И никаких известий о нем не объявилось. Ты же помнишь, сколько раз я приходила к тебе со слезами, горем своим делилась…

— Приходила, Толгонай. Да, много раз приходила ты ко мне. Плакала, спрашивала, как быть с невесткой, не погубить бы ее молодую жизнь. Но ничем я не могла помочь тебе, Толгонай. И сейчас вот уже прошло столько лет, но и сейчас ничего не скажу тебе.

## 15

Жизнь шла своим чередом, колхоз стал понемногу налаживаться, житье полегчало и вместе с этим тускнела память о войне, стирались ее следы в душах людей.

Мы с Алиман все так же работали в колхозе. Работу бригадирскую я передала молодым сразу же, как солдаты вернулись с фронта.

— Три года без вас поработала, походила по мукам, а теперь вы вернулись, беритесь за дело сами, — сказала я ребятам. — А меня увольте, постарела я за эти годы, буду вам и так помогать.

Тогдашняя молодежь меня и сейчас зовет: «Бригадир-апа», стало быть, уважают еще…

Хотя жизнь и вошла в свою колею, мы с Алиман так и не обрели покоя. Никто этого не замечал, но в душе мы постоянно страдали, постоянно думали об одном и том же. На первый взгляд, казалось бы, чего легче — с глазу на глаз откровенно потолковали: так и так, мол, пусть каждый пойдет по своей дороге, пусть каждый устраивает свою жизнь. Да, суть была очень проста. Если бы невесткой моей была не Алиман, а какая-нибудь другая женщина, если бы не была она так добра со

мной, я, недолго думая, сказала бы ей в глаза, что, мол, нечего засиживаться — пока не поздно, найди себе мужа и уходи. А ей, Алиман, не решалась сказать этих слов. Ведь как ни подстилай слова помягче, как их ни выбирай, а смысл остается тот же — грубый и жестокий смысл. Я не имела права гнать ее поневоле. Однажды как-то заехали к нам по пути ее родственники из Каиндов. Чтобы совесть моя была чиста, я заставила себя сказать им, что, мол, Алиман свободна и я готова благословить ее. Но Алиман им так отрезала, что мне было неудобно перед людьми и за себя, и за нее. Она и говорить им запретила об этом. У меня, мол, своя голова есть, уйду я или не уйду, когда уйду — это дело мое, и не вмешивайтесь в нашу жизнь. Каялась я потом, что поспешила. Глаза прятала от Алиман. А она, умница моя, все поняла, словом не обмолвилась, как будто бы ничего и не было. Вот так мы и жили, жалели друг друга, обманывались надеждами на возвращение Джайнака; потом и эти надежды иссякли, а время шло, и уже стало поздно… Как это получилось, я и сама не знаю. Аил-то наш на скотопрогоне. Издавна гоняют здесь скот — весной в горы, а осенью — с гор, в степь. Бывает, что задерживаются у нас скотоводы по нескольку дней. Отдых дают

себе и отарам.

Осенью сорок шестого года гонял здесь свою отару по суходолу в поймище один молодой чабан из соседнего аила. Видно, солдат бывший, на нем еще была серая шинель, ездил он на хорошем коне, с ружьем через плечо, шубу возил с собой, притороченную к седлу. Часто он проносился рысью по аилу. Ну, носится — и ладно, мало ли людей ездит по дорогам, кому какое дело. Я его и знать-то не знала.

В ту осеннюю пору свадьбы шли в аиле. Кто-то устроил в честь свадьбы сына козлодранье на конях. Чабан этот оказался ловким наездником. Мы с Алиман собирались на свадьбу сходить. Пока она принаряжалась, по улице проскакал кто-то и словно упал у ворот. Я выбежала глянуть. Это был тот чабан. Конь с запала горячился под ним, приплясывал, сам он ладно красовался в седле, с плетью в зубах, с подвернутыми рукавами гимнастерки. А у самых ворот лежала туша козла. Победитель игры волен бросить его в любой двор. Только я почему-то так растерялась, что и не знала, что сказать.

— Ты к чему это, сынок? — сорвалось у меня с языка. А он спросил:

— Дома кто?

— А кого тебе надо? — говорю.

Тогда он пробормотал, мол, уронил козла, подхватил его с земли и, развернув коня, умчался вверх по улице. Тут подоспела погоня за ним. Увидели, что он ушел с козлом, и тоже следом помчались на конях. Вот и все.

После этого я его не встречала. А тогда вроде обидно было. Раз уж привез в дом козла, должен его оставить хозяевам — обычай такой. А может быть, и в самом деле уронил случайно? Так почему же козел лежал не на улице, а под воротами? Что это могло значить?

Когда из дома вышла Алиман, я сразу все поняла. На ней был цветастый полушалок, шелковое платье. Она окинула меня быстрым взглядом, опустила голову, застыдилась.

— Пойдем, мама, — тихо сказала она.

Без слов стало ясно, почему прискакал сюда этот чабан. Я вспомнила, что вот уже несколько дней по вечерам Алиман ходит по воду на реку, хотя за двором в арыке полно воды, и возвращается поздно. Больно стало на сердце. Не потому, что я ревновала ее — а может быть, и ревновала, — но дело было в другом. Ведь я сама молила бога, чтобы Алиман не засиделась во вдовах, чтобы она быстрее нашла себе мужа, я желала ей этого,

как счастья, а тут страх вдруг охватил меня. Забеспокоилась я, будто не невестку, а дочь родную должна выдать замуж. Боялась я, как бы она не ошиблась, каково-то ей будет в новом доме, да к каким людям попадет, да что за муж окажется. И на свадьбе, и по дороге, когда возвращалась домой, и дома не выходило у меня это из головы.

«Ты хорошо узнала его, Алиман? Что он за человек? Не торопись, доченька Алиман, смотри не ошибись. Узнай хорошенько человека», — просила я ее про себя. И думала, как бы не оказаться помехой на пути молодых. Как бы так сделать, чтобы Алиман не стеснялась меня, как бы осторожно дать ей знать, что она вольна поступать, как считает сама нужным. И я старалась скрыть свою тревогу, разговаривала с ней, как обычно, даже шутила, смеялась, чтобы она не насторожилась и, не дай бог, не подумала, что я не одобряю ее. И все-таки знала она, оказывается, о чем я тревожилась.

Вечером, когда Алиман взяла ведро и пошла по воду, я облегченно вздохнула, словно гора свалилась с плеч. Вот и хорошо: пусть встретится с ним, подумала я. Но она быстро вернулась назад. На реку не пошла, а принесла воды из арыка.

— Мама, — сказала она, ставя ведро на место. —

Я воды согрею, помой себе голову.

— Успеется, — говорю, — доченька, завтра есть день, если тебе куда надо…

Но она перебила меня:

— Завтра на работу, некогда будет. Ты помой, мама, я тебе волосы расчешу гребнем.

Нагрев котел воды, Алиман принялась возиться со мной, как с маленькой девочкой, которая сама не может вымыть себе голову. Сперва она заставила меня мыть волосы кислым молоком, потом душистым мылом, потом водой и снова мылом, и все время не отходила ни на шаг, то и дело меняла воду, горячую мешала с холодной и ковшом поливала мне на голову. В другой раз я бы не утерпела, сказала, чтобы она оставила меня в покое, но в тот вечер я не могла так поступить. Я чувствовала себя виноватой, потому что из-за меня она не пошла на свидание. «Вот ведь беда, ну зачем она это сделала?» — досадовала я и на себя, и на нее. А Алиман как будто была очень довольна всем и, лишь расчесывая мне гребнем косы, сказала грустно:

— Мама, когда-то косы твои были густые, наверно, и ты ведь молода была.

Она тихонько погладила меня по голове и ласково коснулась ладонями моего лица. Я не

поднимала глаз — слезы навертывались. «Стало быть, прощается со мной», — думала я с тоской. Потом она заплела мне косы и достала из сундука свои давнишние духи. Касым их покупал, а она все берегла. Я стала отмахиваться:

— Да что ты, Алиман, бог с тобой! Зачем мне это? Стыдно на старости-то лет, люди засмеют!

А она и слушать не хотела, смеялась, развеселившись, надушила мне лицо, шею, голову, вылила все, что оставалось в пузырьке. А потом стала обнимать меня, рассматривать со всех сторон.

— Ну вот, смотри, какая ты у меня молодая и красивая стала! — радовалась она своей затее.

Я тоже повеселела. После чая Алиман сказала:

— А теперь будем отдыхать, мама. Я тебе сейчас постелю.

В ту ночь мы обе не спали. Алиман думала о чем-то своем, вздыхала в углу, ворочалась с боку на бок. А у меня душа была полна ею. То мне виделось, как Алиман бежала по пшенице к комбайну с букетом дикой мальвы. Как она положила мальву на ступеньки комбайна и как озорно побежала назад. То мне виделось, как она не давала Касыму сесть на коня, как она, словно малое дитя, с плачем цеплялась за его руку. То вспоминалась наша

поездка на станцию. Чудилось, мы быстро едем на бричке, Алиман сидит со мной рядом с морозным румянцем во всю щеку и вся запорошена снегом. Снег налип на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и она от этого кажется еще красивей. То мне виделось, как она кинулась ко мне с распростертыми руками: «Мама-а! Вдовы мы, несчастные вдовы!» То виделось, как она убегала от меня в черном платке по красному полю тюльпанов. Все, что связывало нас, перебрала я в памяти и вдруг представила себе, как она уходит с тем чабаном, угоняя его отару по суходолу. Будто слышу ее голос: «Прости, мама, ухожу я. Не поминай лихом, прощай, мама!» Я бежала за ней по крутояру, махала рукой и тоже прощалась: «Прощай, свет мой! Закатилась звезда моя. Прощай, Алиман! Будь счастлива, прощай!.. Эй, парень! — кричала я чабану. — Смотри не обижай ее, береги мою невестку. А не то прокляну тебя, страшной клятвой прокляну!» Слезы стекали по лицу на подушку. Я тихо плакала, укрывшись с головой, чтобы не услышала Алиман.

На другой день, вернувшись с работы, Алиман никуда не пошла. Осталась вечером дома. После этого чабан угнал куда-то отару и больше не появлялся. Алиман, видно, переживала это, ходила

хмурая.

«Плюнула бы на меня и ушла с ним, коли он по душе тебе, — ругала я ее про себя и жалела: — Эх, бедняжка ты моя, горемычная. И на что ты уродилась такая на беду свою!» Но дни шли, и понемногу все это забылось.

Ранней весной тот чабан снова появился у нас. Я приметила его в поймище, где он пас овец. И снова Алиман стала уходить по вечерам и возвращалась поздней ночью. Я ей ничего не говорила. Сама она должна была решать свою судьбу.

Как-то ночью я долго ждала Алиман. Аил весь спал, и я прилегла было, прикрутила лампу, но не спалось. Неспокойно, тяжело было на душе. Ожидая Алиман, я прислушивалась к каждому шороху за окном. На дворе стояла луна, тучи иногда задевали ее краем, погода была тихая, весенняя. Знобило меня. Не от холода, а от одиночества. Укуталась я в шубу и задремала сидя. А потом проснулась, испугавшись чего-то; смотрю — Алиман появляется в дверях. Пуговицы на платье сорваны, видна голая грудь, волосы растрепаны и глаза помутневшие. Первый раз я видела ее пьяной. Переступив порог, она зашаталась, едва не упав, схватилась за печку и замотала головой. У меня мороз пробежал по коже.

— Что смотришь? — спросила она, подняв голову. — Ну что ты смотришь на меня? Да, я пьяна. Да, я пила водку. А что мне остается делать? Кому же пить, если не мне, а? Что? Молчишь?

Онемела я, слова не в силах была выдавить. Жутко было глядеть, до чего невестка моя докатилась. Алиман стояла все так же, держась за печь. Опустив голову, она вдруг зашептала:

— Мама, ты ничего не знаешь. А я... я... я сегодня... Помнишь, когда провожали Касыма, мы ходили на реку. Вот там... — И, не договорив, вскрикнула, схватилась за голову, упала на пол и забилась в плаче.

И только тогда я пришла в себя. Кинулась к ней, схватила ее, прижала к груди:

— Что с тобой, Алиман? Что ты плачешь? Ну скажи! Опечалилась? Или обидел кто? Скажи, скажи мне! Или на меня в обиде? Если в обиде, выскажи все, что на душе...

— Нет, нет, мама, мамочка! — захлебывалась Алиман в слезах. — Бедная моя, несчастная, одинокая моя! Ничего-то ты не знаешь... А если бы и знала, что бы ты могла сделать? Ой, мама, мама, ой, мама!

Долго еще она стонала, уткнувшись в меня мокрым лицом. А потом понемногу успокоилась и

уснула. Но и во сне она продолжала всхлипывать и жалобно стонать. До самого рассвета просидела я у ее изголовья и все думала: как нам быть дальше? Что делать? Решила поговорить с ней начистоту.

Но утром она не стала разговаривать со мной. И без того ей было тошно. Молча глазами просила не напоминать ей о том, что случилось ночью, только когда мы выходили на работу, тихо сказала в воротах:

— Прости меня, мама.

И я не стала больше тревожить ее.

Прошло месяца три. Летом было следствие по делу того самого дезертира Дженшенкула. После войны он не решался открыто вернуться в аил, но украдкой по ночам, оказывается, бывал дома. Скрывался он где-то в Казахстане, промышлял там спекуляцией, перепродавал ворованный скот и вот попался. Выяснились его прошлые дела, и Дженшенкула привезли к нам в аил на очное дознание. Ко мне тоже прискакал рассыльный из сельсовета, говорит:

— Вызывают тебя свидетелем.

Я пошла. На улице встретила Алиман. Она возвращалась с работы. Усталая, понурая, шла она в сторонке от всех. Потемнела она лицом в то лето.

Мне стало жалко ее, и, чтобы не сидела она дома одна, я сказала ей:

— Идем, детка, сходим в контору. Домой вернемся вместе.

А она ответила:

— Нет, мама. Что мне там делать? Я пойду домой, голова что-то болит.

— Ну, иди, — сказала я ей. — Да приляг, отдохни. Корову я сама буду доить.

Возле сельсовета стояла глухо крытая машина. На крыльце толпились люди, вызванные как свидетели, и те, что завернули сюда по пути с работы. Давненько я не видела Дженшенкула, почитай лет семь. Видно, дурная жизнь шла ему впрок. Здоровенный, толсторожий, сидел он на скамейке у окна, угрюмо поглядывая исподлобья, и огрызался в ответ кому-то:

— Ты говоришь, что я вор, а вы меня ловили руками, вы меня видели глазами? Нет! Так вот не возводи напрасно поклеп. Можешь говорить сто раз, и все это пустое. Факты, факты нужны!

Услышав это, я рванула приоткрытое окно и крикнула с улицы:

— Ты врешь, сволочь! Тебе факты нужны — вот я — факт!

— Мамаша, войдите сюда, — попросил меня

следователь, привстав из-за стола.

Я вошла и сразу заговорила:

— Да, мы тебя не ловили на месте преступления. Да нам и некогда было гоняться за тобой. Мы тогда ногтями пахали землю, мы тогда хлеб добывали для фронта. Мы тогда колоски собирали, чтобы прокормить детей. А ты угонял наших лошадей — с плуга срывал тягло рабочее. Ты тогда вырывал из рук последние семена, собранные по зернышку, от детей отрывали мы, а ты от нас. Значит, ты был врагом. И когда я догнала тебя, я крикнула: «Стой, я знаю тебя! Ты Дженшенкул!.. Стой!» Ты обернулся и выстрелил в меня. Вот тебе факты!

Я замолчала, и следователь сказал мне:

— Спасибо вам, мамаша. Теперь вы свободны. Можете идти домой.

Я выходила из сельсовета, как вдруг к двери выскочила жена Дженшенкула. Она, как бешеная, накинулась на меня с криком:

— Ах ты, карга одинокая! Ты все правды ищешь, и правда карает тебя. Так тебе и надо. Мало было, теперь поплачешь. Откуда живот у твоей невестки, а? Под носом у тебя твоя шлюха забрюхатела, а ты правды ищешь. Вот и поищите теперь вместе, бесстыжие твари!

Люди оттащили ее от меня в угол, зажали ей рот, но я сказала им:

— Отпустите ее, не троньте! — И молча пошла домой.

То ли пыль по дороге была такая горячая, то ли стыд жег мои ноги, но сначала я чуть не бежала. А потом медленно побрела, стала собираться с мыслями. Никогда мне в голову не приходило такое, а ведь можно было догадаться. В последнее время Алиман как-то странно изменилась, неразговорчивой стала, нелюдимой, сторонилась даже подруг своих. Я приписывала это тому, что с чабаном тем у нее ничего не получилось. Он еще весной ушел в горы, и след его простыл. Думала, что не поладили они, вот она и переживает. Однако дело-то оказалось совсем другое. Ах, какая беда! Но кто мог знать, что так получится. Растерялась я, не представляла, что делать. На другой день вечером Айша позвала меня к себе заглянуть на огонек. За чаем и за разговорами она сказала между прочим:

— А жена Дженшенкула ночью переехала куда-то из аила.

Я промолчала. Какое мне было дело? Переехала, ну и пусть. Каждый волен себе. И только потом, года через два, я узнала: пришли ночью люди к

жене Дженшенкула, погрузили все ее добро на брички и сказали: «Езжай куда хочешь. Тебе у нас в аиле нет места». После этого никто никогда не напоминал мне о нашей с Алиман беде. Может быть, самой ей и говорили что-нибудь, может быть, люди всякое думали про себя, кто жалел, а кто осуждал ее, но мне никто не намекал об этом, и за это людям великое спасибо. Прошло столько лет, но все по-прежнему уважают меня.

После того как я узнала, что Алиман беременна, у нас с ней ничего не изменилось. Жили, работали, советовались обо всем, как и раньше. О своем будущем материнстве Алиман не заговаривала. То ли не решалась, то ли откладывала до поры до времени. Я тоже молчала об этом, щадила ее гордость.

А главное — в душе я не осуждала ее. Права такого не имела, потому что вся ее жизнь проходила на моих глазах, все я видела, все понимала и в чем-то сама была виновата. И поэтому я сразу сказала себе: если Алиман совершила грех, то это и мой грех, если она родит, то это и мой ребенок и весь стыд, все тяготы и муки возьму на себя. Я знала, так же как и она, что рано или поздно наступит день, когда мы поневоле заговорим и простим друг другу долгое молчание. И все же

мы откладывали разговор сегодня на завтра, завтра на послезавтра. Однажды я все-таки проговорилась.

К концу лета, когда Алиман носила уже пятый или шестой месяц, как-то рано утром я погнала корову к стаду. Мальчишка-пастушок звенел в то утро, как кочеток. Стадо поравнялось с нашим двором. Погоняя коров, пастушок улыбался мне во всю рожицу.

— Тетушка Толгонай! — сказал он. — Суйунчу — давайте мне плату за хорошую весть! Сноха деда Джоробека родила!

— Да ну! Когда родила?

— На рассвете.

— Мальчик или девочка?

— Девочка, тетушка Толгонай. Сказали, что имя ее будет Жаворонок. Потому что родилась она на заре, как жаворонок!

— Вот и хорошо. Пусть долго живет. Спасибо за добрую весть.

Очень тронуло меня, что этот мальчишка-сирота так радовался тому, что кто-то родился на свет. Довольная этим, я пошла домой. И как это могло случиться, что в ту минуту я забыла о том, о чем думала и днем и ночью? Я крикнула в воротах:

— Алиман, ты слышала новость? Сноха Джоро-

бека родила. Девочку. Слышала? Бедняжка так тяжело переносила; слава богу, благополучно… — И, не договорив, осеклась, словно камень попал на больной зуб.

Алиман стояла молча, опустив глаза и добела прикусив губу. Что подумала она в тот миг? Может, у нее мелькнула мысль, что, когда она родит, никто не будет с такой радостью оповещать об этом людей. Мне стало невыносимо жарко от стыда за свою неловкость. Не смея взглянуть ей в глаза, я подсела к очагу и принялась подкладывать кизяки в огонь, хотя в этом не было никакой нужды. Когда я обернулась, Алиман все так же, опустив глаза, стояла у стены. Сердце защемило от жалости. Я заставила себя встать и подойти к ней.

— Что с тобой, тебе нездоровится? — спросила я.

— Нет, мама, — ответила она.

— Может, тебе трудно на работе — полежала бы дома.

— Да нет, не трудно, мама. Табак низать — какая же трудность, — сказала она и пошла на работу.

Тогда я решила, что больше тянуть нельзя. Надо сейчас же сказать, что ей нечего стыдиться, что все новорожденные одинаковы и что ее

ребенок будет для меня родным. Буду нянчить его, как нянчила своих детей. Пусть она поймет это. Пусть не вешает головы. Пусть живет гордо. Смотрит людям в глаза смело — она имеет право быть матерью.

С этими мыслями я выбежала за ней, окликнула ее:

— Алиман, подожди минутку. Разговор есть, постой!

Она сделала вид, что не услышала, ушла, не оглянувшись.

Весь день переживала я, думала: «Нет, так дальше нельзя. Вечером скажу обязательно. Так будет легче ей и мне». Но не пришлось мне исполнить свое намерение. Вечером, когда я вернулась с работы, Алиман не было дома. Подождала и забеспокоилась. Что с ней? Почему так долго не возвращается? Собралась идти искать и, выйдя из дому, увидела Бекташа. Он молча вошел в калитку с большой охапкой зеленой травы. Так же молча бросил траву в кормушку корове и только тогда сказал негромко:

— Тетушка Толгонай, Алиман передала, чтобы вы ее не искали. Она сказала, что уезжает к себе, в Каинды.

Ноги мои подкосились, я села на порог.

— Когда уехала?

— После обеда. Часа два тому назад. Уехала на попутной машине.

Я сидела как побитая. Так тошно, так беспросветно было на душе, точно час мой смертный настал. Бекташ стал успокаивать меня:

— Да вы не волнуйтесь, тетушка Толгонай. Шофер посадил ее в кабину. В кабине хорошо, — говорил он.

«Эх, Бекташ, Бекташ, если бы дело было только в этом», — думала я про себя. И все же я была благодарна ему за его бесхитростное утешение. В ту пору он был уже рослым парнем. Работал в колхозе ездовым. Посмотрела я на него и удивилась, как быстро он вытянулся, раздался в плечах. И походка и голос стали уже мужскими. И лицо спокойное, приветливое. Я его мальчишкой еще любила, и в такой горький для меня час хорошо было, что он пришел ко мне. Бекташ принес воды из арыка, поставил самовар, полил водой двор и стал подметать.

— Вы отдыхайте, тетушка Толгонай, — сказал он. — Я сейчас кошму постелю под яблоней. Мама придет. Говорит, соскучилась то вашему чаю. Она сейчас придет.

После того как ушла Алиман, дни стали бес-

конечными. И как я могла до этого считать себя одинокой? Вовсе не знала я, оказывается, что такое настоящее одиночество. Потерпела дня три, а потом стало невмоготу. Дом не дом и жизнь не жизнь. Впору хоть уйти куда-нибудь скитаться по свету. А как подумаю, что там с Алиман, — еще тяжелей становилось. Хорошо, если родственники в Каиндах приняли ее подобру, а что, если издеваются: когда-то слушать не желала — не ваше, мол, дело, сама знаю, не вмешивайтесь, а теперь пришла опозоренная приют искать, теперь мы тебе нужны стали. Могли ей так сказать? Конечно, могли. И если сказали, каково-то ей там? Гордая она, снесет ли эти упреки? Не дай бог, руки еще наложит на себя. Эх, Алиман, Алиман, была бы ты рядом со мной, сама бы весь позор приняла, но в обиду никому не дала. Всякое думала, по-всякому гадала. А потом сказала себе: «Нет, так не годится. Поеду узнаю, посмотрю сама. Буду упрашивать, может, послушается, вернется домой. Какое счастье было бы, если бы она снова вернулась. А если не захочет вернуться, ну что ж, ничего не поделаешь. Благословлю ее, поплачу и приеду назад». Так я решила и на другой день собралась в путь. Дом и корову поручила Айше. Бекташ остановил на улице попутную машину,

села я в кузов и отправилась в Каинды.

Когда мы выехали за аил и двинулись по проселку, я заметила женщину, идущую по тропинке в жнивье. Сразу узнала — Алиман! Родная, ненаглядная моя, она возвращалась ко мне домой. Я заколотила кулаками по кабине: «Стой! Стой! Остановись!» Машина с разгона прошла еще немного, остановилась, я схватила курджун и скатилась с кузова. В налетевшей пыли все вокруг сразу скрылось, как в густом тумане. Я подумала даже, не во сне ли видела мою Алиман. Когда пыль ушла вслед за машиной, я снова увидела ее.

— Алима-ан! — крикнула я изо всей мочи.

Не помню, как добежала. Помню только, обнимались мы, целовались, плакали. И так истосковались, оказывается, друг по дружке, что и слов-то не находили, как сказать обо всем, что думано и передумано было за эти дни. Ласкала я, гладила лицо Алиман и все говорила одно и то же:

— Вернулась, да? Вернулась, доченька моя. Вернулась ко мне, к матери своей! Вернулась!

Алиман отвечала:

— Да, вернулась! Вернулась, мама, к тебе. Вернулась!

И когда мы стояли так, обнявшись, ребенок ее

вдруг шевельнулся внутри и раза два толкнул ножкой в живот. Мы обе услышали эти толчки. Алиман положила руки на живот и стала осторожно гладить его ладонями. И глаза ее в ту минуту будто перевернули всю мою жизнь. И как мне могли приходить в голову скверные мысли о ней! О святое материнство! Одна лишь такая капля счастья окупит море твоих страданий. Я прижалась к ее щеке и, не удержавшись, заплакала:

— Ненаглядная моя, сердечная, ласковая! Как я боялась за тебя!

Она успокаивала:

— Не плачь, мама. Прости меня, глупую. Не уйти мне никогда от тебя. Попробовала — ничего не получилось: не вытерпела я, все время тосковала о тебе.

Я решила, что подошел самый удобный случай для нашего откровенного разговора, и сказала ей:

— Ты почему ушла, обиделась?

Она молчала, точно обдумывая свой ответ, а потом со вздохом сказала:

— Не спрашивай меня об этом, мама. Зачем тебе это? Ты мне ничего не говори, и я ничего не буду тебе говорить. Не мучай меня, мама, и так

мне тошно.

Опять она уклонилась от разговора. И вот так всякий раз. Как она не понимала, что этим делала себе только хуже!

Осень в том году была затяжная и очень дождливая. Не было дня, чтобы не капало сверху. И в эти серые, долгие ненастные дни мы большей частью сидели дома. И так же, как сама осень, томилась Алиман. Все больше мрачнела, вовсе перестала разговаривать и смеяться. Все думала о чем-то. Сдавалось мне: последние дни донашивала она ребенка. Как ни старалась я расшевелить немного ее, приободрить шуткой, лаской, ничего из этого не получалось. Не дитя же она маленькое, чтобы ее печаль можно было развеять шуткой. Да не только я — и другие пытались как-то помочь ей в беде, но что можно было сделать? Бекташ однажды привез нам соломы. Говорит, мать снова слегла. И я пошла попроведать Айшу. Жар был у нее, кашляла. Я ее пожурила немного.

— Сама, — говорю, — ты виновата. Знаешь, что беречься тебе надо, так нет, куда там, разъезжать стала по гостям, да в такую погоду.

Она виновато улыбнулась. Возразить-то ей было трудно, потому что до этого ездили они, четыре женщины, на бричке Бекташа в соседний аил в

гости к кому-то, на свадьбу. Когда я собиралась было уже уходить, Айша задержала меня.

— Постой, — говорит, — Толгонай, если не осерчаешь, разговор есть у меня к тебе.

— Ну, говори. — Я вернулась от дверей.

— В нижний аил мы ездили не на свадьбу. Родственников там у меня нет, ты это и сама знаешь. Задумали мы одно дело, хотя и без разрешения на то от тебя, так ты прости нас, Толгонай, хотели как лучше. Нашли мы этого парня, чабана, ну и взяли его в оборот. Говорим: так и так, Алиман уже на сносях, последние дни, а ты и глазу не кажешь. Как же так получается? Нехорошо вроде! Однако ничего у нас не вышло из этого. Во-первых, жена у него есть, а во-вторых, совести у него нет. Отрекся: не знаю ничего и знать не хочу. Ни в какую. Да тут еще жена его пронюхала, в чем дело. Да такая скандальная баба оказалась, накричала, наорала на нас, срам один. Обесчестила и прогнала. А в пути дождь застиг холодный, промокли до ниточки, вот и слегла я. Но и это ладно, как же теперь с Алиман-то, а? — И Айша, зажимая рот, заплакала.

— Не плачь, Айша, — сказала я ей. — Пока я жива, в обиду ее не дам! — И вышла. А что я еще могла сказать?

Потянулись трудные дни, роды приближались, и тут уж я не спускала глаз с Алиман. Она во двор — и я за ней. Ни на шаг не отставала. Боялась, как бы не упустить схватки. А не то стала бы я разве надоедать ей? А однажды смотрю — оделась она тепло, платком укуталась.

— Ты куда, — говорю, — доченька?

— На реку пойду, — ответила она.

— Не ходила бы ты, что там делать, на реке, в такую сырость? Посиди лучше дома.

— Нет, пойду.

— Ну, тогда и я пойду. Одну тебя не отпущу, — сказала я.

А она так глянула на меня — и все, что наболело у нее на душе за эти дни, всю свою злобу сорвала на мне.

— Да что ты привязалась ко мне? Чего тебе надо от меня? Что ты ходишь по пятам, как тень? Оставь меня в покое. Думаешь, подохну я, что ли, не подохну! — Хлопнула дверью и ушла.

Будто по сердцу моему хлопнула она дверью. Очень обиделась я. И, однако, не усидела, опять же вышла на задворье глянуть, где Алиман. Не видно было ее, ушла она в поймище.

Дождь моросил мелкий-мелкий, почти невидимый, будто холодным паром обдавало. Ветер

таскал за космы седые тучи. В саду было неуютно. Деревья стояли голые, озябшие, с мокрыми, потемневшими ветвями. Народ весь сидел по домам. Безлюдно кругом. За дымной мглой вдали едва угадывались гребни темного хребта.

Подождала я немного и потом пошла следом: пусть как хочет ругает меня, но хуже будет, если ляжет где-нибудь в сырости, когда начнутся схватки. Выйдя на тропу за огородом, я увидела Алиман. Она возвращалась. Шла медленно, едва передвигая ноги и понуро опустив голову. Поспешив домой, я поставила чай, быстренько наделала оладий на сметане и яйцах. Потом расстелила на кошме чистую скатерть и принесла яблок-зимовок, выбрала самые красные. Алиман вошла и, увидев скатерть, молча грустно улыбнулась мне.

— Замерзла, доченька? Садись, чай попей, покушай оладий, — сказала я ей.

— Нет, ничего мне не хочется кушать, мама. Дай вот одно яблоко. Попробую, — ответила она.

— Может, у тебя где болит, Алиман, ты скажи мне, — стала допытываться я.

Но она опять сказала:

— Не спрашивай меня, мама. Я какая-то сама не своя. Ненавижу себя. И тебя обругала ни за что.

Лучше оставь меня в покое. — И махнула рукой.

Наступила ночь, и, укладываясь спать, я с обидой думала, что теперь Алиман не нравится все, что бы я ей ни сказала, и с этой обидой уснула. Обычно я часто просыпалась по ночам, поглядывала, как там Алиман, а тут сон придавил меня, словно камнем. Если бы я знала, разве сомкнула бы я глаза — да десять ночей подряд не прислонила бы голову к стене…

Не помню, когда и отчего я вдруг проснулась. Глянула — а Алиман нет на месте. Спросонья-то не сразу сообразишь. Подумала сначала, что вышла на двор. Подождала немного. Нет, не слышно. Потом потрогала постель Алиман. Постель холодная, и у меня сердце похолодело: давно уже она встала! Кое-как оделась и выскочила во двор. Обошла все углы, сбегала на огород, выскочила на улицу. Стала звать ее: «Алиман! Алиман!» — не отзывалась. Только собаки всполошились, залаяли по дворам. Муторно стало мне: значит, ушла! Куда же она ушла в такую темную ночь? Что делать теперь? Может, догоню? Бросилась снова в дом, фонарь засветила и с фонарем в руках пошла искать. Но, выходя из дверей, услышала, будто застонал кто и вскрикнул в сарае. Кинулась через двор, рванула двери сарая — и фонарь чуть не

выронила из рук, застыла, не веря своим глазам: Алиман лежала на соломе навзничь. Рожала. Металась в горячке.

— Да что же ты это? Почему не сказала? — закричала я и бросилась к ней.

Хотела помочь, стала приподнимать ее и содрогнулась, когда на руку мне навернулся пропитанный кровью подол платья. Алиман горела, как огонь. Она тяжело и с хрипом выдыхала:

— Умираю… Умираю…

Видно, давно уже она маялась.

— Упаси боже! Упаси боже! — взмолилась я, поняв, что ей самой не разродиться, что спасти ее может только доктор.

Я оставила ее и побежала к Айше, заколотила в окна изо всех сил:

— Вставайте, вставайте быстрей! Бекташ, запрягай бричку. Плохо с Алиман! Быстрей, милый, плохо с ней!

Разбудила их, прибежала назад, дала Алиман воды. Зубы ее стучали по кружке, било ее как в лихорадке, кое-как сделала она два глотка и снова скрутилась, заохала. Тут подоспела Айша, запыхалась, на ногах едва держится, больная ведь лежала. Как увидела, что с Алиман, — с лица сошла, запричитала:

— Алиман, милая, да что ж это такое? Алиман, деточка моя! Не бойся. В больницу повезем!

К счастью, Бекташ в тот день вернулся домой поздно и потому лошадей не отвел на конюшню, а поставил у себя под навесом. Он быстро пригнал бричку во двор. Мы набросали в нее сена, постель постелили, подушки подложили и втроем кое-как вынесли Алиман из сарая, положили в бричку. И тут же, не медля, поехали в больницу.

Ах, эта разбитая осенняя дорога, ах, эта темная проклятая ночь… Больница была тогда только в Заречье, а мост через реку в объезд далеко внизу.

Как только мы выехали из аила, у Алиман снова начались схватки, она закричала, стала сбрасывать с себя все. Я держала ее голову у себя на коленях. То и дело укрывала одеялом, то и дело подносила к лицу фонарь — все смотрела ей в глаза, успокаивала. И Бекташ успокаивал:

— Потерпи, Алиман. Скоро приедем. Вот увидишь, сейчас приедем. До моста уже рукой подать.

До моста еще было кто его знает сколько. Погнать бы лошадей вскачь, да никак нельзя — растрясет Алиман. А тут дождь припустил сильнее. Все будто сошлось одно к одному — тьма

непроглядная, холодный дождь, грязь да ухабы. Алиман билась в судорогах, стонала, кричала и вдруг как-то сразу затихла, захрипела.

— Алиман! Алиман! Что с тобой? — всполошилась я, обняла ее, посветила фонарем. На меня глядели ее горящие глаза.

— Остановитесь! Умираю я! Остановитесь! — проговорила она черными, запекшимися губами и стала задыхаться. Мы остановили бричку.

— Подними мне голову выше, — попросила она. — Воздуху не хватает. — И заплакала. И, торопясь, глотая слезы, стала говорить: — Мама, родненькая… Горит у меня все внутри, сил нет… Умираю я… Спасибо тебе за все, мама. Прости меня… Если бы Касым был жив. О-ой, Касым, умираю я… Прости меня…

Я взмолилась перед ней:

— Нет, доченька, не умрешь ты. Потерпи, потерпи, родная. Вот уже до моста недалеко. Слышишь, не умрешь ты!

Ее снова скрутило. Стиснув зубы и теряя сознание, она забилась из последних сил.

— Бекташ, — приказала я. — Бери ее под руки, поднимай! Быстрей! Да не стыдись ты, ради бога!

Бекташ поднимал Алиман, а я старалась помочь ребенку. Потом Бекташ заплакал навзрыд, и

тут снова вдруг вспомнился мне грохот эшелона, и пошли, пошли стучать в ушах колеса; ветер донес крик: «Мама-а! Алима-ан!» И сейчас же раздался крик новорожденного. О жизнь, почему ты так жестока, почему ты так слепа! Ребенок родился, а Алиман умирала. Я успела только завернуть в подол мокрое, голое тельце, глянула, а она, мать Алиман, уже безжизненно висела на руках Бекташа. Голова откинулась набок, руки болтались как плети.

— Алиман! — вскрикнула я не своим голосом и схватила ее руку; пульс пропадал.

В одно мгновение на глазах у меня столкнулись жизнь и смерть!

Когда мы повернули назад, рассвет уже занимался. В сумеречном свете кружились крупные белые снежинки. Они мягко опускались на дорогу. Вокруг была тишина — ни звука, во всем мире была белая тишина. И в этой белой тиши бесшумно тащились усталые лошади с белыми гривами и белыми хвостами, беззвучно рыдал Бекташ, сидя на бричке. Он не погонял лошадей, лошади сами шли. Он всю дорогу плакал. А я шла рядом по обочине дороги, укрыв ребенка под чапан у себя на груди, и белый снег на земле казался мне черным.

## 16

Вот так война в последний раз напомнила о себе. Дорога, по которой я шла в то утро, была самой трудной дорогой в моей жизни, и мне казалось, что лучше умереть, чем так жить… А младенец, пригревшийся у меня на руках, пошевеливался теплым, мяконьким комочком и не переставал плакать. Несла его и говорила: «Какой же ты несчастный родился, с первым криком своим распрощался с матерью». И вдруг откуда-то издалека донеслась мысль: «А ведь жизнь не совсем погибла, остался росточек». Но тут же подумала: «Да какой же он жилец, если не попробовал даже материнского молока. Нет, надолго не хватит его». Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я взмолилась судьбе: «Ну, оставь в живых хоть этого! Не дай ему умереть. Может, выживет! Может, выкарабкается как-нибудь?» Вот так и шла, отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась, и незаметно наступило утро, когда мы добрались до аила.

Снег все так же бесшумно и густо валил, все так же стояла вокруг белая тишина. И среди этой тишины заброшенные развалины недостроенной

улицы показались еще более страшными. От того, что здесь было начато семь лет назад, остались лишь жалкие следы. Снег кружил над безжизненной улицей, заметая сугробами зияющие пустотой руины и унылые заросли сухих колючек и кураев. На бывшем дворе Алиман и Касыма, точно в память их забот и мечтаний, все так же лежали груда камней и куча кирпичей.

Навсегда успокоенная, Алиман лежала бледная, с закрытыми глазами. Голова моталась из стороны в сторону, снег падал на ее лицо и не таял.

У первых дворов аила Бекташ спрыгнул с брички и первый раз в жизни громким мужским плачем оповестил людей о смерти человека. Из дворов стал выбегать народ, нас обступили со слезами. Прибежала Айша, заголосила на всю улицу, взяла у меня ребенка и понесла его к себе домой.

Через день мы похоронили Алиман. По обычаю женщине не положено идти на кладбище, но я пошла, и никто ничего не сказал мне: в доме у меня не было мужчин, чтобы я могла соблюсти обычай. Я сама схоронила Алиман, сама уложила ее на дно могилы и сама бросила первую горсть земли. В тот день тоже шел густой, пушистый снег. Красная куча глины быстро стала белой горкой.

Весной я посадила на могиле Алиман цветы. Каждую весну сажаю. Ведь она очень любила цветы.

Ну а дальше снова началась жизнь. В первые дни Жанболота кормила грудью сноха деда Джоробека, а потом я стала давать ему козье молоко. Хватили мы с ним горя вдосталь, стоит ли об этом говорить. Одним словом, было ему написано на роду остаться в живых, и он выжил. И за это благодарю судьбу. Теперь ему двенадцать лет. Доктор, что лечил его маленького, — нынче известный в округе человек, и сейчас при встрече спрашивает:

— Ну как, бабушка, внучек-то растет?

— Слава богу, — говорю, — джигит уже!

Он смотрит на меня и улыбается:

— Вот и хорошо, расти его человеком.

Знает он нас с Жанболотом давно. Жанболоту было тогда года полтора. Конечно, болезненным рос он. Однажды простыл сильно и занемог не на шутку. Смотрю, губы посинели, глаз не открывает и дышит едва-едва. Схватила я его — и быстрей в больницу. И опять же ночью да в зимнее время вброд перешла реку. Доктор оказался молоденьким парнем, недавно, наверно, учение кончил. Как увидал меня, что дрожу от холода в мокрой

одежде, перепугался, замахал руками.

— Да вы с ума сошли, кто вам разрешил ходить по воде? Где его родители?

— Я ему и отец и мать, сынок. Не дай ему помереть. Если помрет, жить не буду, — сказала я ему.

Всю ночь он возился с малышом, через каждые два часа уколы делал. Мне дал сухую одежду, лекарствами поил, однако утром свалилась я в жару, кровью захаркала. Лежала я в горячем тумане, в забытьи. Помню только, что доктор подходил к изголовью, клал мне руку на лоб и говорил:

— Не сдавайся, мамаша, держись. Внучек твой смеется уже, выздоровел.

— Коли так, и я вытяну, — прошептала я.

Может, поэтому и выжила я, что внук остался жив.

Летом в этом году интересный случай был. На каникулах бегал он по улицам, а потом смотрю — выволок во двор велосипед Касыма. Тот самый, двадцать лет висел он в сарае под крышей. Да, вытащил, стало быть, и давай ремонтировать. Ну, я ничего не сказала, мальчишка ведь, думала, повозится, повозится и бросит. Ремонтировать-то там было нечего: железо все в ржавчине и резина

полопалась. Прибегали друзья его и тоже смеялись. Это, говорят, рухлядь, допотопная машина. А он, упрямый, сопит и делает свое. Не знаю, получилось бы у него что-нибудь или нет, если бы не Бекташ. Он тоже ввязался в это дело. И тоже с самым серьезным видом, как мальчишка, хотя он и отец семейства. Бекташ любит Жанболота, если что — и в школу сходит к учителям. Женился он, когда Айша была еще жива. Умерла она года через три после Алиман. Крепко убивалась я по подруге своей. Сколько мы с ней повидали горя! А Бекташ хорошим вышел человеком. Разумный, работящий. Трое детей у него, жена — Гульсун — добрая соседка. А сам он давно уже комбайнером работает.

Так вот однажды Жанболот появился с велосипедом, начищенным, смазанным, и сам весь в масле.

— Бабушка, — сказал он, — смотри, какой стал отцовский велосипед!

У меня и руки отнялись: радостно и горько мне стало от этих слов. А он загордился.

— Я, — говорит, — и ездить уже умею. Вот смотри!

На седло сесть — ноги не достают педалей, так он прицепился сбоку к велосипеду, перегнулся

весь и поехал, завихлял из стороны в сторону: Вот-вот свалится.

— Слезь, упадешь! — прикрикнула я.

А он еще пуще. В ворота — и на улицу. Я за ним. Разогнался по дороге да как полетит с размаху вместе с велосипедом. Сильно ушибся. Я добежала, подняла его с земли, стала ругать:

— Убиться хочешь, что ли? Ишь, что выдумал! Не смей больше ездить!

А он говорит:

— Я больше не буду падать, бабушка. Это я попробовать хотел, я ведь еще не падал с велосипеда.

Я рассмеялась. Смотрю, Бекташ стоит у калитки. Вроде бы так просто, стоит и поглядывает. Он ничего не сказал, и я ничего не сказала. Но мы без слов поняли друг друга.

А тут вскоре жатва началась. Бекташ как-то зашел к нам вечером.

— Хочу, — говорит, — вашего Жанболота в помощники взять на комбайн.

— Если подходит, бери, — согласилась я.

Разрешить-то разрешила, а через два дня пошла проведать. Дитя ведь еще: может, трудновато будет.

Жанболот мой работал на комбайне соломщи-

ком. Он увидел меня и закричал, будто с вершины горы:

— Бабушка! Я здесь!

А Бекташ, стоя у штурвала, помахал мне рукой, поклонился.

До самого вечера сидела я в тени под деревом у арыка и смотрела на жатву. Машины пылили взад-вперед по дороге, отвозя обмолот на тока.

В сумерках пришли комбайнеры отдохнуть. Жанболот шагал устало и гордо, подражая Бекташу, и, так же молча и так же фыркая, стал умываться по пояс в арыке. А когда увидел узелок в моих руках, обрадовался:

— Бабушка, ты яблоки принесла?

— Принесла, — ответила я.

И тогда он подбежал, обнял меня и поцеловал.

Бекташ прыснул со смеху.

— Что ж ты важничал? Давно бы так. Ну, поласкайся, поласкайся, а то некогда будет.

Ужинать сели мы на траву подле полевого вагона. Хлеб был горячий, только что испеченный. Жанболот разломил лепешки и сказал:

— Бери, бабушка!

Я благословила хлеб и, откусив от ломтя, услышала знакомый запах комбайнерских рук. Хлеб припахивал керосином, железом, соломой и

спелым зерном. Да-да, в точности как тогда! Я проглотила хлеб со слезами и подумала: «Хлеб бессмертия, ты слышишь, сын мой Касым! И жизнь бессмертна, и труд бессмертен!»

Домой меня комбайнеры не отпустили. Говорят, вы у нас гостья, оставайтесь ночевать в поле. Мне постелили на соломе. Глядела я в ту ночь в небо, и чудилось мне, что Млечный Путь усеян свежей золотистой соломой, рассыпанными зернами и шелухой обмолота. И в той звездной выси, сквозь Дорогу Соломщика, как далекая песня, уходит эшелон, удаляется стук его колес. Засыпала я под этот затихающий стук и думала, что сегодня пришел на свет новый хлебороб. Пусть долго живет он, пусть будет у него столько зерна, сколько звезд на небе.

А на рассвете я поднялась и, чтобы не мешать комбайнерам, пошла в аил.

Давно я не видела такой великой зари над горами. Давно я не слышала такой песни жаворонка. Он взлетал все выше и выше в яснеющее небо, повис там серым комочком и, словно человеческое сердце, неустанно бился, трепыхался, неумолчно звенел на всю степь. «Смотри, запел наш жаворонок!» — говорил когда-то Суванкул. Чудно, даже жаворонок был у нас свой. И ты бессмертен,

жаворонок мой!

## 17

— О поле мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы. Не слышно здесь голосов людей, не пылят на дорогах машины, не видно комбайнов, не пришли еще стада на стерню. Ты отдало людям свои плоды и теперь лежишь, как женщина после родов. Ты будешь отдыхать до взмета зяби. Сейчас здесь нас двое — ты да я, и больше никого. Ты знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения, сегодня я поклоняюсь памяти Суванкула, Касыма, Маселбека, Джайнака и Алиман. Пока я жива, я их никогда не забуду. Придет время, расскажу обо всем Жанболоту. Если наделен с рождения разумом и сердцем, то он поймет все. А как же быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете? У меня есть разговор к ним. Как дойти до сердца каждого человека?

Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям.

Эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым ливнем и каждой каплей своей скажи!

Земля, мать-кормилица, ты держишь всех нас на своей груди, ты кормишь людей во всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи

ты людям!

— Нет, Толгонай, ты скажи. Ты — Человек. Ты выше всех, ты мудрее всех! Ты — Человек! Ты скажи!

## 18

— Ты уходишь, Толгонай?

— Да, ухожу. Если жива буду, приду еще. До свидания, поле.

# Ранние журавли

*Сыну Аскару*

*Аксай, Коксай, Сарысай – земли обошел,*
*Но нигде такую, как ты, не нашел…*

***Киргизская народная песня***

*И приходит к Иову вестник и говорит:*
*«А отроков сразили острием меча…»*

***Книга «Иова»***

*Вновь и вновь пахари пашут поле,*
*Вновь и вновь бросают зерно в землю,*
*Вновь и вновь дожди посылает небо…*

*……*

*С надеждой люди пашут поле,*

*С надеждой люди семена сеют,*
*С надеждой люди уходят в море...*

***«Тхерагатха» 527–536. Из памятников древнеиндийской литературы***

# 1

Озябшая, закутанная в грубовязаную шерстяную шаль, учительница Инкамал-апай рассказывала на уроке географии о Цейлоне, о том сказочном острове, что находится в океане близ берегов Индии. На школьной карте этот Цейлон выглядел каплей под выменем большой земли. А послушаешь — чего там только нет: и обезьяны, и слоны, и бананы (фрукты какие-то), и чай самый лучший в мире, и всякие другие диковинные плоды, и невиданные растения. Но самое завидное — жара там такая, что живи себе и круглый год в ус не дуй: ни тебе сапог, ни шапки, ни портянок, ни шубы не нужно совсем. А дрова и вовсе ни к чему. А раз так, не надо ходить в поле за кураем, не надо таскать на себе, согнувшись в три погибели, тяжеленные вязанки хвороста домой. Вот где жизнь! Ходи себе как ходится, грейся на солнце, а нет — прохлаждайся в тени. Днем и ночью на Цейлоне теплынь, благодать, лето за летом идет. Купайся себе сколько влезет, хоть с утра и до вечера. Надоест — ну тогда птицеверблюдов [2]

---

**[2] Примечания: 2**
Птицеверблюды (страусы) — тюякуш (*тюркск.*).

гоняй, птицеверблюды-то там водятся, непременно должны водиться, где же им еще быть, этим огромным и глупым птицам. Умные птицы на Цейлоне — пожалуйста, тоже есть: попугай. Захочешь — поймаешь попугая, научишь его петь и смеяться, а заодно и танцевать. А что — попугай такая птица, все может. Говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из аильных сам видел на джамбулском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугаю, он и шпарит без запинки…

Да, чего только нет на Цейлоне, каких только чудес. Живи себе и ни о чем не думай. Главное, не попадаться при этом на глаза баю-плантатору. Тот с кнутом ходит. Цейлонцев по спине стегает, как рабов. Угнетатель! Ха, да ему врезать в ухо так, чтобы в глазах засветилось. Кнут отобрать, а самого заставить работать. И никаких поблажек эксплуататорам и разным другим капиталистам, никаких разговоров: работай сам за себя, и все! Известно, от них ведь и фашисты происходят… Вот и война оттого… Сколько уже людей в аиле погибло на фронте. Мать каждый день плачет, не говорит ничего, а плачет, боится, что отца убьют. А соседке сказала: куда я, говорит, тогда с четырьмя…

Поеживаясь в стылом классе, терпеливо пережидая приступы кашля у ребят, Инкамал-апай продолжала рассказывать про Цейлон, про моря, про жаркие страны. Веря и не веря услышанному (уж очень распрекрасно получалось в тех краях), Султанмурат искренне жалел в тот час, что живет не на Цейлоне. «Вот где жизнь!» — думал он, поглядывая краем глаза в окно. Это он умел. Вроде смотрит на учителя, а сам любуется в окно. Но за окном ничего особенного не происходило. За окном непогодило. Снег сыпал жесткой, секущей крупою. Снежинки тупо шуршали, скреблись, ударяясь в стекла. На стеклах наросла наледь. Помутнели окна. Замазка по краям оконных переплетов взбухла от холода, местами обвалилась на подоконник, залитый чернилами. «На Цейлоне, наверно, и замазка не нужна, — думал он. — А зачем она? Да и окна к чему, да и домов самих не нужно. Соорудил себе шалашик, накрыл листьями — и живи...»

От окна все время поддувало, слышно было даже, как ветер посвистывает украдкой в щелях рамы, уж очень холодило правый бок от окна. Придется терпеть. Инкамал-апай сама пересадила его сюда, к окну. «Ты, — говорит, — Султанмурат, самый сильный в классе. Ты выдюжишь».

А раньше, до холодов, здесь сидела Мырзагуль, ее перевели на место Султанмурата. Там не так дует. Но лучше было бы, если б ее оставили тут же, на этой парте. Все равно холод он на себя принимает. Сидели бы рядышком. А то подойдешь на перемене, а она краснеет. Со всеми как со всеми, а подойдет он, она краснеет и убегает. Не гоняться же за ней. Совсем засмеют. Эти девчонки всегда горазды придумывать что-нибудь. Сразу пойдут записочки: «Султанмурат + Мырзагуль = эки ашык» [3]. А так сидели бы рядышком — и ничего не скажешь…

За окном несло. Сыплет снег, сыплет… В ясный день глянешь из класса, горы всегда перед глазами. Сама школа на пригорке, над аилом стоит высоко. Аил внизу, школа наверху. Потому отсюда, из школы, видимость хорошая. Дальние снежные горы как на картинке видны. Сейчас же едва угадывались во мгле их угрюмые очертания.

Ноги стынут, и руки стынут. Даже спина мерзнет. До чего холодно в классе! Раньше, до войны, школу топили слежавшимся овечьим кизяком. Как уголь, сильно горел тот кизяк. А теперь при-

---

**[3] Примечания: 3**

Эки ашык — двое влюбленных.

везут соломы. Ну погудит-погудит солома в печах, а толку нет. Через пару дней и соломы нет. Один сор только от соломы.

Жаль, что климат в Таласских горах не такой, как в жарких странах. Климат другой, и жизнь была бы другая. Свои слоны водились бы. На слонах ездили бы, как на быках. А что, не побоялись бы. Первым сел бы на слона, прямо на голову между ушами, как нарисовано в учебнике, и поехал бы по аилу. Тут народ со всех сторон! «Смотрите, бегите — Султанмурат, сын Бекбая, на слоне!» Пусть бы тогда Мырзагуль полюбовалась, пожалела бы… Подумаешь, красавица! Нельзя уж подойти. И обезьяну завел бы себе. И попугая, читающего газету, усадил бы их тоже на слона позади себя. Места-то хватит, на слоновой спине всем классом можно разместиться. Это уж точно, как пить дать! Не с чужих слов, сам знает.

Слона живого он видел своими глазами, об этом всем известно, и обезьяну живую видел, и разных других зверей. Об этом все знают в аиле, сколько раз сам рассказывал. Да, повезло ему тогда, посчастливилось…

До войны, как раз за год до войны, произошел этот знаменательный в его жизни случай. Тоже было лето. Сено косили как раз. Отец его, Бекбай,

в тот год возил горючее из Джамбула на нефтесклад здешней МТС. Каждый колхоз обязан был выделить транспорт для извоза. Отец подшучивал, цену себе набивал: я, говорит, не простой арабакеч, а золотой — за меня, за моих коней, за бричку колхоз плату получает от казны. Я, говорит, колхозу банковские деньги добываю. Потому бухгалтер, завидев меня, с лошади слезает поздороваться…

Бричка у отца была специально оборудована для перевозки керосина. Кузова нет, а просто четыре колеса с двумя большими железными бочками, уложенными в гнезда подушек, впереди, на самом облучке, сиденье для ездового. Вот и вся телега. На сиденье том вдвоем ехать можно, а троим уже нельзя, не поместишься. Но зато лошади были подобраны самые что ни на есть лучшие. Хорошая, крепкая пара была в упряжи у отца.

Чалый мерин Чабдар и гнедой мерин Чонтору. И сбруя подогнана к ним добротная, как по примерке. Хомуты, постромки из казенной яловой кожи, смазанные дегтем. Рви — не порвешь. А иначе нельзя в таком дальнем извозе. Отец любил прочность, порядок в деле. Держал всегда хороший ход лошадей. Бывало, как побегут Чабдар и Чонтору в лад, в равном усердии, гривами

вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины, рядом плывущие, любо смотреть! Люди издали узнавали по стуку колес: «Это Бекбай покатил в Джамбул». Туда и обратно — два дня занимало. Назад возвращался Бекбай — вроде и не проделал сотню с лишним километров. Удивлялись люди: «У Бекбая бричка, как поезд по рельсам, идет!» Удивлялись они не случайно. Уставшую или нерадивую упряжь можно по скрипу колес узнать. Пока проедет мимо, душу вымотает. А у Бекбая кони всегда были на свежем ходу. Потому, наверно, и поручали ему самые ответственные поездки.

Так вот, в позапрошлом году, только отучились, только каникулы начались, отец однажды говорит:

— Хочешь, в город возьму?

Султанмурат чуть не задохнулся от радости. А то бы! Как отгадал отец, что ему в город давно хотелось! Ведь он еще ни разу в городе не бывал. Вот здорово!

— Только ты того, не очень шуми, — лукаво пригрозил отец. — А то младшие такой бунт поднимут, что и не уедешь никуда.

Это верно. Аджимурат, тот моложе на три года, ни в чем и никогда не уступит. Упрямый, как

ишак. Когда отец дома, к нему не пробьешься, бывало, из-за Аджимурата. Все он крутится возле отца. Точно бы он один, а другие вовсе не в счет. Две младшие сестренки, они ведь совсем маленькие тогда были, и те, бывало, с плачем завоевывали отцовские ласки. Соседи и те не понимали, что за привязанность такая младшего сына к отцу. Бабка Аруукан — строгая, сухая, как палка, со скрипучим голосом, ее все боятся. Так вот она не раз и не два предупреждала, ухватив корявыми пальцами Аджимурата за ухо:

— Ой, не к добру ты липнешь к отцу, сорванец! Быть на земле большой беде! Где это видано, чтобы мальчишка так тосковал по живому отцу! Что это за дитя такое? Ой, люди, попомните мои слова, на всех нас накличет он беду!

Мать отшепчется, отплюется, подзатыльника отвесит Аджимурату, но бабке Аруукан прекословить не смела. Ее все боялись.

А она, бабка Аруукан, не зря говорила, выходит. Так оно и случилось. Жалко Аджимурата. Он уже большой, в третьем классе, старается виду не показать, держится, особенно при матери, а на самом деле так и ждет, что отец вернется с фронта не сегодня завтра. Ложась спать, он шепчет, как взрослый, ночную молитву: «Дай бог, дай

бог, чтобы отец завтра приехал». И так каждый день. Чудной. Думает, уснет, проснется — и все изменится, произойдет какое чудо?

Но если бы отец вернулся живой с войны, тогда пускай будет он весь аджимуратовским и пусть носит Аджимурата на руках, на голове. Только бы приехал наконец. Лишь бы увидеть его живым и здоровым. С него, с Султанмурата, и этого счастья хватило бы. Только бы вернулся отец.

Как бы он теперь хотел, чтобы повторилось то событие в семье, когда отец возвратился с Чуйского канала. Туда, на стройку, он уезжал позапрошлогодним летом, тоже ездовым, на целых пять месяцев, все лето и осень там пробыл на вывозе грунта. Стахановцем стал.

А приехал домой под вечер. Колеса вдруг застучали на дворе, кони фыркнули. Дети вскочили. Отец! Худющий, загорелый, точно цыган, обросший. И одежда на нем, говорила потом мать, как на бродяге. Сапоги только новые, хромовые. Аджимурат первым добежал, кинулся на шею отца и прилип, как вцепился, так и не отпускал. А сам плачет взахлеб и только одно твердит:

— Ата, атаке, ата, атаке… [4]

---

**[4] Примечания: 4**
Ата, атаке — папа, папочка.

Отец прижимает его к себе, и тоже слезы на глазах. Тут соседи сбежались. Смотрят и тоже плачут. А мать, смущенная и счастливая, бегает вокруг, хочет отнять Аджимурата от отца:

— Да отпусти же ты отца! Хватит. Не ты один. Дай другим. Ну какой же ты неразумный. Боже, посмотри, вон пришли поздороваться…

А тот ни в какую…

Султанмурат почувствовал, как что-то стронулось в нем внутри и поползло горячим набухшим комом к горлу. Во рту стало солоно. А еще говорил, что никогда и ни за что не заплачет. Он тут же взял себя в руки. Встряхнулся.

А урок шел. Инкамал-апай рассказывала теперь уже про Яву, про Борнео, про Австралию. Опять же — чудесные земли, вечное лето. Крокодилы, обезьяны, пальмы и разные неслыханные вещи. А кенгуру — это чудо из чудес! Детеныша в сумку на брюхе кинет и скачет с ним, носит его при себе. Придумала же кенгуру, или, вернее, придумалось же такое в природе…

Вот кенгуру он не видел. Чего не видел, того не видел. А жаль. Но зато слона, обезьяну и всяких зверей других посмотрел вблизи. Руку протянуть — достанешь…

В тот день, когда отец сказал, что возьмет его

с собой в город, Султанмурат не знал, куда себя деть. Его распирало от нетерпения, от восторга, но вот беда — сказать об этом никому не смел. Если бы Аджимурат узнал, был бы большой рев: почему ему, Султанмурату, можно, а мне нельзя, почему отец берет его с собой, а почему меня не берет? И что ты тут скажешь? И потому к неуемной радости и ожиданию завтрашнего путешествия примешивалось чувство какой-то вины перед братом. И все-таки очень подмывало рассказать братишке и сестренкам о предстоящем событии. Очень хотелось открыться. Но отец и особенно мать наказали строго-настрого не делать этого. Пусть младшие узнают, когда уже он будет в пути. Так лучше. С большим-большим трудом сумел он преодолеть себя, сохранить этот секрет. Чуть не умер, извелся от тайны. Зато в тот день он был так прилежен, так предупредителен, так заботлив и добр со всеми, как никогда. Все делал, везде поспевал. И теленка переарканил пастись на новое место, и картошку окучивал в огороде, и матери помог стирать, и самую младшую, Алматай, умыл, когда та упала в грязь, и еще, и еще переделал много разных дел. Короче говоря, в тот день он был таким старательным, что даже мать не утерпела, прыснула со смеху,

качая головой.

— Что это на тебя нашло? — пряча улыбку, говорила она. — Всегда бы такой — вот счастье-то! Как бы не сглазить! А может, не отпускать тебя в город? Уж больно помощник ты у меня хороший.

Но это она так, к слову. А сама тесто поставила, лепешек напекла на дорогу и разной другой снеди. Масла натопила, тоже в дорогу, в бутылку налила.

Вечером пили чай всей семьей из самовара. Со сметаной, с горячими лепешками. На дворе расположились, у арыка, под яблоней. Отец сидел в окружении младших — с одного боку Аджимурат, с другого девочки. Мать чай наливала, а Султанмурат подавал пиалы, углей досыпал в самовар. С удовольствием все это делал. А сам все думал, что завтра он уже будет в городе. Отец раза два подмигнул ему. Мало того — разыграл на глазах брата.

— А что, Аджике, — прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну, — черногривого своего не объездил еще?

— Нет, ата, — начал жаловаться Аджимурат. — Он такой вредный оказался. Ходит за мной, как собачонок. Я его кормлю, пою, один раз он даже в школу прибегал. Стоял под окном, ждал, когда я

выйду на переменку, весь класс видел. А садиться на себя не позволяет, сбрасывает тут же и еще лягается…

— И некому тебе помочь объездить его как следует? — посетовал отец вроде бы между делом.

— Я это сделаю, Аджике, — с готовностью отозвался Султанмурат. — Обязательно сам объезжу…

— Ура-а! — сорвался с места младший. — Пошли!

— Ну-ка сядь на место! — осадила его мать. — Сядь, не суетись. Попьете чай как люди, потом успеете.

Речь шла об ишачонке-двухлетке, любимце Аджимурата. Весной того года его подарил детям дядя по матери — Нургазы. К лету ослик здорово вырос, окреп. Пора было объезжать длинноухого, чтобы приучить к седлу, к работе. Ведь в хозяйстве домашнем всегда нужен подсобный ослик — то на мельницу, то за дровами, то подвезти что-нибудь по мелочи. Поэтому и подарил его дядя Нургазы. Но с первых дней им завладел Аджимурат. Упрямый, шумливый мальчишка окружил ослика такими заботами и опекой, что и не подступить к нему. Чуть что — не трогайте ослика! Я сам его накормлю, я сам его напою.

Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепало от него младшему. И с тех пор обиду затаил Султанмурат. Когда же настало время объезжать ослика, отмахнулся: раз он твой, сам и объезжай, а меня не проси, мне дела нет. Хотя именно в этом деле Султанмурат был мастак. С детства привык, наловчился. Любил он укрощать неуков. Это как борьба, кто кого. Всех соседских жеребят, бычков, ишачков объезжал всегда он. Молодняк обычно обучает кто-нибудь из ловких мальчишек. Взрослому человеку вес не позволяет. С этой просьбой люди обращались к Султанмурату почтительно: «Султанмурат, милый, будет время, поезди на нашем бычке». Или: «Султаке, дорогой, наставь на ум-разум нашего молодого крикуна ишака. Мухе не дает сесть на спину, кусается, бьется. Кроме тебя, некому сладить…»

Вот какой славой пользовался он, а брату родному отказывал, еще и посмеивался, издевался, когда тот навернулся раза два с любимого ишака и набил себе синяков на лбу. Дразнил Аджимурата:

— Он за тобой вместо собаки будет следом бегать! Ты еще наплачешься с ним!

Эх, как негоже было, оказывается. Только то-

гда это понял, когда отец намекнул. Вот каким дураком выглядел он, с младшим счеты сводил самым недостойным образом. И теперь, когда предстояла поездка в город, о которой младший не знал, такие угрызения совести и раскаяние захлестнули, что готов был прощения просить, готов был сделать для него все что угодно.

После чая пошли вместе с отцом на лужайку за огородами. Вначале собрали все камни вокруг, забросили их подальше. Потом взнуздали Черногривого — так торжественно называл своего ослика Аджимурат. Отец держал Черногривого за уши, а Султанмурат изловчился накинуть уздечку.

Потом подтянул штаны потуже — дело-то предстояло нелегкое. И тут началось цирковое представление. За время вольготного житья под опекой Аджимурата Черногривый успел, оказывается, дурную привычку обрести. Сразу начал брыкаться, вскидывать задом, шарахаться в сторону. Знал уже, ушлый, как сбрасывать седока. Но не тут-то было. Султанмурат падал, однако не мешкал, сразу же поднимался, вспрыгивал на ходу, ложась животом на хребтину Черногривого, вторым приемом оказывался верхом на осле. Тот опять бунтовать, опять падение, опять

попытка…

У Султанмурата все это получалось ловко и даже весело. Все дело в том, что надо знать, как падать! Почему люди говорят, что с ишака сильнее ушибешься, чем с лошади или с верблюда? Казалось бы, должно быть наоборот. Секрет заключается в том, что, падая, надо успеть приземлиться на руки. Высота с лошади и тем более с верблюда дает возможность человеку сориентироваться. С ишака неопытный седок падает мешком, не успевает даже сообразить…

Султанмурат это знал по собственному опыту. За него нечего было бояться. Расшумелись, развеселились, раскричались. Отец схватился за живот, хохотал до слез. На шум сбежались мальчишки. У одного из них оказалась собачонка, она решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе, и стала с лаем гоняться по пятам за Черногривым. Тот с испугу еще больше припустил, а Султанмурат, на зависть всем, стал показывать «джигитовки», как осоавиахимовцы. На бегу спрыгивал с Черногривого и снова запрыгивал, спрыгивал и снова запрыгивал.

Вот так до войны кавалеристы-осоавиахимовцы тренировались на лугу возле сельсовета. Свои же, аильные джигиты занимались после работы.

Лозу рубили вскачь. На бегу спрыгивали с седла и снова запрыгивали. Их значками награждали. Красивые были значки, на цепочках, на винтах прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как осоавиахимовцы джигитовали. Где-то они теперь? На конях или в окопах? Конница, говорят, уже не применяется на войне…

И, глянув во двор за окном, Султанмурат подумал, что лошади к тому же мерзнут зимой, а танку и холод нипочем. А все равно лошадь лучше!

…То-то была потеха тогда. Вскоре Черногривый стал смиряться. Понял, что требовалось от него: шагом ходил, рысью ходил, по кругу ходил и напрямую…

— А теперь садись, — позвал Султанмурат брата, — езжай, все в порядке!

Разрумянился от гордости Аджимурат, пристукнул Черногривого пятками, то туда, то сюда проезжался — все теперь видели, какой у него умелый агай [5], как тут было не похвастаться!

Вечер стоял светлый, долго не темнело. Вернулись домой усталые, но довольные. Аджимурат верхом на Черногривом въехал во двор показать-

---

**[5] Примечания: 5**
Агай — старший брат.

ся матери.

Он сразу уснул после этого, ничего не подозревая. А Султанмурату не спалось. Думал о том, как завтра очутится в городе, что там увидит, что ожидает его. Засыпая, слышал, как негромко переговаривались отец с матерью.

— Я бы и того взял, вдвоем бы им веселее было, — говорил отец, — да только места нет на этой чертовой бричке. Сидишь там на самом передке, впритык под бочкой. А дорога дальняя, задремлет малый да упадет под колеса.

— Что ты! — перепугалась мать. — Не приведи бог, и не думай, не надо, — зашептала она. — В другой раз как-нибудь успеется. Пусть подрастет. Ты и за этим гляди в оба. Думаешь, большой, куда там…

Сладко засыпалось Султанмурату, сладко было слышать, как тихо разговаривают между собой родители, сладко было думать, что утром, рано-рано утром им отправляться с отцом в путь-дорогу…

И, уже засыпая, испытал он, замирая сердцем, несказанное удовольствие полета. Странно, откуда он знал, как надо летать. Ходить, бегать, плавать дано человеку. А он летал. Не совсем как птица. Птица машет крылами. А он лишь

распростер руки и шевелил кончиками пальцев. И летел плавно, свободно, неизвестно откуда и неизвестно куда, в беззвучном, «улыбающемся» пространстве… То был полет духа, то он рос во сне.

Проснулся вдруг, когда отец тронул за плечо и тихо сказал на ухо:

— Вставай, Султанмурат, поехали.

И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунды ощутил, как накатилась волна нежности и признательности к отцу за его жесткие усы, прикоснувшиеся к уху, и слова, обращенные к нему. Он еще не знал, что настанет время, когда будет с тоской и болью вспоминать именно это прикосновение отцовских усов, именно эти сказанные им слова: «Вставай, Султанмурат, поехали».

Мать давно уже была на ногах. Она дала сыну выстиранную рубаху, на голову великоватую зеленую фуражку, как у начальников, в прошлом году отец привез ее с Чуйского канала, и ботинки, береженые, тоже привезенные отцом с канала.

— Попробуй надень, не жмет? — спросила она про ботинки.

— Нет, не жмет, — сказал Султанмурат. Хотя, конечно, они чуть-чуть жали. Но это не беда,

растопчутся.

Когда они выехали со двора, попрощавшись с матерью, и когда бричка-керосиновозка, громыхая, пошла по воде через большой каменистый арык, сердце его заколотилось, он вздрогнул, поежился от радости, от холодных брызг, ударивших из-под ног лошадей, и понял, что не во сне, а наяву отправляется в город.

Летний ранний рассвет нарождался, как бы наливаясь прозрачным соком. Солнце еще было где-то очень далеко, за снежными горами. Но оно приближалось исподволь, наклевывалось, готовясь вдруг высунуться, засиять из-за горы. А пока было покойно и свежо на похолодевшей за ночь дороге. Жаль, что никто из ребят не видел, как они выезжали с отцом из аила. Только собаки на окраине брякнули спросонья на колесный перестук…

Дорога же шла по пригоркам к степи, к темнеющей вдали лиловой цепочке невысоких гор. Там, за теми далекими горами, находился Джамбул. Туда лежал их путь.

Сытые лошади деловито трусили ровной рысцой, казалось, не замечая ни сбруи, ни упряжи, бежали себе, привычно пофыркивая и встряхивая челки над глазами. Дорога была им хорошо

знакома, в который-то раз проделывали они этот путь; хозяин на месте, вожжи в его руках, а то, что рядом с ним сидел на передке мальчишка, то он тоже был своим и ничем, собственно, не мешал тянуть лямку…

Вот так они ехали, набрав хороший накат, погромыхивая и скрипя, как все телеги на свете. А солнце тем временем всходило где-то сбоку, в щелке между горами. Свет и тепло покойно и мягко растекались воздушной волной на припотевшие спины лошадей — Чабдар теперь становился чалым, как перепелиное яйцо, а Чонтору все больше светлел, светло-гнедым становился; свет и тепло коснулись бронзовых скул отца, углубляя жесткие морщинки в прищуре глаз, а руки его, держащие вожжи, стали еще крупнее и жилистей; свет и тепло струились на дорогу, под копыта коней живым бегущим потоком; свет и тепло проникали в тело, в глаза; свет и тепло одаряли жизнью все на земле…

Хорошо, отрадно, вольготно было на душе Султанмурата в то дорожное утро.

— Ну как, проснулся? — пошутил отец.

— Давно уже, — ответил сын.

— Ну тогда держи, — передал ему вожжи.

Султанмурат благодарно улыбнулся, этого он

ждал с нетерпением. Можно было и самому попросить, но лучше, когда отец найдет нужным доверить — тут тебе не где-нибудь, а езда по большой дороге. Лошади почувствовали, что управление перешло в другие руки, недовольно уши прижали, коснулись друг друга на бегу, точно бы бунтовать-подраться решили при ослабшей власти. Но Султанмурат сразу дал о себе знать — энергично дернул вожжами, прикрикнул:

— Эй вы! Я вам!

Если счастье существует для человека только в настоящем времени и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем, то в тот день, в ту поездку Султанмурат испытал его полностью. Не было даже минуты такой, когда бы настроение его чем-либо омрачилось. Сидя рядом с отцом, он был полон достоинства. И оно не покидало его всю дорогу. Громыхающая керосиновозка другого, быть может, свела бы с ума, а для него то был ликующий перезвон счастья. Пыль из-под брички, зависающая позади, дорога, по которой катились колеса, лошади, дружно печатающие копытами, ладная сбруя, отдающая потным духом и дегтем, легкие белые облака, кочующие высоко над головой; еще не засохшие, зрелые травы вокруг, то желтые, то синие, то лиловатые; арыки и ручьи,

разлившиеся на переездах, встречные всадники и телеги, придорожные ласточки, юрко снующие взад и вперед, иной раз чуть ли не задевая морды лошадей, — все это было преисполнено счастьем и красотой. Но об этом он не думал, ибо когда счастье есть, о нем не думают. Он чувствовал, что мир устроен так, как лучше не может быть. И что отец у него такой, лучше которого не может быть.

Вот даже желтобокие черноголовые полевые птички всю дорогу поют в колючках или в кустарнике одну и ту же заученную трель неспроста. Они знают, для кого они высвистывают. Они-то знают, как их любит Султанмурат. Птички эти — сарайгыры [6], а прозываются они так потому, что всю жизнь понукают свистом своим некоего солового жеребца: «Чу, чу, сарайгыр! Чу, чу, сарайгыр!» Чудные птахи сарайгыры. Но оказывается, на разных языках они поют по-разному. Однажды приехал в аил киномеханик, веселый русский парень. Султанмурат крутился возле, помогал перетаскивать коробки с лентами, а вечером ему за это выпало первому крутить динамо-машину. В динамо-машине вырабатывается электрический

**[6] Примечания: 6**
Сарайгыр — сары — соловая масть, айгыр — жеребец.

ток, а от тока светятся лампочки, а от лампочек свет на побеленной стене — экран, а на экране живые изображения.

Так вот киномеханик этот прислушался и спросил:

— Что это за птичка за забором поет?

— Это сарайгыр, — объяснил ему Султанмурат.

— А что она поет?

— Чу, чу, сарайгыр!

— А что это значит?

— Не знаю. По-русски должно быть: «Но-о, но-о, желтый жеребец!»

— Во-первых, жеребцы желтыми не бывают, но допустим. Но почему все время: «Чу, чу, сарайгыр!»?

— Потому что птичке этой кажется, что она едет на свадьбу, верхом на сарайгыре, едет, едет, но не доедет, и потому кричит: «Чу, чу, сарайгыр!»

— А я слышал другое. Будто сарайгыр играл в карты на базаре. И чуть было не выиграл три рубля, но не выиграл. И потому поет: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!» И будет свистеть так до тех пор, пока не выиграет эти три рубля.

— Но когда же он их выиграет?

— А никогда. Так же, как никогда на свадьбу не доедет.

— Вот потеха…

Действительно, с виду не очень уж приметная пичужка, а оказалась такая знаменитая.

Сарайгыры пели всю дорогу. Султанмурат улыбался им:

— Поехали с нами, и там, на базаре, выиграем три рубля!

А они все высвистывали: «Чу, чу, сарайгыр!» — а в другой раз: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!»

Спешил Султанмурат, быстрей, быстрей в город. Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил Султанмурат лошадей:

— Чу, чу, сарайгыр! — Это он относил к Чабдару. — Чу, чу, торайгыр! — Это он относил к Чонтору.

А отец приунял его немного:

— Ты не очень гони. Кони сами знают. И бегут, и тело берегут.

— А который из них лучше, ата, Чабдар или Чонтору?

— Оба хороши. И на шаг, и на силу. Работают как машины. Только корми вовремя, да вдосталь, да за упряжью следи — никогда не подведут. Надежные лошадки. В прошлом году вон на Чуйском канале работали в болотистом месте, на сазах. Брички с грузом увязали по самые ступи-

цы. Засядет, бывало, кто-нибудь — и ни туда и ни сюда. Хоть караул кричи. Ну прибегут — выручай. Просят. Как откажешь? Приведу своих Чабдара и Чонтору, перепряжем — и вот ведь смотри: говорим — скотина, а умные, понимают, что неспроста впрягли их в чужую упряжь, что выручать надо. Кнутом я их особо не трогал, только голос подам — и они, дай бог, чтобы постромки выдержали, на коленях выползут, вырвут бричку из ухабин. Там их, на Чуйском канале, все знали, завидовали: повезло, говорят, тебе, Бекбай. Может, и повезло, да только уход нужен за лошадьми, тогда и повезет.

Чабдар и Чонтору деловито трусили все той же ровной заводной рысцой, будто им совсем дела не было, что о них говорили. Бежали себе с припотевшими подбрюхами и мокрыми ушами, все так же вскидывая челки на бегу и отмахиваясь от дорожных мух.

— Ата, а который старше? — спросил отца Султанмурат. — Чабдар или Чонтору?

— Чонтору старше года на три. Замечаю я, Чонтору начинает понемногу стареть, сдает иногда. А Чабдар в самой силе. Крепкий, быстрый конь. На нем и на скачках обставишь многих. Раньше о таких лошадях говорили: конь джигита.

Султанмурат обрадовался за Чабдара, потому что Чабдар ему больше нравился. Масть необыкновенная — чалая, в крапинку. Да и сам мерин норова не вредного, красив, силен.

— А мне Чабдар больше нравится, — сказал он отцу. — Чонтору злой. Так и косит глазом.

— Не злой, а умный, — усмехнулся отец. — Не любит, когда ему докучают без дела. — И, помолчав, добавил: — Оба хороши.

Сын тоже согласился.

— Оба хороши, — повторил он, погоняя коней.

Через некоторое время отец сказал:

— Ну-ка, придержи малость, останови бричку. — И посвистел спокойно, выжидательно. — Лошади помочиться хотят, а сказать не могут. Замечать надо.

И в самом деле, оба мерина начали мочиться на дорогу шумными, пенистыми струями, а плотная, мелкая, как пудра, пыль под ногами взбухла пузырями, набирая влагу.

Потом они снова двинулись в путь. Дорога все уходила и уходила вперед, а горы позади оставались все дальше и дальше.

Вскоре завиднелись сады городской окраины. На дороге стало оживленней. Здесь отец снова взял вожжи в свои руки. И правильно сделал.

Теперь Султанмурату было не до вожжей и не до коней. Начинался город. Он оглушил шумом, красками и запахами. Будто взяли да кинули в бурный поток, и тот понес, кружа и подбрасывая в волнах.

Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему как никому на свете: на Атчабаре, на большом джамбулском скотном базаре, оказался приезжий зверинец. Надо же быть такому совпадению: человек первый раз приезжает в город — тут зверинец с невиданными зверями, да еще карусель, да еще аттракцион кривых зеркал.

## 2

В комнату смеха он ходил три раза. Нахохочется, успокоится и снова туда, к зеркалам, чудовищным и кривым. Ну и рожи, ну и дела! Век думай, не придумаешь такого — хоть стой, хоть падай!

Оставив бричку для присмотра у знакомого чайханщика, отец водил его по базару. Вначале здоровались с друзьями отца — со здешними узбеками. «Ассалам алейкум! Вот мой старший сын!» — представлял Бекбай сына. Узбеки привечали Султанмурата, привстав с места и прикладывая руку к груди. «Вежливый народ! — довольно отзывался отец. — Узбек не посмотрит, что ты младше годами, — всегда уважит…»

Потом ходили по торговым рядам, по магазинам и, главное, по зверинцу. Проталкиваясь в толпе, заглядывали во все клетки и загоны. Слон, медведи, обезьяны, мартышки — кого там только не было…

Особенно запомнился Султанмурату огромный, серо-пепельный, как бугор после выжженной травы, слон, все переступающий с ноги на ногу и раскачивающий хоботом. Вот это да! Стояли

люди, глазели на слона и всякие байки рассказывали. Что он мышей боится. Что дразнить его нельзя, не дай бог, сорвется с цепей, порушит весь город на мелкие черепки. Но больше всего понравился Султанмурату рассказ одного старика узбека, тот сказал, что слон — самое умное животное на свете. Хоботом поднимает он здоровенные бревна на лесных работах, но и хоботом младенца подберет с земли, если змея или еще какая-нибудь опасность угрожает ребенку, а взрослых поблизости нет.

Такие рассказы и отцу нравились. Стоял он, удивленно покачивая головой, цокая языком, и каждый раз обращался к сыну: «Ты слышал? Вот ведь какие чудеса бывают на свете!»

Ну и, конечно, запомнилась комната смеха. Там над самим собой смеешься сколько тебе влезет…

Султанмурат покосился на Мырзагуль, сидящую через несколько парт. «Тебя бы туда, в комнату смеха! — подумал он озорно. — Сразу бы по-другому заговорила, красавица! Как увидела бы себя в тех зеркалах, перестала бы важничать». Но он тут же устыдился своих мыслей. Чего он к ней пристал, что плохого она ему сделала? Девочка как девочка, ну красивая, красивее всех в классе. Так что, виновата, что ли? Бывает, и «жа-

ман» [7] схватывает.

Однажды учительница отобрала у нее на уроке зеркальце. Рано, говорит, любоваться начала. Мырзагуль сделалась красной-красной от стыда, чуть не заплакала. А ему почему-то обидно стало за нее. Подумаешь, зеркальце какое-то, а если оно случайно оказалось в ее руках…

Глянув еще раз в ту сторону, Султанмурат пожалел ее. Посинела Мырзагуль, съежилась от холода, глаза влажно поблескивают, как мокрые камни, может быть, она плачет. Ведь у нее отец и брат на фронте… А он о ней так плохо думает. Вот дурак, действительно дурак.

Многие в классе кашляют от простуды. Может быть, и самому покашлять? И он стал нарочно кашлять, вздрагивать и кривляться. А что, все кашляют, а он чем хуже? Инкамал-апай покосилась на него многозначительно и продолжала свои объяснения.

---

**[7] Примечания: 7**
Жаман — оценка «плохо».

## 3

После зверинца и комнаты смеха пошли они на толкучку. И здесь купили подарки. Аджимурату — пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, загляденье, прямо как всамделишный наган. А девочкам — какие-то мягкие цветные мячики на резинке. Подергаешь резинку — и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили и потом разных сладостей…

Весь базар обошли, все повидали, на карусели только не стал он кататься, да и отец не предложил. Это, говорит, для малышей, а ты уже джигит, года через два женить тебя будем. Пошутил. Ну, постояли возле карусели, поглядели. А потом отец заторопил. Надо, говорит, успеть на станцию, на нефтебазу, залить бочки — да в обратный путь. Время уже позднее. И правда, солнце уже клонилось за город, когда они приехали на нефтебазу. Отсюда поехали окраиной, подкрепились в попутной чайхане пловом и двинулись назад.

В сумерках покинули пригородные сады и снова очутились на той дороге, по которой приехали днем в город. Вечер стоял теплый, настоянный

на запахах летних трав. Лягушки затурчали в придорожных арыках. Лошади шли мерным шагом, с полными бочками не очень-то побежишь. Мало-помалу Султанмурата стало клонить ко сну. Устал. Как не устать — день-то был всем дням день. Жаль, что негде было на бричке растянуться и уснуть. Уж очень хотелось спать. Привалился Султанмурат к плечу отца и заснул как ни в чем не бывало. Время от времени просыпался на ухабинах и снова засыпал неодолимым сном. И, перед тем как уснуть, всякий раз успевал подумать, как здорово, что на свете есть отцы. Покойно и надежно было ему на крепком отцовском плече. А бричка погромыхивала и поскрипывала, кони стучали копытами.

Не помнил Султанмурат, сколько проехали, только вдруг бричка остановилась. Колеса перестали стучать. Все умолкло. Отец поднял его на руки и куда-то понес.

— Вот какой вымахал, не утащишь. Тяжеленный какой стал, — бормотал он, прижимая его к груди.

Потом уложил его на кучу сена, прикрыл фуфайкой и сказал:

— Ты спи, а я выпрягу лошадей попастись.

Султанмурат даже глаз не открыл, так хорошо

спалось. Только подумал опять: как здорово, что на свете есть отцы…

Потом он еще раз проснулся, когда отец расшнуровал его ботинки и стащил с ног. Как же они жали, оказывается, целый день, эти ботинки. И как отец догадался, что они жали ноги?

И он снова заснул, ощущая телом полную свободу, точно бы поплыл, отдавшись на волю беспрепятственному течению. Чудилось ему, волны ветра шли перекатами по верхам раздольного разнотравья. Он бежал по той траве, нырял, окунаясь в ее перекаты, и в ту высокую плывущую траву беззвучно падали сверху звезды. То в одном, то в другом месте круто падала бесшумно горящая звезда. Но пока он добегал, звезда угасала. Он знал, что ему снился сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стреноженные лошади скусывали под корень молодую траву и как переступали они вокруг копны, позвякивая отпущенными удилами. Он знал, что отец спит рядом, что ночуют они в поле, что стоит ему открыть глаза — и он действительно увидит звезды, падающие с неба…

Но ему не хотелось открывать глаз, уж очень хорошо спалось. После полуночи стало подхолаживать. Все ближе подвигаясь к отцу, он

приткнулся под боком, и тогда отец обнял его спросонья, поплотней прижал к себе. В дороге, в чистом поле, под открытым небом спали они. Это тебе не дома, не на мягкой подушке…

Часто потом вспоминался ему звездный сон…

Перепелка по соседству звонко булькала до самого рассвета, в двух шагах… Наверно, все перепелки на свете счастливые.

## 4

— Султанмурат, что с тобой? — Инкамал-апай подошла к его парте, и только тогда он заметил ее.

— Да нет, ничего. — Как бы оправдываясь, Султанмурат встал с места.

В классе все так же было холодно и тихо. Послышались смешки ребят, привычный кашель.

— То ты кашляешь ни с того ни с сего, то не слышишь вопроса, — недовольно проговорила Инкамал-апай, зябко передергивая плечами. — Иди лучше принеси соломы и затопи печь.

Султанмурат с готовностью кинулся исполнять. Еще бы, такое не всегда бывает среди урока. На переменах дежурные приносят в класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость.

Он выскочил на крыльцо. Ветром и снегом ударило. Эх, это тебе не Цейлон! Пробегая через двор к сараю, где лежала солома, увидел, как спешился с коня председатель колхоза Тыналиев, раненый фронтовик. Сам молодой еще, а ходил кособоко. Сколько-то ребер у него не хватает. Оказывается, он с парашютом прыгал, десантником назывался.

А до войны агрономом был, говорят. Султанмурат, однако, этого не помнил. Все довоенное — как иной мир, уже и не верится, что была она, довоенная жизнь…

Захватив большую охапку соломы, Султанмурат вернулся в класс, отворяя двери ногами. Ребята зашушукались, оживились.

— Тише, не отвлекайтесь! — потребовала Инкамал-апай. — А ты, Султанмурат, занимайся своим делом, и без лишнего шума.

В печке, в самой сердцевине нагоревшей соломенной золы сохранился, как младенческое дыхание, тлеющий огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом подложил еще пучок, еще и еще, печь загудела, пожирая солому. Успевай только подкидывать. Веселей стало в классе.

Хотелось обернуться к ребятам, показать кое-кому рожицу, посмешить, а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Анатаю на задней парте. Он, видите ли, самый старший, ему пятнадцать с половиной лет, задиристый, да и к Мырзагуль, случается, пристает. Дулю бы ему показать. На, мол, на! Но нельзя этого делать. Учительница строгая. Да и не хочется лишний раз огорчать ее. Что-то в последнее время писем нет от ее единственного сына. Он командир,

артиллерист. Очень она им гордится. А муж ее куда-то исчез еще до войны, что-то плохое с ним случилось. Не говорят даже люди, что с ним случилось. Потому она и приехала в аил и стала здесь учительствовать. Сын же ее занимался в педучилище в Джамбуле, оттуда и пошел на фронт. Как увидит в окно верхового почтальона Инкамал-апай, прямо с урока посылает кого-нибудь за письмом. Тот выбегает во двор и, если письмо, во весь дух назад. Существует даже очередь — кому в следующий раз выбегать за письмом для учительницы.

Когда приходит письмо, это целый праздник! Инкамал-апай тут же быстро пробегает глазами коротенькое письмецо, и когда поднимает голову от бумаги, то вроде бы другая учительница появляется в классе. Невозможно оставаться спокойным, видя, как радуется твоя учительница с седыми прядями, аккуратно подоткнутыми под платок, невозможно, чтобы сердце не сжалось при виде слез на ее глазах.

— Всем вам, ребята, большой привет. Ваш агай жив-здоров. Воюет, — говорит она, удерживая дрожащий голос, и никак не удается классу скрыть свою радость за нее. Все улыбаются ей, как бы тянутся к ней, разделяя ее счастье. Но в

следующую минуту она напоминает: — А теперь, ребята, продолжим наше занятие.

И тогда наступает самое прекрасное, самое лучшее в учении: слова ее как бы умножают свои силы, мысль рождает мысль, и все, что она рассказывает, объясняет, доказывает, проникает в ум и души учеников. Это ее взлет, и класс сидит завороженный…

В последние дни что-то тревожит ее, что-то тревожит… И, наверное потому, когда в дверях класса появляется председатель колхоза Тыналиев в сопровождении завуча, Инкамал-апай медленно отступает к доске. И все-таки находит в себе силы сказать:

— Встаньте, ребята. А ты, Султанмурат, иди на свое место.

Захлопнув дверцу печки, Султанмурат быстро вернулся к своей парте.

Пришедшие поздоровались.

— Здравствуйте! — ответил им класс.

Наступила настороженная пауза. Никто не кашлянул даже.

— Что-нибудь случилось? — спросила Инкамал-апай перехваченным голосом.

— Ничего плохого не случилось, Инкамал-апай, — успокоил ее сразу Тыналиев. — Я пришел

по другому делу. Разговор у меня к ребятам. А что на урок вторгся, извините — мне разрешили, — кивнул он в сторону пожилого завуча.

— Да, разговор важный, — подтвердил завуч. — Садитесь, ребята.

Класс разом сел.

Председателя колхоза все знали, хотя председательствовать он стал недавно, с осени, после возвращения с фронта, да и сам он знал, пожалуй, тут всех. Не для знакомства же он пришел. Да и с чего бы? Ученики седьмого класса — это уже приметный в аиле народ. С каждым из них, семиклассников, разговор мог состояться дома, в конторе, на дороге, где придется в аиле. Но чтобы председатель пришел в школу на урок для особого разговора с учениками, такого еще никогда не бывало. Да и что за разговор, какой может быть разговор? Летом другое дело, все до единого работают в колхозе, а сейчас какой разговор?

— Дело у меня такое, — начал Тыналиев, внимательно всматриваясь в напряженные лица ребят и все время силясь держаться прямее, чтобы не так бросалась в глаза его кособокость. — Холодно у вас в школе, помочь я вам ничем не могу, кроме соломы. А солома, известно, вспыхнет и погаснет. Кизяк, которым прежде топили школу, вывозили

с гор вначале вьюком, а потом перегружали в телеги. В прошлом году заниматься этим было некому и некогда. Все на фронте. Есть у меня под замком две тонны угля, которые я купил в Джамбуле у спекулянтов. Это уголь для кузницы. Купил я железа для кузницы, тоже у спекулянтов. Мы с ними когда-нибудь сочтемся. А пока положение очень тяжелое. И на фронте тяжелое. В прошлом году мы не справлялись, не успели засеять гектаров двести озимой пшеницы. Никто не виноват. Война. Можно и так. Но если везде, во всех колхозах и совхозах недоберут, недосеют, недоделают, как мы у себя, то, может случиться, врага не одолеем. Да, чтобы одолеть такую силу, надо иметь и хлеб и снаряд. Я и пришел к вам, ребята, придется кое-кому из вас оставить пока школу. Время не ждет, надо готовить тягло к весновспашке, а тягло у нас — страшно смотреть, довели, на ногах едва держится. Надо готовить сбрую, а она вся разбитая, надо ремонтировать плуги и сеялки, а инвентарь у нас под снегом… К чему я все это говорю? К тому, что недосеянные площади озимой мы обязаны перекрыть яровыми посевами. Во что бы то ни стало, безоговорочно, как на фронте! А это значит сверх плана собственными силами дополнительно вспахать и засеять двести гекта-

ров яровых. Две-е-сти! Вы понимаете? А где взять силы, на кого опереться? И решили мы ко всему тому, что у нас есть и что уже делается к весенней кампании, подготовить дополнительно еще одну бригаду плугарей, двухлемешников. Думали, гадали. Женщин послать не можем. Это далеко, в Аксае. Людей нет. Решили обратиться к вам за помощью, к школьникам…

Вот так говорил председатель Тыналиев, суровый и замкнутый человек, ходивший в своей неизменной армейской серой шинели, в которой он, конечно же, мерз, в серой ушанке, с озабоченным заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку…

Вот так говорил председатель Тыналиев, стоя у школьной доски с географической картой, возле той самой карты, на которой люди умудрились поместить все земли и моря, включая такие расчудесные теплые страны, как Цейлон, Ява, Суматра, Австралия, где живи себе в удовольствие и плюй в потолок…

Вот так говорил председатель Тыналиев в школе, топленной соломой, от которой больше сора на полу, нежели тепла. И когда он говорил, что надо на далеком Аксае поднять дополнительно

сотни гектаров яровых для фронта, пар шел из его рта, как на дворе…

Вот так говорил председатель Тыналиев…

А за окном все вьюжило, кружило, задувало в щели. Султанмурату у окна было видно, как перетаптывался на ветру, как пытался укрыть свою голову от ветра запуржавевший председательский конь у столба. А ветер трепал ему гриву, запрокидывал набок распущенный хвост. Холодно было коню…

Да, тут тебе не Цейлон…

— Не от хорошей жизни я буду отрывать вас от учебы, — объяснил Тыналиев. — Это вынужденная мера. Вы должны понимать. После войны, а может, и раньше, буду жив, сам приведу этих ребят в школу и попрошу, чтобы продолжали учебу. А пока получается вот такая картина…

Потом говорил завуч. Потом снова Тыналиев. Когда в классе началось оживление — ребята стали тянуть руки: я, мол, я хочу на работу, — Тыналиев сразу внес ясность:

— Если кто думает, что мне нужны всякие ученики, тот ошибается. Кто плохо учится, тот плохо работает. А во-вторых, хорошему ученику потом легче будет догонять упущенное время. Ну вот ты, Султанмурат, вроде бы самый большой

в классе…

Ребята зашумели:

— У нас Анатай самый большой. Ему скоро шестнадцать лет.

— Я не о возрасте сейчас. О росте говорю. Да и не это главное. Ну вот ты, Султанмурат, — снова обратился к нему председатель. — Ты в прошлом году огороды пахал, так ведь?

— Да, — ответил Султанмурат и встал с места. — Пахал на Аральской улице.

— На двухлемешном, четырехконном?

— Да, на двухлемешном, четырехконном, но я только помогал. То был плуг Сартбая, а его как раз взяли в армию. Огороды запаздывали. Аксакал Чекиш попросил меня помочь.

— Я знаю об этом. Потому с тебя и начал, — сказал председатель.

Все оглянулись на Султанмурата. Он поймал на себе взгляд Мырзагуль. Она глянула на него как-то по-особому, не так, как другие, и сама покраснела вдруг, точно речь шла о ней. И ему стало неловко от этого, даже сердце заколотилось.

— Я тоже пахал огороды! — выкрикнул с места Анатай.

— И я, — вставил Эркинбек.

Вслед за этим еще раздались голоса.

Но Тыналиев попросил тишины.

— Давайте по порядку, ребята. Дело тут серьезное. Начнем с учебы. Как у тебя с учебой? — опять обратился он к Султанмурату.

— Да не очень, — проговорил Султанмурат.

— Что не очень?

— Ну, не очень плохо.

— Но и не очень хорошо, — вставила все это время молчавшая Инкамал-апай. — Я ему всегда говорю: ты мог бы учиться гораздо лучше, во сто раз лучше. Он очень способный. Но вот беда — ветер в голове гуляет.

— Да-а, — задумчиво протянул председатель. — А я-то рассчитывал... Ну ладно. Отец у тебя на фронте. Стало быть, будешь добывать для него хлеб. А как у тебя, Анатай?

— Да так же, — ответил тот, набычившись и поднимаясь с места.

— Выходит, один другого не лучше, — усмехнулся Тыналиев и, помолчав, сказал: — Когда вернетесь снова в школу, поймете цену учения. Знаю я, по себе знаю. Чуть что — а, мол, плевать, пойду работать. Да разве для работы одной живет человек? Как ты думаешь, Анатай?

Анатай начал было что-то объяснять, но потом признался:

— Не знаю.

— Я тоже не все знаю, — сказал Тыналиев, — но не будь войны, пошел бы учиться, еще поучился бы.

В классе послышался откровенный смех. Смешно — совсем уже взрослый человек, сам председатель колхоза, а хочет учиться. А им уже надоело, так надоело в школе!

— А что смешного? — улыбнулся Тыналиев. — Да, ребята, очень хотел бы учиться. Это вы потом, попозже, поймете.

И тут, пользуясь моментом, кто-то в классе перебил председателя:

— Башкарма-агай, а правда, что вы прыгали с самолета?

Тыналиев кивнул.

Мальчишка не унимался:

— Вот здорово! А не страшно? Я один раз с крыши табачного сарая прыгал на кучу сена — и то колени задрожали!

— Да, прыгал. Но только с парашютом, конечно, — объяснил Тыналиев. — Это такой купол над головой, он распускается, как юрта…

— Знаем, знаем, — хором загудел класс.

— Ну так вот, мы были десантом. Прыгать с парашютом — это была наша работа.

— А что такое десант? — снова раздался чей-то голос.

— Десант, говорите? Это отряд подвижный, боевой, который забрасывается или отсылается куда-нибудь для выполнения особого, важного задания. Ясно, понятно?

В классе молчание.

— В десанте может быть несколько человек и много тысяч людей, — объяснил Тыналиев. — Важно, что десант уходит в тыл врага и действует самостоятельно. Если все понятно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас займемся делом. Анатай, ты садись, что ты стоишь? Твой отец тоже на фронте воюет.

— И мой!

— И мой тоже!

— И мой!

— И мой!

Тыналиев поднял руку:

— Я все знаю, ребята. Не думайте, что я только колхозом занят с утра до вечера. Я знаю всех, кто в армии, кто в госпитале. Я всех вас знаю. Потому и пришел к вам. Так вот, Анатай, и ты пойдешь добывать хлеб отцу, и тебе придется на год, а возможно, и больше, оставить школу.

— Я тоже! И я! И я! — начали было выскакивать

некоторые. Ведь каждый в таких случаях мнит себя героем. А тут такая оказия — в школу не ходи. Работай на лошадях. Чего еще надо?

— Нет, погодите! — успокоил их председатель. — Так не пойдет. Только те, кто уже имел дело с плугом. Вот ты, Эркинбек. Ты тоже пахал огороды? Отец твой погиб под Москвой, я это знаю. Многие отцы и братья погибли. Тебя тоже, Эркинбек, прошу. Помоги нам. Придется тебе землю пахать вместо учебы в школе. Ничего не поделаешь. А матери твоей я сам объясню…

Потом председатель Тыналиев назвал еще двоих ребят — Эргеша и Кубаткула. И сказал, чтобы завтра с утра все названные им были на конном дворе на утреннем наряде бригадиров.

Дома, уже поздно вечером, когда собирались ко сну, Султанмурат рассказал матери о том, как в школу приезжал председатель колхоза. Мать выслушала молча, устало потирая лоб, — целый день в колхозе, на ферме, вечером дома с детьми, — а Аджимурат, глупый, возликовал некстати:

— Вот это да! Не учиться в школе! Плугарем быть, на лошадях! Я тоже хочу!

Мать строго спросила:

— Уроки учил?

— Да, выучил, — ответил Аджимурат.

— Иди ложись спать и ни слова чтобы! Ясно?

А старшему она ничего не сказала.

И только потом, уложив девочек, собираясь задуть лампу, пригорюнилась возле лампы, решила, наверное, что Султанмурат уже спит, заплакала, положив голову на руки. Тихо и долго плакала, вздрагивая худыми плечами. Тяжко стало на душе Султанмурата, хотелось встать, успокоить, приласкать маму, сказать ей какие-то хорошие слова. Но не посмел тревожить ее, пусть одна побудет. Ведь думает сейчас и об отце (как-то он там, на войне), и о детях (четверо их), и о доме, и о разных других нуждах.

Женщина, она есть женщина. Часто они плачут, женщины. И учительница Инкамал-апай, когда ушел председатель Тыналиев из класса, тоже очень расстроилась, растерялась даже. Уже прозвенел звонок на перемену, а она сидела за столом и не уходила. И класс сидел, никто не выбежал, ждали, пока учительница встанет с места и направится к дверям. В дверях-то и заплакала Инкамал-апай. Старалась выдержать, и не получилось. Ушла в слезах. Мырзагуль понесла в учительскую забытую карту и тоже вернулась с мокрыми глазами. Да, конечно, женщины есть

женщины. Жалеют они всех и потому плачут. А что тут такого, подумаешь, ну год, ну два, а война кончится — снова можно пойти в школу…

С этими мыслями засыпал Султанмурат, прислушиваясь, как мело и мело за окном летучим снегом.

На другой день утром все так же мело. Поземка курилась по насту. Небо отяжелело в сплошных тучах. Замерз Султанмурат, пока дошел до конного двора.

Дело, задуманное председателем Тыналиевым, оказалось гораздо труднее, чем думал Султанмурат вчера. Во-первых, с председателем и бригадиром, тощим, рыжебородым старичком Чекишем, раздавшим всем по четыре недоуздка, пошли к загону у старой конюшни. Здесь на заснеженном дворе понуро бродили извозные лошади, перебирая в полупустых яслях объедки сена. Известно, летом кони бывают справные, зимой теряют тело, но эти — кожа да кости. Работали-работали на них, а зима грянула — бросили в общем дворе. Кормить, следить некому. Корма в обрез. А что есть, берегли на весновспашку.

Ребята остановились в полной растерянности.

— Ну что уставились! — заворчал старый Че-

киш. — Думали, вам здесь Манасовых тулпаров [8] на расчалках будут удерживать? Выбирай с краю — и не ошибетесь. Через двадцать дней любой коняга из этих взыграет, как молодой бычок. Даже и не сомневайтесь! Лошади семижильные — им только корм да уход! А остальное они сами знают!

— Берите, ребята, всем необходимым обеспечим, — подсказал председатель. — Начинайте. Каждому четверка. Какие приглянутся.

И тут случилось неожиданное. Среди этих тощих беспризорных кляч на общем дворе слонялись и отцовские кони — Чабдар и Чонтору. Вначале Султанмурат разглядел Чабдара, по масти чалой признал, потом и Чонтору. Головастые, взъерошенные, на худющих ногах, толкнешь — свалятся. Обрадовался и испугался Султанмурат. Вспомнил разом, как ездили с отцом в город. Какие они были, эти кони, в руках отца. И теперь. Как уверенно и прочно бежали в упряжи справные и сильные тогда Чабдар и Чонтору. И теперь.

— Вот они, поглядите, вот кони моего отца! — крикнул Султанмурат, обернувшись к председа-

---

**[8] Примечания: 8**

Манасовы тулпары — легендарные скакуны из войска Манаса, героя народного эпоса «Манас».

телю и бригадиру. — Вот эти, Чабдар и Чонтору! Вот они!

— Правильно! Верно! То бекбаевские лошади были! — подтвердил старик Чекиш.

— Бери их себе, раз такое дело! Бери себе отцовских, — распорядился председатель.

К отцовским коням Султанмурат подобрал еще пару — Белохвостого и Карего. Получилась четверка. Упряжь для двухлемешного плуга. Ребята тоже выбрали себе лошадей.

С этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму 1943 года…

Работы оказалось много, куда больше, чем можно было предположить. На конном дворе поспевай, да еще каждый день бегали в кузницу помогать старому Барпы и его хромоногому молотобойцу ремонтировать плуги, с которыми предстояло выходить в поле. То, что прежде было выброшено на лом, теперь приходилось раскручивать, развинчивать, очищать от ржавчины и грязи. Даже старые, затупившиеся лемеха, уже отслужившие свое, и то заново пошли в дело. Кузнецы бились над ними, оттягивали жало, закаляли в огне и воде. Не каждый лемех удавалось отковать, но если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобойца

подняться на крышу кузницы кликнуть ребят с конного двора.

— Эй вы, плугари! — звал их хромоногий молотобоец с крыши. — Бегите сюда, устаке [9] вас зовет к себе!

Ребята прибегали. И тогда старый Барпы доставал с полки еще горячий, увесистый воронено-сизый, заново откованный лемех.

— На, держи, — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. — Бери, бери, подержи в руках. Полюбуйся. Примерь иди к плугу. Прикинь, как он ляжет под отвал. А? Красота! Как жених с невестой сошлись! А на пашне сверкать будет почище ташкентского зеркала. Рожи-то свои будете разглядывать в таком лемехе! А может, и девчонке какой подарить вместо зеркала, а? Вот будет вечный подарок! А теперь положи вон там, к себе на полку. Увезешь потом на поле. Вот так. В другой раз будет другому. Всем будет. Никого не оставлю без лемехов. Каждому по три пары заготовлю. Единственно зубы себе новые отковать не смогу, а все остальное сработаю. Лемеха вам будут. Вы еще, ребята, много раз вспомните нас на поле. Ведь что главное в плуге

---

**[9] Примечания: 9**
Устаке (уста) — мастер.

— лемех! Ради лемеха все остальное устроено. Лемех силен — борозда сильна. Лемех затупился — плугарь не годится. Вот ведь какая сказка…

Хорош он был, старый Барпы. Всю жизнь в кузнице. Прихвастнуть любил, но дело свое знал.

В шорную мастерскую тоже приходилось часто наведываться. Бригадир Чекиш обязал. Помогите, говорит, сбрую налаживать. Без сбруи, говорит, никуда не двинетесь. Плуги будут, кони будут, но без сбруи все впустую. Тоже верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам как умел подогнать загодя сбрую для своих коней.

Но главное, самое основное дело заключалось в уходе за тяглом, за лошадьми. Целый день с утра и до вечера, еще и поздний вечер уходил на работу в конюшне. Домой добирались лишь к ночи, задав на ночь последнюю порцию сена. Спешить, спешить надо было!

Времени оставалось в обрез. Шел уже конец января. Стало быть, на выхаживание тягла оставалось тридцать, от силы тридцать пять дней. Успеют ли рабочие лошади восстановить и обновить силы к началу пахоты — зависело теперь только от самих плугарей. Конь спит, такое уж он создание, а в кормушке перед ним всегда должен быть корм, и днем и ночью…

По расчетам Тыналиева, в конце февраля, сразу, как только земля освободится от снега, плуги должны выйти в Аксайское урочище. Когда-то, в какие-то далекие времена, люди пахали и сеяли на Аксае. Но потом аксайские поля остались почему-то заброшенными. Возможно, потому, что Аксай — место далекое, безлюдное. Да и поля там не поливные, и лежат они все больше по пригоркам… Бригадир Чекиш рассказывал, отец еще ему говорил, что с Аксая пахарь или по миру пойдет, или народ будет скликать, чтобы помогли хлеб вывезти. Перво-наперво — вовремя отсеять. А второе — от дождей зависит урожай на Аксае. Так говорил старик Чекиш.

«Земледелец всегда рискует, но всегда надеется», — так говорил Тыналиев. На то и рассчитывал Тыналиев, на то и готовил силы плугарей — с надеждой, что будет дождь на счастье и будет хлеб аксайский…

Дни шли. К концу недели кони заметно повеселели, отъелись немного, дело пошло на поправку. Днем уже солнце пригревало. Зима вроде задумалась, засобиралась. И потому на день лошадей выводили на солнцепек, к наружным акурам [10].

---

**[10] Примечания: 10**

Акур — глинобитные кормушки для стойловых лошадей.

На солнцепеке лошади лучше едят и быстрей входят в тело. Все пять четверок, двадцать голов аксайского десанта, стояли в один ряд у длинного акура вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове, каждый возле своей четверки. Это Тыналиев назвал их аксайским десантом. Отсюда и пошло — бригадиры, возчики, конюхи называли их не иначе как десант, десантники, аксайские лошади, аксайское сено, аксайские плуги. Проходя мимо конного двора, люди теперь заглядывали узнать, как дела у десанта. Об аксайском десанте весь аил уже говорил. И все знали, что командиром десанта Тыналиев назначил сына Бекбая Султанмурата. Назначение это не обошлось, правда, без сшибки с Анатаем. Тот сразу заспорил:

— А почему командир Султанмурат? Может быть, мы его не хотим!

Султанмурата эти слова обожгли. Не утерпел:

— А я вовсе не хочу быть командиром! Хочешь, так сам будь!

Ребята, Эркинбек и Кубаткул, тоже вмешались:

— Ты, Анатай, завидуешь!

— Что тебе, жалко? Раз сказали — значит, командир Султанмурат!

А Эргеш заступился за Анатая:

— А чем Анатай не годится? Он сильный! Только ростом чуть ниже Султанмурата. В школе мы выбирали старосту, давайте и командира выбирать… А то чуть что — Султанмурат, Султанмурат!

Тыналиев молча слушал их, а потом усмехнулся, покачал головой и вдруг посерьезнел, суровым стал.

— Ну-ка прекратите шум! — приказал он. — Идите сюда. Встаньте в ряд. Вот так, шеренгой. Раз уж вы десант, то будьте десантом. А теперь слушайте меня. Запомните, командир не избирается. Командир назначается вышестоящим начальником.

— А того начальника кто назначает? — перебил Эргеш.

— Еще более вышестоящий начальник!

Наступило молчание.

— Вот что, ребята, — продолжал председатель. — Война идет, и придется нам жить по-военному. Учтите, я отвечаю за вас головой. У двоих отцы погибли, у троих отцы на фронте. Я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми. Но я беру на себя эту ответственность потому, что верю вам. Вам же предстоит отправиться с плугами на далекий Аксай. Много дней и ночей будете одни в степи,

как десант парашютистов с особым заданием. Как вы там будете жить и работать, если по каждому случаю спорить да кричать начинаете?

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем ребят на конном дворе. Бывший парашютист стоял перед ними все в той же армейской серой шинели, все в той же армейской серой ушанке, с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку.

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем аксайского десанта, командиром которого он назначил сына Бекбая Султанмурата.

— Ты отвечаешь за все, — говорил он. — За людей, за тягло, за плуги, за сбрую. Ты будешь отвечать за пахоту на Аксае. Отвечать — значит выполнять задание. Не справишься — назначу другого командира. А пока никаких и ничьих возражений не принимаю.

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день на конном дворе перед маленьким строем аксайского десанта.

Плугари преданно и восхищенно смотрели ему в лицо, готовые выполнить любое приказание. Он стоял перед ними, пожалуй, как сам Манас,

сивогривый, грозный, в кольчуге, а они перед ним — как верные батыры его. Со щитами в руках и мечами на поясах. Кто же были те славные витязи, на кого возлагал Манас надежды свои?

Первым был славный витязь Султанмурат. Пусть не самый старший, пятнадцать шло уже годов. Но за ум и за храбрость командиром назначен был он, сын Бекбая Султанмурат. А отец его, самый лучший из всех отцов, был в то время в походе далеком, на большой войне. Своего боевого коня Чабдара он оставил ему, Султанмурату. Еще братец малый у Султанмурата — Аджимурат. Очень любил он братца, хотя тот, случалось, и досаждал ему. А еще тайно любил Султанмурат красавицу Мырзагуль-бийкеч. Прекрасней всех улыбка у Мырзагуль-бийкеч. А стройна была, как туркестанский тополь, а лицом бела как снег, а глаза — как костры на горе темной ночью…

Вторым витязем был славный Анатай-батыр. Самый старший в отряде, почти шестнадцати лет. Он ничем никому не уступал, разве ростом чуть-чуть. Зато силой наделен был самой большой. Конь у него, как подобает батыру, прозывался Октору — гнедая стрела! Отец Анатая тоже был на большой войне, в далеком походе. И любил Анатай тоже тайно ту же красавицу луноликую

— Мырзагуль-бийкеч. Очень жаждал он поцелуя красавицы…

Третьим витязем был милый юноша Эркинбек-батыр. Самый старший в семье. Друг хороший и верный. Печально вздыхал он, бывало, и плакал украдкой. Отец его смертью храбрых погиб в том походе далеком, защищая Москву. Конь боевой Эркинбека, как подобало батыру, прозывался Акбайпак-кулюк, что означало скакун в белых носках!

А четвертым батыром был Эргеш-батыр. Тоже друг и товарищ. Пятнадцати лет. Свое мнение высказать он любил, в споры вступал. Но в деле надежным был человеком. Отец его тоже на большой войне, в походе далеком. Конь Эргеша, как подобало батыру, прозывался Алтынтуяк — золотое копыто!

Среди этих батыров был еще пятый батыр — Кубаткул-батыр! Тоже пятнадцати лет, тоже самый старший в семье. Отец Кубаткула в том походе далеком, в той большой войне погиб смертью геройской в белорусских лесах. Кубаткул неутомимый трудяга был. И очень любил, как всякий батыр, своего боевого коня Жибекжала — шелкогривого скакуна!

Вот такие батыры стояли перед Тыналиевым. А

за ними, за их щуплыми плечами, за их головами на тонких шеях стояли у коновязи вдоль длинного акура их плуговые четверки — пять четверок, двадцать кляч извозных, которых предстояло впрячь в двухлемешные плуги и двинуться в далекий Аксай…

На Аксай, на Аксай пашню орать, как только снег сойдет! На Аксай, на Аксай плугом ходить, как только земля задышит!

Но еще снег лежал кругом, лежал еще плотно. Однако дни приближались. И все шло к тому…

## 5

И приближались те дни…

Плуговых лошадей для Аксая называли по-разному — кто десантные, кто аксайские, — но факт тот, что недели через две они уже выделялись на конюшне среди других лошадей. Сытые, напоенные, вычищенные аксайцы стояли в ряд вдоль десантного акура, радуя глаз прибывающей силой мускулов, веселым взглядом и чутко прядущими ушами. Проснулся в них конский норов, и каждый конь стал самим собой. Характер, привычки появились забытые. Лошади уже привязались к своим новым хозяевам. Тихо, точно бы шепотом, ласково ржали, оборачиваясь на знакомые голоса и шаги, тянулись шелковистыми доверчивыми губами. И ребята свыкались, уже по-хозяйски покрикивая, лезли чуть ли не под брюхо коня: «А ну-ка, прими ногу, отступи! Стой, стой, дурья башка, успеешь! Ишь тянется, ласкается, хитрюга! Только дулю тебе, ты у меня не один!»

В первые дни плелись, бывало, лошади на водопой, как полусонные, а потом играть стали, особенно возвращаясь с реки. Гоняли их туда все вместе, каждый верхом на своем боевом коне.

Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке и Кубаткул на Жибекжале. Окружат табунок со всех сторон и гонят к реке.

Зимой важно, чтобы водопой был удобен, чтобы к воде доступ был не скользкий. Тем более когда много лошадей сразу хотят напиться. Потому необходимо заранее обрубать припай у берегов, соломки подстилать на опасных местах. А в сильные морозы бить проруби. Султанмурат и здесь установил строгое дежурство: кому в какой день заниматься подготовкой водопоя.

Не спеша, не толкаясь пили лошади под призором плугарей чистую студеную проточную воду. Вода выбегала отсюда из-подо льда по каменистой отмели и снова утекала по камням под лед. И подо льдом булькала, позванивала, билась о наст…

Лошади как бы прислушивались, переставали пить, пригревались в коротких солнечных лучах и снова принимались тянуть в себя воду. Напившись, они не спеша выходили на дорогу, возвращаясь в конюшню, начинали играть, храпя, раздувая ноздри, распустив хвосты, носились они взад и вперед, взбрыкивая и вскидываясь на дыбы. Ребята скакали вокруг, гарцевали, шу-

мели.

Прошло еще немного времени, и люди стали заглядывать, чтобы полюбоваться на десантных лошадей. Вроде бы совсем и не те клячи, а заново рожденные. Старики не упускали случая порассуждать на этот счет, что, мол, нет на свете более отзывчивого существа, нежели лошадь, когда она в работящих, добрых руках. Ты ей сделал вот столько добра, с кончик мизинца, а она тебе сторицей отплатит. И разные истории рассказывали: какие были кони в старину!

И только председатель Тыналиев был скуп на похвалу. Взыскательным, колючим взором осматривал он лошадей и прежде всего самих десантников. Проверял, как и что, как плуги, как сбруи готовы, почему не залатана чья-то штанина на колене — если матери некогда, трудно самому взять иголку в руки? А попоны, когда, наконец, попоны будут готовы? На Аксай с собой конюшню не повезешь, по ночам будут холода в степи. Торопил, напоминал, что времени остается все меньше, что на Аксае будет поздно делать то, что сейчас надо делать. Случалось, до криков, до ругани доходило, выговаривал бригадир Чекишу, когда ездовые на мажарах не успевали вовремя подвезти клеверное сено, особо сберегаемое

для плуговых лошадей, и в первую очередь для аксайских.

И кто еще не высказывал особых восторгов, так это матери. Приходили то одна, то другая, выговаривали, что это за наказание такое, придумали какой-то десант, сроду такого не слыхали, мало того что мужья на войне, так теперь и сыновья, как солдаты, ни тебе помощи по хозяйству, ни поговорить по душам, только и пропадают на конюшне с утра и до ночи… И многое другое справедливое, если разобраться.

Султанмурату больше всего перепадало, на то командир. За всех приходилось держать ответ. А держать ответ перед матерями труднее всего. Его мать и вовсе махнула рукой, устала: «Только бы отец живой вернулся с войны, пусть сам рассудит. А с меня довольно. Спохватишься, сынок, когда ноги вытяну, да поздно будет…» Жалко было мать, очень жалко, но что мог поделать Султанмурат, да и любой на его месте. У каждого из десантников по четыре коня и много другой работы. Корми, пои, чисти, корма готовь, и снова корми, пои, чисти, навоз выноси, и снова сначала… А какой это труд промывать и лечить лишаи старые, намятые раны на плечах и холках лошадей. Участковый ветфельдшер оставил всякие

растворы да мази, лечить приходится самим. Каждый день. Иначе не залечишь. Откормить откормишь, но хомута не наденешь на рану. Вот ведь как. Ни одного коня не было целого, все с болячками на плечах, с разбитыми ногами. Конь не понимает, что его лечат, попробуй удержать.

Когда лошади набрали тело, настоялись, потребовалась проминка, каждого коня каждый день часа полтора рысью гонять, а не то, как говорил бригадир Чекиш, «в плугу вода пойдет с него и пустое место останется». И тут случилась крупная неприятность…

Выехали как-то проминать лошадей все впятером на своих лучших «боевых» конях. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке, Кубаткул на Жибекжале. Вначале рысью, как полагалось, шли. Вокруг конного двора, потом по улице двинулись, выехали на окраину, здесь по снежному полю порысили. День стоял солнечный, искристый, весенним светом уже присвечивало в воздухе. Горы в вышине белые-белые и такие спокойные и ясные, что появись муха на том белом склоне, и та была бы услышана и увидена. Приутихла зима, пригревать стало на солнце.

Кони бежали в охотку. Им тоже не терпелось

поразмяться, порезвиться. Припустили поводья, быстрей и быстрей. Так и подмывало понестись галопом, Султанмурат впереди. А Анатай подначивал сзади:

— Давай быстрей, что так тихо!

Но Султанмурат как командир не очень-то разрешал развивать скорость. Проминка — это тебе не скачки. Это работа, тренировка лошадей, чтобы потом, в упряжи, им было легче тянуть. Вот так они шли всем десантом. Развернулись на поле и собрались было назад, как услышали с бугра голоса. То ребята возвращались из школы. Увидели десантников и кричат, руками машут. Десантники в ответ тоже кричат, машут. Свой класс, седьмой, шел с уроков и еще другие классы. Гурьбой шли шумной. И в той гурьбе различил Султанмурат ее, Мырзагуль, узнал сразу. Как он ее отличил, сам не знает, но то была она. По лицу, мелькнувшему в полушалке, по фигуре, по походке, по голосу узнал. И она, кажется, узнала его. Она тоже бежала вместе со всеми с бугра, что-то крича и размахивая сумкой. Вроде бы даже крикнула: «Султанмура-а-ат!» И то, как бежала она, раскинув руки, как устремлена была к нему, врезалось в память как вспышка, и понял он разом, что думал и тосковал о ней все эти дни… И

от радости точно бы волна какая-то подхватила его, и понесла, и понесла, закружила…

Как-то так получилось, все они поскакали галопом, направляясь туда, к бугру, с которого спускались их одноклассники. Быстро помчались, минули поле и пошли на косогор. Они могли проскочить вдоль бугра по откосу, прогарцевать кавалькадой перед восхищенными взорами, а дальше на конюшню. Султанмурат так и рассчитывал. И вот тут Анатай вырвался вперед. Его Октор был резвый конь.

— Стой, куда ты, не скачи! — предупредил его Султанмурат, но Анатай даже не оглянулся.

Странная мысль ожгла Султанмурата: «Это он хочет, чтобы она увидела его!» И разозлился, не стерпел, загорелся азартом и припустил вслед Чабдара, закричал, загигикал, прилег к гриве, настигать стал Анатая. А Анатай еще больше нахлестывает. И пошли они наперегонки, кто кого, кто первый к ней, кто покажет свое удальство и превосходство. Ох как здорово они неслись! И все равно Чабдар был сильнее, недаром отец говорил, что в нем скрывается большой скакун. Возликовал Султанмурат, настигая Анатая, как вихрь! А краем глаза видел, как приостановилась с разбегу гурьба одноклассников, следя за вспых-

нувшим состязанием, и видел, видел среди них ее, на нее-то главным образом и смотрел. Ради нее вступил он в это единоборство. И одерживал верх! Обгоняя Анатая, взял чуть выше по склону, чтобы ближе быть к ней, и хорошо, то была великая удача, что пустил Чабдара чуть выше по склону, иначе кто же знает, чем бы все это кончилось. Потому что в следующее мгновение, когда он, поравнявшись бок о бок с Анатаем, обходил его, выигрывая полкорпуса, что-то стряслось в тот момент с Анатаем. Все вскрикнули разом. Натягивая поводья, Султанмурат оглянулся — Анатая позади не было. С трудом умерив разбежавшегося коня, развернулся и тогда увидел, что анатаевский Октор упал, скатился со склона, пропахав в снегу широкий и рваный след, а сам Анатай отлетел в сторону. Ребята бежали к Анатаю, медленно, с трудом встающему со снега.

Перепугался Султанмурат. А когда подскочил, увидел кровь на руках Анатая и еще больше испугался. На секунду встретился взглядом с Мырзагуль. Бледная и растерянная была она и все равно самая красивая… Анатай, придя в себя, побежал к коню, барахтающемуся внизу в сугробе. Запутался конь в поводьях. Тем временем подоспели сзади остальные десантники. Все

вместе помогли лошади подняться на ноги. Тут только расслышал Султанмурат голоса и понял, что вроде бы все обошлось благополучно.

Вот таким конфузом обернулась попытка батыров покрасоваться на глазах у Мырзагуль-бийкеч. Стыдно было смотреть ей в глаза. Поспешили молча уехать, пора было возвращаться на конюшню. И только приближаясь к аилу, заметил Эргеш, что Октор под Анатаем хромает.

— Стой! — окликнул он. — Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?

— Хромает? — растерянно спросил Анатай.

— Ну да! И еще как!

— А ну поезжай вперед, — велел Султанмурат. — Поезжай, а мы посмотрим.

В самом деле, Октор сильно припадал на переднюю правую ногу. Стали ощупывать и обнаружили. Сустав запястья начал уже припухать. Скверно получалось. Не знали, как и быть. Готовили, готовили коня к плугу и вот доигрались. Разве можно было устраивать перегонки по заснеженному склону, ведь на каждом шагу лошадь может поскользнуться и покатиться вниз. Так оно и произошло. Хорошо еще сами не убились.

— Это ты виноват! — сказал вдруг Анатай, раскрасневшись и разозлившись. — Это ты пошел

наперегонки!

— А разве я тебе не кричал: «Стой, куда ты!»?

— Так не надо было обгонять!

— А зачем же ты поскакал?

Расшумелись, заспорили. До драки чуть не дошли. Однако опомнились. Вернулись на конюшню с проминки с хромым конем. Смирные вернулись, притихшие. Без лишнего шума развели лошадей по своим местам, охромевшего Октора тоже привязали у акура, а как быть дальше, сами не знали. Растерялись, затаились. Понимали, что предстояло отвечать. Ребята говорили Анатаю: иди, мол, доложи конюхам, что и как случилось, вот, мол, захромал Октор, как быть? А он ни в какую:

— Почему я должен идти? Я не виноват. Есть у нас командир. Пусть он докладывает.

И опять заспорили, и опять чуть до драки дело не дошло. Больше всего возмущало Султанмурата то, что Анатай вовсе считал себя невиноватым.

— Баба ты! — обзывал его Султанмурат. — Ты на словах только герой! А чуть что — в кусты! Думаешь, боюсь? Раз случилось такое — сам пойду и расскажу.

— Вот и иди! На то ты командир, — не унимался Анатай.

Пришлось Султанмурату набраться духу, рассказать конюху все как было. Тот всполошился, прибежал, стал осматривать покалеченного коня. Шум был большой. Легко сказать — шуточное ли дело, тягло потерять перед самой пахотой. И тут бригадир Чекиш нагрянул. Узнал от кого-то, кто-то успел рассказать. Конюх как раз осматривал ногу Октора — пытался определить, отчего опухоль — растяжение или трещина в кости. И тут топот позади. Все разом обернулись — бригадир Чекиш верхом на коне. Он молча спешился. И пошел к ним, грозный и взъерошенный:

— Что у вас тут?

— Да вот думаем, аксакал, растяжение или трещина?

— А что думать! — взорвался Чекиш, багровея от гнева. — Да я их сейчас всех под трибунал! Стрелять буду на месте!

Размахивая плеткой, Чекиш кинулся на плугарей. Ребята побежали врассыпную. Чекиш за ними. Догнать никого не удалось, только еще больше посинел старик от удушья и, все больше распаляясь, кричал, грозя кнутом:

— Кому мы доверили плуговых коней? Да это же вредители! Фашисты! Стрелять всех до одного! Сколько трудов, сколько корму извели впустую!

А на чем теперь пахать?

Крича и ругаясь на весь двор, он столкнулся с Султанмуратом. Когда ребята побежали, Султанмурат остался на месте. Бледный, перепуганный, он стоял, глядя в упор на бригадира, но бежать от ответа не посмел.

— А-а, это ты! И ты еще смотришь на меня! — И не удержался старик Чекиш, протянул командира десантников плеткой через плечо. Но, замахиваясь во второй раз, одумался, захрипел, устрашающе топал ногами: — Беги, сукин сын! Беги, говорю! Убегай! Запорю!

Султанмурат стоял отшатнувшись, инстинктивно загораживая лицо руками, не сводя с бригадира перепуганных глаз. Он ждал, как жгучей полосой стегнет вдоль спины хлыст. И собрал все силы, чтобы не побежать, выдержать, устоять…

— Ну ладно! — вдруг сказал Чекиш, удивившись упрямству парнишки. — Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще всыплю за это дело!

Султанмурат молчал. А Чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивал руками:

— Ты ему говоришь — беги, а он стоит! Ну по-

думай, ну где мне угнаться за тобой! Куда мне за вами! Побежал бы ради уважения, и мне легче стало бы! А побить — на тебе одежонка худая, да и телом ты жидковат, не для плетки. Было бы что бить! Ну ладно! Прости старика. Вернется отец, поколотите меня, старого, так и быть! А пока давай показывай, что вы тут натворили…

Такая история приключилась в тот день. Досталось Султанмурату. Поделом. Как тут было удержаться бригадиру от плетки. Сколько труда, сколько стараний пропадало — куда и на что годен хромой конь? Разве на мясо. Но у кого поднимется рука на рабочую скотину? Единственная надежда была в том — Чекиш и другие знающие люди сказали, — что повреждение не опасное. Пришлось отвести анатаевского Октора к одному старику во двор. Он умел пользовать лошадей. Клевера, овса подвезли и ежедневное дежурство устроили там. Повезло еще, дней через пять Октора привели в конюшню, дело пошло на поправку.

И вообще та неделя выдалась тяжкая. Дома мать приболела. Вначале ей нездоровилось, а потом слегла с сильным жаром в постель. Пришлось Султанмурату оставаться дома, за матерью, за младшими присматривать. Тогда и бросилось

ему в глаза, как скудно и бедно стало у них в доме. Когда отец уходил в армию, держали с десяток овец, теперь не осталось ни одной: двух зарезали на мясо, а других продали в уплату на заем, на военный и другие налоги. Хорошо еще корова имелась, вымя наливалось, телиться должна была вскоре, да аджимуратовский ишак Черногривый бродил на задах. Вот и вся живность. И ту кормить оказалось нечем. На крыше сарая сохранялись в снопах сухие бодылья кукурузы. Посчитал, и оказалось, что для коровы на дни отела едва-едва хватит, если зима не затянется, а задержится — кто его знает, как все обернется. Ишак же должен был сам себе добывать пропитание. Колючку и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже — кизяк на исходе, хвороста-курая на несколько дней осталось. А как потом? Собака Актош и та превратилась в доходягу. Приуныл Султанмурат. Стыдно стало перед собой. День и ночь занятый на конном дворе подготовкой аксайского десанта, не заметил, в какое запустение пришло хозяйство в доме. Разве так было при отце? Сена накашивал отец, на всю зиму и весну хватало. Топлива тоже припасал с избытком. Да что и говорить — вся жизнь была устроена при отце по-иному — надежно, разумно,

красиво. И не только дома, а всюду, быть может, во всем мире. Двор их, например, выглядел теперь иначе. Чего-то в нем не хватало, как листьев на дереве по осени. Аил стоит на месте, улицы, дома все те же, а все равно не так, как было при отце. Даже колеса проезжающих по дороге за двором бричек стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на этих же бричках…

Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодно и тревожно, что хочется поскорее домой. Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом.

Отчего же так? Выходит, нет отца — и худо стало… Где-то он сейчас, что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно, может же письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не до писем сейчас никому? В том-то и суть, однако: одно дело, когда письмо задерживается с Чуйского канала, и другое — когда с фронта. Об этом они думают, и мать и все они.

Позавчера к рассвету собака вдруг залилась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно, и раз-

дался стук в окно. Мать встрепенулась, вскочила с постели, хотя и больная лежала. Он тоже кинулся к окну. Кто-то стоял у дома. Мать первая узнала.

— Дядя наш Нургазы приехал, — сказала она сыну, — иди, встреть. — А сама вернулась в постель, стуча от озноба зубами.

Брат матери дядя Нургазы жил в горах, всю жизнь проработал чабаном в соседнем совхозе. Однажды его тоже призвали в армию, хотя он и немолод уже, а из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули домой. При отарах некому стало ходить. Не бросать же стадо на ветер. Хорошо, что дядя Нургазы был, нет-нет да и попроведает. Вот и в этот раз, прослышав, что сестра занемогла, спустился с гор ночью, когда отара в загоне. Ненадолго приехал, узнать что к чему да вернуться пораньше на место.

Обветренный, заиндевевший, в тяжелой шубе, в большом лисьем малахае, в сапогах с кошмяными голенищами выше колен, вошел он, громадный и кряжистый, пропахший холодом и овечьим духом. И сразу в доме стало тесно и шумно. Сбросив шубу, сел подле постели сестры, взял ее горячую руку в свои тяжелые ладони и молча стал прослушивать пульс. Долго, внимательно слушал, держа ее тонкое запястье в своих

твердых, трудно гнущихся темно-коричневых пальцах. Что-то знал, что-то постиг он. Кашлянул, призадумавшись, затем пригладил бороду и сказал Султанмурату, улыбаясь одобрительно:

— Ничего страшного. Простыла она у вас порядком. Холода в нее вошло много. А я как знал, мяса, сала курдючного прихватил… Горячей шурпы [11] с салом, перцем и луком попей, чтоб пропотела как следует, — посоветовал он сестре. — А ты, Султанмурат, сними с седла курджун, занеси, что там есть, в дом, а курджун освободи… Я недолго задержусь, отару не заставишь ждать.

Пока мать с дядей разговаривали о житье-бытье, Султанмурат успел огонь развести, вскипятить чаю. А тут и младшие проснулись. И сразу все к дяде кинулись с постели, неодетые. Он их кутал в шубу подле себя, а они лезли на колени, на шею. Особенно Аджимурат, любимец дяди, тот совсем превратился в дитя. Ласкался, как теленок, хотя и в третий класс уже ходил. Шапку дядину, лисий малахай, надел на себя, камчу дядину в руки, а сам залез на плечи, вроде бы на коня.

— Как тебе не стыдно! Слезь! — Султанмурат сдернул его раза два, но дядя Нургазы сам поз-

---

**[11] Примечания: 11**
Шурпа — мясной суп.

волял:

— Не трогай его, не трогай, пусть побалуется.

Вот такое веселое, шумное утро выдалось. Аджимурату пора уже в школу, а он и не собирается. Мать вынуждена была прикрикнуть, он и тогда не спешит, все возле дяди крутится, тот тоже стал упрашивать племянника торопиться. С трудом удалось заставить его одеться. Дело дошло до того, что Султанмурат сам за руку выпроводил брата за двери. Тот упирался и, очутившись за дверью, разревелся. С тем громким ревом и пошел в школу. Жалко стало мальчишку.

Дядя Нургазы рассердился даже.

— Это ты его? — с упреком глянул на Султанмурата.

— Нет, тайаке [12], я его не трогал.

— А почему он так заплакал?

— Не трогал он его, — вступилась и мать, поднимая голову с подушки. — Нет, Нургазы, это он с тоски по отцу. Потому и липнут к тебе дети. Извелись мы. Все время только и ждем. Хотя бы весточки. Скоро два месяца как ни слуху…

Дядя Нургазы стал успокаивать мать, просил не плакать, сберегать силы для детей, рассказывал

---

**[12] Примечания: 12**
Тайаке — дядя по матери.

разные случаи, когда человека считали уже не в живых, а от него письмо приходило через полгода. Война, мол, есть война…

В этот раз, подле больной матери, Султанмурат особенно остро почувствовал запустение жизни без отца. Был бы поменьше, как Аджимурат, заревел бы в голос с тоски. И пошел бы, побежал бы с плачем куда глаза глядят. Хотелось хотя бы маленькой надежды. Пусть даже не сразу приедет, но только бы знать, что отец жив, и тогда можно было бы дышать, ждать, держаться. Теперь он хорошо понял свою учительницу Инкамал-апай.

Приходила она однажды на конный двор, ждала, пока запрягут попутную бричку в район. Все в той же грубовязаной шали своей стояла у покосившихся ворот, совсем постаревшая, одинокая, с застывшей печалью в глазах. А через день, когда вернулась, не узнать, точно бы подменили старую учительницу. Или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились. Приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султанмурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей:

— Вот, Инкамал-апай, наши четверки! Вот они все стоят вдоль акура.

— Хорошие лошади, сразу видно, ухоженные, —

похвалила Инкамал-апай.

— А если бы вы видели, какие они были, — рассказывал Султанмурат. — Совсем доходяги. В лишаях. Холки натертые, в гное, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот, Инкамал-апай, мой Чабдар. Видите, какой! Отцовский конь. А это Акбакай, вот Джелтаман…

Потом он показывал учительнице сбрую в шорной, уже почти готовую, налаженную для упряжи. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке, хоть сейчас запрягай и паши…

Очень довольной осталась Инкамал-апай. И, прощаясь, призналась, что переживала и в душе не согласна была, когда их оторвали от учебы, а теперь видит — не зря пошли на эту жертву. Главное теперь — победить, говорила она, и чтобы люди поскорее вернулись с войны, а потом наверстаем упущенное, наверстаем обязательно…

Оказалось, что учительница Инкамал-апай была у какой-то знаменитой гадалки, которая, если добрая весть выйдет, ничего не берет, никакой платы, оттого что сама радуется чужому счастью, как своему. Потому врать она не может. Эта гадалка и поведала ей, трижды повторив гадальный расклад, что сын Инкамал-апай жив. И не в плену и не ранен. А только такое у него задание, что

писем писать не разрешается. А когда получит на то разрешение, то — сама убедится — письма пойдут одно за другим… Сколько тут правды, сколько нет, но рассказал об этом на конюшне возчик, с которым люди ездили в район.

Подивился было тогда Султанмурат, что сама Инкамал-апай поехала к гадалке, а теперь понял ее страхи и страдания и решил даже посоветовать матери, когда ей станет лучше, съездить к той вещунье, узнать об отце.

Да, тяжко и страшно было думать обо всем этом. Но были и светлые, отрадные мысли, которые возникали как бы сами по себе, как струи воды, поднимающиеся к поверхности в бесшумно кипящей горловине родника. То были мысли о ней, о Мырзагуль. Он вовсе не старался вызывать эти мысли, но они приходили сами собой, как трава из земли, и в том была их радость, их свет, и потому не хотелось расставаться с ними, хотелось думать и думать о ней, о Мырзагуль. И, думая о ней, хотелось что-то делать, действовать, не бояться ничего, никаких бед, никаких трудностей. Но больше всего хотелось, чтобы обо всем этом, о том, как он думает о ней и что он думает о ней, знала бы она сама.

Он еще не понимал толком, как называется

все то, что с ним происходило. Но смутно догадывался, что, наверно, это и есть любовь, о которой слышал от других и читал в книгах. Не один раз джигиты, уходящие на фронт, просили его отнести запечатанное письмо какой-нибудь девушке или молодой женщине. Он с гордостью исполнял такие секретные поручения. И никогда никому ни словом не проболтался. Разве дело мужчины болтать о таких вещах! А был даже случай, когда дальний родственник попросил его написать такое письмо. Джаманкул молодой, но малограмотный был, кочевал в горах с отарами, в детстве не учился. А тут повестка в армию. Хотелось, наверное, парню попрощаться с любимой девушкой, рассказать ей, пусть на бумаге, о своих чувствах, поскольку не принято было в аиле встречаться с девушкой до ее замужества. Вот и пришлось малограмотному Джаманкулу обратиться с просьбой к сыну родственников. Джаманкул диктовал, а Султанмурат писал его слова. Тогда Султанмурату показалась смешной и эта затея, и то, как переживал Джаманкул, как волновался, выбирая слова, как пересохло у него в горле, пока закончили они то письмо. А перед этим Султанмурат поартачился, заставил уговаривать себя, получил в подарок ножичек с

рукояткой из архарьего рога, не подозревая, что не пройдет и года, как сам столкнется с тем, что так волновало бедного Джаманкула.

Это ведь Джаманкулу принадлежали стихи, сочиненные им в одиночестве в горах, которые Султанмурат теперь вспомнил и повторял про себя:

*Аксай, Коксай, Сарысай – земли обошел,*
*Но нигде такую, как ты, не нашел…*

И вдруг он догадался: он тоже напишет ей письмо! И то, что найден способ, не испытывая стыда и страха, высказать, передать на расстоянии свои чувства, вызвало в нем желание немедленно действовать, совершать какие-то хорошие дела, чтобы и другим было так же хорошо, как и ему, чтобы и другие испытывали такое же счастье, как и он. Прежде всего он должен помочь матери, чтобы быстрее выздоровела, чтобы меньше страшилась за отца, чтобы снова работала на ферме, чтобы дома стало уютно и тепло и чтобы мать немного догадывалась, что ее сын кого-то любит и оттого вокруг все так изменилось к лучшему…

За эти два-три дня, которые он пробыл дома, Султанмурат переделал уйму работы, за целый год столько не сделал бы. Все, что по хозяйству

было во дворе и дома, наладил, почистил, прибрал. К матери то и дело подходил:

— Как чувствуешь себя? Может быть, что-то надо тебе?

Мать горько улыбалась в ответ:

— Теперь и умирать не страшно. Не беспокойся, если что надо, скажу…

А письмо он написал ночью, когда уже все спали. Очень волновался, хотя никто и ничто не могло ему помешать. Все равно волновался. Вначале обдумывал, с чего начать. И так и эдак примерялся, но всякий раз казалось, что не так и не с того следует начать. Мысли разбегались, как круги на воде от беспорядочно падающих камней. Хотелось сказать обо всем, что вынашивал в мыслях, а как только дело коснулось бумаги, слова не вязались. Прежде всего хотелось рассказать ей, Мырзагуль, какая она красивая, красивее всех в аиле, и не только в аиле, а во всем мире. Рассказать ей, что для него нет ничего на свете более отрадного, как сидеть в классе и смотреть и смотреть на нее, любоваться ее красотой. Но теперь жизнь обернулась так, что он со своим десантом в школу не ходит, и неизвестно, когда они вернутся на учебу. Теперь он редко ее видит и от этого страдает очень, очень, очень тоскует по ней.

Так тоскует, что порой плакать хочется. В этом он не собирался признаваться, мужчина должен оставаться мужчиной, но действительно слезы иной раз подкатывали к горлу. Надо было объяснить ей в письме, что вовсе не зря и не случайно он подходил к ней вроде бы с нахальным видом на переменах и что напрасно она избегала его. У него не было в мыслях ничего плохого. Очень хотелось также объяснить ей тот случай со скачками, когда наглец Анатай вздумал показать, что будто он самый смелый, сильный и вообще самый главный в десанте. Но из этого, как она сама убедилась, у него ничего не вышло. Жаль только, что конь его Октор пострадал. Но самое важное, о чем ему хотелось бы рассказать, — как внезапно узнал ее на бугре в гурьбе одноклассников, и как сразу понял, что любит ее давно и сильно, и то, какая красивая была она, когда бежала с бугра, раскинув руки и что-то крича. Она бежала к нему, как музыка, как водопад, как пламя огня…

Лампу на подоконнике пришлось раза два подправить. Фитиль нагорал. Хорошо еще, мать лежала в другой комнате и не видела, как он сжигает последний керосин. А письмо все не вязалось, и не оттого, что нечего было сказать, а, наоборот, от желания сказать обо всем сразу.

В аиле давно уже перестали светиться окошки, давно уже перестали взлаивать собаки, давно все спали той глухой февральской ночью в долине под Манасовым снежным хребтом. За окном разливалась непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось ему, остались только они — ночь и он со своими думами о Мырзагуль.

Наконец он решился. Озаглавив свое письмо «Ашыктык кат» [13], написал, что оно предназначено живущей в аиле прекрасной М., свет красоты которой может заменить свет лампы в доме. Дальше написал, что на базаре встречается тысяча людей, а здороваются лишь те, кто хочет подать друг другу руку. Все это он запомнил из письма Джаманкула. Потом заверил, что хочет посвятить свою жизнь ей до последнего дыхания и так далее. В заключение вспомнил Джаманкуловы стихи:

*Аксай, Коксай, Сарысай – земли обошел,*
*Но нигде такую, как ты, не нашел…*

---

**[13] Примечания: 13**
Ашыктык кат — любовное письмо.

## 6

На другой день, после того как Аджимурат пришел из школы, отправились они с братом за топливом в поле. Оседлали аджимуратовского ишака Черногривого, веревки для вязанок, серпы и рукавицы приторочили к ишачьему седлу. Собаку Актоша позвали с собой. Она охотно побежала с ними. Аджимурат, по праву младшего, устроился верхом, а старший пошел рядом, погоняя ишака. Не погонишь — не поторопится. Место неблизкое. Знал Султанмурат один уголок, богатый хворостом-сухостоем. Далеко было то место, в балке Туюк-Джар. Весной и летом в ту балку стекались со всех сторон талые и особенно дождевые воды. Гремела балка от взбурлившихся ливневых потоков и грозовых раскатов, а к осени вымахивали в ней заросли твердостеблистых трав в рост человека. Туда редко кто заглядывал. Зато пустым не вернешься.

Поблизости весь курай давно собран. Вот и пришлось снарядиться в Туюк-Джар. Пообещал Султанмурат матери, что топливом обеспечит, перед тем как уезжать на Аксай.

Вначале Султанмурат шел озабоченный раз-

ными мыслями и не очень-то откликался на разговоры словоохотливого брата. Было о чем думать. Приближалось время выхода пахарей на Аксай. Оставались считаные дни. Перед выездом всегда обнаруживается, как много еще не сделано. Особенно по мелочам. А ведь там, на Аксае, и гвоздя не найдешь, если вдруг потребуется. Хорошо, что председатель Тыналиев заглянул накоротке к ним домой. Проведать приехал, как здоровье матери, как дела у командира десанта. Да и сам рассказал кое-что. Рассказал, как будет с жильем на пашне — решили поставить юрту, — как с подвозом кормов и питанием, а главное, хорошо, что поговорил с матерью. Мать в последнее время стала нервной от болезни, от того, что нет писем от отца. Ну и заспорила с председателем. Говорит: куда вы шлете этих детишек? Сгинут они там, в степи. Не пущу, говорит, сына. Сама больна. Дети малы. От мужа никаких вестей. Сена нет, топлива нет в доме. А председатель говорит: сеном поможем самую малость, больше никак нельзя — весновспашка на носу. Насчет топлива ничего не обещал даже. Побледнел даже, будто скрутило его изнутри, и говорит: а насчет детишек в степи, это вы напрасно. И в расчет не возьму ваши слова, хотя в душе

понимаю. Это, мол, фронтовое задание такое. А раз так — хочешь или не хочешь, не имеет значения. Требуется выполнять. И никаких отговорок. Вот если бы ваши мужья перед атакой начали бы плакать по дому, того нет, этого нет, не топлено, не кормлено, куда, мол, нам в атаку! Что` бы это было? Кто кому может позволить на войне такое? А для нас Аксай — это наша атака. И идем мы в ту атаку с последними нашими силами — с ребятами школьных лет. Других людей нет.

Вот такой разговор состоялся. И мать жалко, и председателя Тыналиева, его тоже надо понять; не от хорошей жизни задумал такое дело. Просил он Султанмурата побыстрей выходить на работу. Время, говорит, в самый край. Как только матери чуть полегчает, так, мол, не задерживайся ни минуты, скорей берись за дела…

Со вчерашнего дня мать немного лучше почувствовала себя, по дому начала кое-что делать. Можно было уже вернуться к ребятам на конюшню. Однако хоть из-под земли, но требовалось добыть топливо. Нельзя оставлять семью без огня, без тепла…

День стоял предвесенний. Теплый полуденный час. Ни зима, ни весна. Безмятежное согласие сил. Чисто, умиротворенно, просторно вокруг.

Кое-где темнели широкие рваные прогалины среди осевших, ослабевших снегов. В прозрачном воздухе ослепительно белели громады снеговых гор вдали. Какая большая земля лежала вокруг, и как много забот было на ней человеку!

Султанмурат приостановился. Попытался разглядеть Аксайское урочище там, на западе, на степном скате предгорий Великого Манасового хребта. Но ничего не разглядел в той дали, называемой аксайской стороной. Только пространство и свет… Вот туда предстояло отправляться днями. Как-то там будет? Что ждет их в том краю? Тревожный холодок пробежал по спине…

Но день был чудесный. Аджимурат — тот совсем ошалел от радости, от вольного дня, оттого, что брат рядом и собака преданно бегает возле, что в целом мире они сами по себе, что едут добывать топливо домой. Сам же на ишаке. Голосок тонкий, песни поет разные, еще довоенные:

*Бер команда, маршалдар*
*(Дайте команду, маршалы),*
*Калбай тегиз чыгабыз*
*(Все как один выступим).*
*Мин-миллион жоо келсе да*
*(Пусть идет тысяча миллионов вра-*

*гов),*

*Баарын тегиз жагабыз*

*(Всех до единого уничтожим).*

Эх, глупыш! Дитя несмышленое…

Но Аджимурату дела нет ни до чего. Он самозабвенно продолжал свое:

*Бир-эки, да, бир-эки*

*(Раз и два, раз и два),*

*Катаранды тюздеп бас*

*(Держи ровнее строй)…*

Султанмурат тоже повеселел. Смешно было смотреть на этого храбреца верхом на ишаке. А когда проезжали мимо прошлогоднего гумна, поутихли невольно. В этом укромном месте, среди полуразвалившихся скирд соломы уже повеяло весной. Тишина полевая. Как отмолотились в прошлом году, так все и утихло здесь. Пахло мокрой соломой, прелью и духом угасшего лета. Валялось в арыке поломанное колесо без обода. И пока сохранялся большой шалаш, крытый обмолоченными снопами. В нем отдыхали от зноя молотильщики. На припеке, посреди тока, где оставалось отвеянное охвостье, уже зазеленели густо проросшие стебельки опавших зерен.

Актош засновал, бегал взад-вперед, вынюхивая что-то по гумну, и вспугнул диких голубей. Они выпорхнули из-под нависающей кручи обледеневшей соломы. Здесь кормились всю зиму в затишке. Шумно, весело закружили они над полем, держась плотной стремительной стайкой. Актош беззлобно потявкал, побегал вслед и потрусил дальше. Аджимурат тоже покричал, попугал и быстро забыл о них. А Султанмурат долго следил за птицами, любовался их гибким полетом, переливающимся перламутровым блеском перьев на солнце и, заметив, как отделилась от стаи пара сизарей и полетела в сторону бок о бок, вспомнил молодого учителя по математике, ушедшего в армию:

*Я сизый голубь, летящий в синем небе,*
*А ты голубка, летящая крыло в крыло.*
*Нет счастья большего на белом свете,*
*Чем неразлучно вместе быть с любимой…*

Захмелел учитель у бозокера [14], когда его провожали, и, уезжая на бричке из аила, долго, пока было слышно, пел о том, что он сизый голубь,

**[14] Примечания: 14**
Бозокер — человек, изготовляющий хмельной напиток бузу.

летящий в синем небе, а она — голубка, летящая крыло в крыло… Тогда смешной показалась Султанмурату эта песенка, и учитель грозный вдруг оказался таким смешным. А сейчас, провожая взглядом удаляющуюся пару диких голубей, замер, почувствовав озноб в теле. Пронзительно его ударила эта песенка учителя математики. И понял мальчишка, что то он сам, вон тот летящий в синем небе голубь, а то она, летящая с ним бок о бок, крыло в крыло, и дух захватило от желания быть немедленно рядом с ней, с Мырзагуль, чтобы лететь вот так, как эти голуби, выводящие над зимним полем широкий наклонный круг. Вспомнил о письме для нее и решил, что слова песни про голубей «Аккептер» тоже должны быть включены в письмо… Все дело теперь заключалось в том, как вручить ей письмо. Он понимал, что при ребятах она никогда не возьмет от него письма. Ведь даже на переменах избегала его. А теперь и в школу он не ходит. Домой к ней не пойдешь, семья строгая… Да и как, даже если прийти, что сказать, как объяснить? Почему, спрашивается, надо вручать письмо, живя в одном аиле?

Но чем больше он думал, тем сильнее хотелось, чтобы она знала о том, как он думает о ней. Очень важно, чрезвычайно важно, неодолимо важно

было, чтобы она знала об этом.

Всю дорогу думал он то о ней, то о предстоящем выезде на Аксай, то об отце на фронте и не заметил, как добрались до балки Туюк-Джар. Кто-то уже здесь побывал, похозяйничал. Но и того курая, который оставался в овраге по обочинам замерзшего ручья да среди колючей поросли облепихи, и того было предостаточно. Приходилось беспокоиться не о том, как взять курай, а как увезти. Недолго думая, принялись за дело. Ишака Черногривого отпустили попастись по прошлогодним травам, пробившимся из-под снега. Актош не требовал заботы, он сам по себе шнырял по балке, вынюхивая неизвестно чего и кого. Братья работали споро. Серпами сжинали сухостой, складывали срезанные стебли в кучу, чтобы потом собрать все это в вязанки. Работали молча.

Вскоре стало жарко, разделись — сбросили овчинные кожушки. Хорошо жать курай серпом, когда он стоит густо и когда он твердостеблистый. Вокруг аила такого не найти. Где там! А здесь одно удовольствие, выжинаешь пучками под самый корень. Курай сухо шуршит и позванивает в коробочках, в стручках сухими семенами, густо осыпающими снег. И снова остро пахнет горькой

пыльцой, как будто летом, как будто в августе. Спину разогнуть трудно. Но курай здесь отменный, жар от него будет сильный. Мать, сестренки останутся довольны. Когда в доме хорошо горит печь, и настроение хорошее…

Они уже сделали немало, собирались было передохнуть, когда вдруг отчаянно и дико залаял Актош. Султанмурат поднял голову и закричал, роняя серп:

— Аджимурат, смотри, лисица!

Впереди по балке, по отвердевшему за зиму насту бежала от собаки вспугнутая лисица, оглядываясь и приостанавливаясь на бегу. Лиса бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу. Она была довольно крупная, с черными, торчком, ушами и дымчато-красной спиной и таким же дымчато-красным длинным хвостом. Актош яростно и беспорядочно преследовал ее, но чем больше он рвался к добыче, тем больше проваливался в снегу.

— Лови ее! Держи! — завопил Аджимурат, и они бросились навстречу, размахивая серпами.

Увидев бегущих навстречу людей, лисица круто повернула назад, забежала за колючий кустарник и, когда Актош проскочил мимо по ее прежнему следу, побежала в обратную сторону.

Конечно, лиса запросто обвела бы своих преследователей и ушла, но беда ее была в том, что она очутилась в изголовье балки, как в мешке, здесь овраг кончался крутыми, обрывистыми, непреодолимыми стенами. Казалось, деваться ей было некуда. Не будь этой шумливой, неугомонной собаки, затаилась бы лиса в зарослях облепихи, попробуй достань ее из сплошных колючек, но собака хоть и дурная, хоть и дворняга, однако оказалась выносливой и настырной. Лай ее не смолкал ни на минуту, и именно лай собачий страшил лису.

А братья, захваченные внезапным событием, бежали за ней сломя голову, потные и разгоряченные, оглушенные собственными криками и азартом преследования. Оставалось лисице или сдаваться на милость собаки, или прорываться мимо людей к выходу из оврага.

И лисица огляделась и, вместо того чтобы убегать от людей, пошла к ним навстречу лоб в лоб. Ребята остановились от неожиданности. Лисица почти не торопясь приближалась по гребню снежного вала на дне балки, точно рассчитав возможности идущего по следу и задыхающегося, то и дело проваливающегося в сугробах Актоша. Бедный Актош совсем одурел от лая и бега. Он

уже не замечал, как здорово повела его лиса по глубокому насту.

Да и братья оказались не более сообразительными. Оба остановились, завороженные подбегающим чудом — настолько красива была лиса на бегу, как лодка, стремительно пущенная по течению. Лисица шла точно между ними, как бы стараясь пройти посередке, чтобы никому не было обидно. Но затем она взяла чуть левее и проскочила со стороны Султанмурата, в двух-трех шагах от него. За это короткое мгновение он разглядел ее всю, как во сне, веря и не веря тому, что видит. Пробегая мимо с напряженно вытянутой головой, лиса посмотрела ему в лицо черными блестящими глазами. Султанмурат успел подивиться этому мудрому звериному взгляду. Такой она и осталась в его памяти — с поднятой головой и так же ровно поднятым пушистым хвостом, с белесым подбрюхом, черными быстрыми лапами и умным, все оценивающим взглядом… Она знала, что Султанмурат не тронет ее.

Он опомнился, когда Аджимурат, швырнув серпом в лисицу, завизжал:

— Бей ее! Бей!

Султанмурат же не успел сделать даже этого, как лисица юркнула в курай, за ней помчался

Актош, и они быстро удалились вниз по балке.

— Вот это да! — вырвалось у Султанмурата.

Братья побежали, потом остановились. Лисы и след простыл. Только Актош взлаивал то там, то тут.

— Эх ты, — сказал потом Аджимурат. — Упустил такую лису. Стоишь, даже рукой не шевельнешь.

Султанмурат не знал, что и ответить. Брат был прав.

— А зачем она тебе? — пробормотал он.

— Как зачем? — И, не объяснив, что хотел сказать, махнул рукой.

Потом они молча собирали накошенный хворост в общую кучу. Надо было еще немного покосить, чтобы сделать полные вязанки. И тут Аджимурат заговорил обиженно:

— Зачем, зачем, говоришь! Отцу сшили бы лисью шапку, как у дяди Нургазы, а ты стоял!

Султанмурат опешил: значит, вот о чем он думал, гоняясь за лисицей. И теперь пожалел, что не удалось поймать действительно такую красивую лисицу, и представил себе отца в пушистом теплом малахае, как у дяди Нургазы. Такая шапка очень пошла бы отцу. Мысли Сулманмурата прервались всхлипываниями Аджимурата. Братишка сидел на куче хвороста и горько плакал.

— Ты что? Что с тобой? — подошел к нему Султанмурат.

— Ничего, — ответил тот сквозь слезы.

Султанмурат не стал особенно допытываться. Он сразу догадался, вспомнив, как недавно плакал Аджимурат, когда приезжал дядя Нургазы. Понял он, что мальчик расплакался с тоски по отцу. Лисица и лисий малахай были лишь напоминанием…

Не знал Султанмурат, как помочь братишке. Он и сам загрустил. Проникаясь жалостью и состраданием к брату, он решил поделиться с ним самым сокровенным.

— Ты не плачь, Аджике, — сказал он, присаживаясь возле. — Не плачь. Понимаешь, я хочу жениться, когда вернется отец.

Аджимурат перестал плакать, удивленно уставился:

— Жениться?

— Да. Если ты мне поможешь в одном деле.

— Какое дело? — сразу заинтересовался Аджимурат.

— Только ты никому ни слова!

— Никому! Никому не скажу!

Теперь Султанмурат заколебался. Говорить или не говорить? Он молчал в растерянности.

Аджимурат начал приставать:

— Ну скажи, какое дело, скажи, Султан. Честное слово, никому ни слова.

Султанмурат покрылся испариной и, не глядя в лицо брату, с трудом проговорил:

— Надо передать одно письмо одной девушке. В школе.

— А где письмо, какое письмо? — живо придвинулся к брату Аджимурат.

— Потом я тебе покажу. Не здесь же письмо.

— А где?

— Где надо. Потом увидишь.

— А кому, какой девушке?

— Ты ее знаешь. Потом скажу.

— Так скажи сразу!

— Нет, потом.

Аджимурат приставал. Он становился невыносимым. Тяжело вздохнув, Султанмурат вынужденно сказал, запинаясь:

— Письмо надо… это… передать Мырзагуль.

— Какой Мырзагуль? Та, что в вашем классе?

— Да.

— Ура! — заорал то ли от радости, то ли от озорства младший брат. — Я ее знаю, она такая, воображает, что очень красивая! С младшими классами не разговаривает.

— А ты что кричишь? — рассердился старший.

— Ладно, ладно! Не буду! Ты ее любишь, да? Как Айчурек и Семетей [15], да?

— Перестань! — прикрикнул на него Султанмурат.

— А что? Говорить нельзя? — вредничал младший.

— Ну и кричи, залезь вон на те горы и кричи на весь свет!

— Вот и залезу и буду кричать! Ты любишь эту Мырзагуль! Вот! Вот! Ты любишь...

Нахальство младшего вывело из себя старшего брата. Размахнувшись, Султанмурат дал ему крепкого подзатыльника. Тот скривился сразу и заревел на весь овраг:

— Когда отец на войне, ты меня бить? Ну подожди! Подожди! Ты еще ответишь! — орет во все горло.

Теперь надо было успокоить его. Вот морока! Когда они помирились, Аджимурат говорил, все еще судорожно всхлипывая, все еще размазывая кулаком слезы по лицу:

— Не думай, я никому не скажу, даже маме не скажу. А ты из-за этого драться... А письмо

---

**[15] Примечания: 15**
Айчурек и Семетей — герои из эпоса «Манас».

передам. Я тебе сразу хотел сказать, а ты сразу драться… На перемене отдам, отзову в сторону. А ты за это, когда отец вернется с войны, когда отец приедет на станцию и когда все побегут встречать его, ты меня возьми с собой. Мы вдвоем сядем на Чабдара и первыми поскачем впереди всех. Ты и я. Чабдар ведь теперь твой. Ты впереди, а я сзади на коне, и поскачем. И мы сразу отдадим Чабдара отцу, а сами побежим рядом, а навстречу мама и все люди…

Так говорил он, жалуясь, обижаясь и умоляя, и до того растрогал Султанмурата, что тот сам едва удержался от слез. Погорячился, а теперь очень раскаивался, что ударил мальчишку.

— Ладно, Аджике, ты не плачь. Мы с тобой на Чабдаре поскачем, только бы отец вернулся…

Когда собрали весь скошенный курай и когда начали вязать, получилось три добрых вязанки. Султанмурат мастерски умел увязывать хворост. Вначале куча кажется большая, как гора, даже боязно становится, что не унесешь. А потом, если умеючи стянуть веревки, куча раза в три станет меньше. Хорошо стянутая вязанка плотно и ровно лежит на спине, ее и нести удобней. В этот раз ребята сделали две вязанки для вьюка, на то они и привели с собой Черногривого, а одну

дополнительную вязанку Султанмурат решил взять на себя. Далековато было нести, но лучше уж сразу притащить домой побольше топлива. Да и оставлять такой курай жалко. Отменного хвороста набрали они в балке Туюк-Джар.

Черногривого навьючили так, что ни ушей, ни хвоста не видно. Его повел на поводу Аджимурат. Султанмурат шел следом, сгибаясь под вязанкой, притороченной к плечам особым перекрестным способом — веревка пропускается из-под левой подмышки через грудь на правое плечо, захлестывается с правой стороны у затылка на скользящую петлю, конец которой носильщик держит в руках. При таком способе носильщик может постоянно подтягивать на ходу ослабшие узлы вязанки.

Так они шли — впереди Аджимурат, на поводу у него Черногривый, за ним Султанмурат с ношей на спине, замыкал это шествие дворняга Актош, уже порядком уставший и потому плетущийся позади.

Когда несешь курай, очень важно долго не позволять себе отдыхать. После первого привала интервалы переходов сокращаются — второй привал вполовину первого перехода, третий вполовину второго и так далее. Султанмурат

хорошо знал это, потому, рассчитывая силы, шел размеренным шагом, широко расставляя ноги. Теперь он ничего не видел вокруг, смотрел только вперед, под ноги. Чтобы долго не уставать и не ждать скорого отдыха, неся вязанку, лучше всего думать о чем-нибудь.

Шел он и думал, как завтра с утра выйдет на работу на конный двор и снова вступит в свои обязанности командира десанта. Поторапливаться пора. Впереди считаные дни до выхода на Аксай. Лошади вроде бы уже справные, залеченные, плуги и запасные лемеха готовы, сбруя тоже, а все равно двинешься на поле — что-нибудь да и обнаружится, это ведь всегда так. Слова бригадира Чекиша. Бригадир Чекиш говорит: глаз — трус, а рука — храбрец, надо смело выходить в поле, а там по ходу дела видно будет как и что, всего не предусмотришь. Может быть, он и прав.

Думал Султанмурат, как сделать, чтобы матери облегчить житье. Совсем замоталась она. И на ферме доит, кормит коров, и дома продыху нет. Все сама да сама. Топи, вари, стирай. Девчушки еще малы, а с Аджимурата тоже какой особо спрос. Сам он теперь уже отрезанный ломоть, вот-вот уедет на Аксай, и кто его знает, когда вернется. Сколько надо вспахать, заборонить…

А их всего пять упряжек. А остальное тягло и плуги все на старых землях будут работать. Здесь работы еще больше, куда больше. Но тут хотя бы поблизости от аила. В случае чего женщины смогут встать за чапыги. Совсем не женское дело. Но теперь они и арыки копают по пояс глубиной, и воду ведут на поля, и плотины поднимают…

Как быть, как облегчить жизнь матери? Так ничего и не придумал…

Но больше всего думал он о том, что завтра передаст письмо, вот только надо дописать слова из песни «Аккептер». Пытался представить себе Мырзагуль читающей его послание, то, что она подумает при этом. Эх, как трудно, оказывается, писать письмо о любви! Получается совсем вообще-то не то, что хотел бы сказать, никакая бумага не уместит в себе то, что на душе. Интересно, а что она скажет? Она тоже должна написать ответное письмо. А как же иначе? Как он узнает, согласна она или не согласна, чтобы он ее любил? Вот ведь задача. А что, если она не захочет, чтобы он ее любил?.. Тогда как?..

Балка Туюк-Джар давно осталась позади. Заходящее солнце светило теперь спереди и сбоку, в одну сторону лица. Земля сохраняла все то же зимнее спокойствие и величие. Обычно так бы-

вает перед бурей — умиротворенность, услада, затишье, чтобы все это вмиг столкнуть, сбить, смешать, разнести вдребезги. В таких случаях надо прошептать: «К добру, к спокойствию!» — чтобы упредить злые силы. Иногда помогает. «К добру, к спокойствию», — сказал про себя Султанмурат, высматривая впереди удобное место для первого привала.

Место приходится выбирать с горочкой, такое, чтобы затем легко встать на ноги. Сначала носильщик курая раскачивается на спине, лежа на вязанке, раскачивается вместе с вязанкой не очень сильно, если больше, чем следует, вязанка перекатится через голову, а носильщик растянется, как лягушка. Раскачавшись, надо упасть на колени, потом с колена встать на ногу, на вторую и затем с заклинанием «о, пирим!» выпрямиться, насколько позволит груз. Зато проще простого отдыхать — надо смело падать навзничь.

Султанмурат упал навзничь на вязанку и на миг зажмурил глаза. Ах, как хорошо было распустить веревки на груди! Он лежал, блаженствуя, прикидывая, где будет следующий привал. Когда он сможет, отдыхая после тяжкого перехода, думать только о ней?

— Только ты быстрей ответь на мое письмо,

слышишь? — сказал он беззвучным шепотом, улыбаясь себе. И прислушался.

Огромная, прекрасная тишина покоилась на земле в светлом, незаметно смеркающемся предвечерии.

## 7

И приближались те дни…

Тревожное, томительное ожидание ответа от Мырзагуль не покидало его весь день, пока он не сваливался к ночи мертвецким сном. Он думал об этом все время, чем бы ни занимался, что бы ни делал. Работал, выкладываясь, командовал своим десантом, а в мыслях только и ждал, когда наконец прибежит на конюшню Аджимурат из школы, когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Мырзагуль дала ответ, то Аджимурат должен бежать вприпрыжку, размахивая руками, прыг-скок, если нет, то не бежать, а идти, и чтобы руки были в карманах.

Султанмурат все время поглядывал в ту сторону. Но что ни день, братишка приходил, держа руки в карманах. Огорчался, недоумевал Султанмурат. Терпение иссякало. Допытывался, спрашивал и переспрашивал Аджимурата, что она ему сказала при встрече, как он к ней подошел и какой при этом состоялся разговор. Придя домой, заставал брата уже давно спящим. А хотелось выспросить еще какие-то подробности.

Но выспрашивать-то особенно было нечего. По словам Аджимурата, эта несносная Мырзагуль-бийкеч вовсе ни о чем не говорила с ним на переменах, а делала вид, что ничего не знает, ничего не помнит. Вроде бы никакого письма она не получала. Стоит себе на переменах, разговаривает с подругами, а его, Аджимурата, не замечает, пока сам не подойдет, не потянет за руку.

Не понимал Султанмурат, что бы это значило. Если Мырзагуль не желает иметь с ним ничего общего, почему не ответит, почему не скажет об этом прямо? Почему молчит, неужели не догадывается она, как мучительно, как тяжело ждать ответа?

С этими мыслями он засыпал, а утром, начиная день, снова думал об этом. И уже времени не оставалось ждать. Снега вокруг быстро шли на убыль. Вот-вот отойдет мерзлота и задышит земля, вот-вот проляжет первая борозда на поле, а там поспевай только…

Однажды Султанмурат сказал брату:

— Скажи ей, что скоро я уеду в Аксай, надолго уеду…

Ответ вернулся односложный…

«Знаю», — передала она, и больше ничего.

Терялся он в догадках. Иной раз хотелось побе-

жать в школу, дождаться перемены, увидеть ее и узнать самому, что все это значит. Но не решался. Все, что прежде казалось проще простого, теперь стало почти непреодолимым. Страх, робость, стыдливость и сомнение, как переменчивая погода в горах, сотрясали его душу…

Да и работу не бросишь. Работы невпроворот. Быть командиром десанта оказалось не очень-то легко. Все так же с утра и до вечера работа, работа, и чем ближе подходил срок выхода на Аксай, тем больше всяких забот наваливалось.

Наступающая весна, однако, не только умножила заботы, но и украшала, обновляла, будоражила их жизнь. По-весеннему стало на водопое, веселей, просторней. Лед исчез, как дым. Заново открывшаяся речка весело бежала, кувыркалась по каменистому перекату. Каждая галька на дне переливалась светом и тенью в быстро текущем зеленоватом потоке. Лошади шумно вбегали теперь табуном на середину речки, поднимая тучи брызг из-под копыт. И ребята верхами туда же, в ту кучу. Смех, вскрики от холодных брызг, наскоки…

Именно в такой момент, находясь на водопое, увидел ее Султанмурат. На переступках через речку увидел и обмер. Отчего бы, казалось, об-

мер? Мырзагуль была не одна. Четверо было их. Девушек. Они возвращались из школы. Он мог бы их и не увидеть. Мало ли людей ходит по той дороге, перепрыгивая по переступкам через речку. Но вот же посчастливилось! Глянул случайно и обмер, придерживая Чабдара на месте, сразу узнал ее. Она шла по переступкам и тоже узнала его, закачалась на переходе, балансируя руками, и, выйдя на берег, приостановилась, еще раз бросила взгляд в его сторону. И, уходя с подругами, несколько раз оглядывалась. Каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он готов был поскакать, полететь за ней — за обещанным счастьем, чтобы сразу, не таясь, не робея, сказать ей, как он любит ее. И что без нее жизнь не может быть жизнью. И каждый раз не хватало духу, каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он умирал и воскресал. Она уже скрылась с подругами в начале Аральской улицы, а он все удерживал Чабдара посреди речки, и уже кони напились и вышли на берег. Ребята их сгоняли в кучу, чтобы двинуться на конный двор, а он оставался на месте, делая вид, что все еще поит Чабдара…

А после думал об этом и удивлялся, ругал себя, что не догадывался раньше увидеть ее, встре-

тить на этом пути, когда она идет из школы. Да, там, на переступках через речку, всегда можно столкнуться как бы невзначай. Как же раньше не приходило это в голову? Конечно же, надо самому действовать, встретить ее и узнать от нее самой, что она думает о его письме.

Он понял потом, что встречи такие могли быть каждый божий день, если бы их десант пригонял лошадей на водопой чуть попозже обычного. Очень досадно было Султанмурату сознавать, что всякий раз после того, как они угоняли лошадей с водопоя, появлялась почти там же Мырзагуль, а он не мог сообразить такого пустякового дела. Страдает, мучается, когда все так просто…

Теперь он решил дождаться ее. На другой день Султанмурат задержался на речке, сказал ребятам, что скоро вернется, сделает хорошую пробежку Чабдару, а ребят попросил приглядеть пока за его лошадьми после водопоя: привязать их на место, задать им корм.

И опять Анатай!

Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал.

— А я знаю, кого ты ждешь, — сказал он вызывающе.

Ох и противный тип!

Султанмурат тоже хорош. Нет чтобы спокойно урезонить: «Знаешь, ну и хорошо. Ты не ошибаешься», так он вместо этого обозвал Анатая:

— А ты шпион фашистский!

— Это кто шпион? Я шпион?

— Ты шпион!

— А ну докажи! Если я шпион, пусть меня расстреляет трибунал! А нет, я тебе морду набью!

И они сшиблись, понукнули коней навстречу друг другу и, тесня друг друга, закружились посреди речки. Угрожающе орали, метали свирепые взгляды, стягивали друг друга с коней. Ребята на берегу смеялись, потешались, подзадоривали, а они, как петухи, не на шутку разошлись. Вода закипела вокруг, разлеталась брызгами, спотыкались кони в воде, скрежеща подковами по камням, и тогда Эркинбек крикнул:

— Эй вы, опять лошадей покалечить хотите!

Сразу одумались, обрадовались даже, что нашлась веская причина, и разошлись без лишних слов.

Но все равно настроение было испорчено. Когда ребята угнали лошадей на конюшню, Султанмурат все еще тяжело дышал и, чтобы как-то унять себя, поехал рысцой вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул

назад и тут увидел ее. Как и вчера, Мырзагуль возвращалась с подружками. Шли они себе, занятые своими разговорами, и дела им не было, что кто-то тут чуть было не подрался сейчас за одну из них, что кто-то страдает, изводится в кручине по одной из них. Мать перепугалась недавно за сына: «Что с тобой? Уж не болен ли ты? С лица сошел как!» Успокоил маму, а сам взял зеркало, давно не смотрелся, все некогда, и действительно здорово изменился, оказывается, за последнее время. Глаза блестят, как у больного, лицо вытянулось, шея сделалась длинной, вроде бы даже две морщинки, две складочки залегли между бровями, а на верхней губе темный пушок появился. Если на свет рассматривать, а так не видно. Вот это да! Совсем другой стал, не узнать… Отец, пожалуй, и не сразу признает, когда вернется…

Он подъезжал на коне сбоку и, приближаясь, заметил, как Мырзагуль глянула раза два в сторону водопоя, точно бы высматривала кого-то. А когда увидела его, вздрогнула от неожиданности, приостановилась, но потом быстро пошла вместе с подругами. Они как ни в чем не бывало перескочили с переступки на переступку через речку и пошли по домам. А он обогнал их стороной, точно бы спешил куда-то по делу, выехал огородами на

улицу, чтобы попасть ей навстречу. Он увидел ее из одного конца улицы в другом конце. Здесь он поехал медленно. И чем ближе сходились они, тем страшней становилось. Ему казалось, что вся улица смотрит в окна, в двери, следит за ними, и все ждут, как они встретятся и что он скажет ей.

А она шла навстречу не очень быстро. Не понимал он, что произошло, почему он так волнуется. Ведь учились вместе в одном классе, ничего не стоило отобрать у нее что-то и даже обидеть, а теперь приближался с трепетом и робостью в душе. Теперь ему хотелось избежать этой встречи, но было уже поздно. И, наверное, она каким-то образом почувствовала его состояние. Когда оставалось совсем немного, она вдруг заспешила и, не дойдя до своего дома, свернула во двор к соседям. Он обрадовался, облегченно вздохнул. И был очень благодарен ей. Как страшно, оказывается, встречаться один на один…

А потом корил себя и ругал за малодушие. Плохо спал ночью и, проснувшись на рассвете, думал о ней, дал себе слово, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к ней, и запросто заговорит, и спросит совершенно серьезно, намерена ли она отвечать на его письмо и когда. Если нет, то никакой обиды, днями ему уезжать на Аксай, и пусть

все это останется между ними. Так и скажет.

С этим твердым решением начинал он тот день, с этим намерением работал, с этим намерением еще раз отправился на речку после водопоя. Ехал на Чабдаре. Проехался берегом в ту и другую сторону. При этом невольно обратил внимание, что в самом аиле на крышах и с теневой стороны снега совсем не осталось, а на буграх, там, где изрядно намело за зиму, снег еще держался сжимающимися темно-серыми пятнами. Как амебы, каких рисовали они когда-то в тетрадях на уроках зоологии.

Вчера же на конном дворе председатель Тыналиев и бригадир Чекиш устроили смотр аксайскому десанту. Все плуги были пронумерованы и закреплены за плугарями. Султанмурату достался плуг номер один. Затем каждый обрядил своих лошадей в сбруи, показал, как он с этим справляется, а потом показал, как он запрягает свою четверку в плуг. И тогда все пять упряжек выстроились в ряд. В общем-то, со стороны смотреть, здорово, внушительно получалось! Как тачанки, только вместо тачанок плуги. Лошади сильные, сбруи подогнанные, плуги блестят от смазки. Плугари подтянутые, каждый возле своей упряжи. Председатель Тыналиев ходил перед

десантом суровый, как командующий армией. К каждому подходил:

— Доложи свою готовность!

— Докладываю. Имею в наличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шлеи, восемь постромок, одно седло, один кнут, один двухлемешный плуг с тремя парами запасных лемехов.

Прямо как в армии! Только бригадир Чекиш хмурился. Ну конечно, он старик, где ему понять!

Смотр прошел хорошо. Но по двум пунктам все же завалились десантники. Председатель Тыналиев подозвал всех к упряжи Эргеша.

— Ну-ка обнаружьте неполадку в сбруе, — предложил он.

Все пересмотрели, все перещупали, но ничего такого найти не сумели. Тогда председатель Тыналиев сам показал:

— А это что? Вы разве не видите, что ремень у гнедого коренника на боку перекручен. Вот, смотрите! А в работе перекрученный ремень будет натирать бок коню. Лошадь сказать об этом не может. Будет тянуть, а на другой день бок вспухнет, коня уже не запряжешь. А где я вам найду запасного коня? Их у меня нет! Значит, плуг будет

простаивать из-за халатного отношения к сбруе! Ну-ка подумайте, имеем мы право допустить такое? Ради чего мы готовились всю зиму?..

Стыдно было всем. Такой пустяк, казалось бы, и надо же!

— Султанмурат, — наставлял председатель Тыналиев, — ты как командир десанта обязан каждый раз перед началом работы проверять, кто как запряг лошадей. Ясно?

— Ясно, товарищ председатель!

Второй пункт, по которому погорел десант, оказался более серьезным. Причем погорел сам командир. Председатель Тыналиев спросил их:

— Ответьте мне, где будете оставлять сбрую на ночь после работы?

Думали, гадали, отвечали по-разному. Решили, что в поле, возле плугов.

— А ты как думаешь, командир?

— Я тоже так думаю. На полосе, где распряжем, там и оставим сбрую, возле плугов. Не носить же ее с собой!

— Нет, неверно. Сбрую нельзя оставлять на ночь в поле. Не потому, что ее кто-то возьмет. На Аксае некому ее взять. А потому, что ночью может пойти дождь или снег. Сбруя намокнет. Это сыромятная кожа. И могут лиса или сурок

погрызть сбрую в поле. Ясно, о чем идет речь? Значит, что из этого следует? Плуг остается на поле. Выпряженных лошадей со сбруей приводите на стан. У вас юрта, в которой вы будете жить. Юрта только одна. Другой юрты у меня нет. Сбрую каждый вносит в юрту и складывает аккуратно на то место, где он будет спать. Ясно? Спать со сбруей в изголовье! Таков закон! Это ваше оружие! А каждый солдат прежде всего бережет оружие!

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день перед аксайским отрядом, выстроенным для смотра в полной боевой готовности.

Вот так говорил председатель Тыналиев накануне выхода десанта на Аксай. Те дни приближались. И все шло к тому…

Вот так говорил председатель Тыналиев, наставляя их уму-разуму… Вот так…

Да, вполне могло случиться, что дня через три-четыре, если погода не испортится, двинутся они на Аксай, и тогда, конечно, не увидеться с Мырзагуль до самого лета. Подумав об этом, Султанмурат испугался. Трудно, невозможно было представить себе такое — не видеть ее, пусть хоть издали, столько времени! А еще собрался заявить ей сегодня, что, мол, да или нет, если нет, так что ж, не такая уж беда, ждать некогда, на Аксае дела

поважнее…

Султанмурат все поглядывал на дорогу, проезжаясь берегом. И уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Но вот они, девушки! Однако Мырзагуль среди них не оказалось. Подружки ее шли, а ее нет. Вначале Султанмурат огорчился. Что ж оставалось, раз такое дело. Расстроенный, поехал на конный двор. Но дорогой его охватила тревога: а вдруг она заболела или еще что-нибудь случилось? Эта тревога возрастала, он почувствовал, что ни в коем случае не сможет унять ее, пока не узнает причины. Решил спросить у девушек. Повернул Чабдара вслед за ними. И тут увидел ее, Мырзагуль возвращалась одна. Она уже приближалась к переступкам на речке. Султанмурат припустил слегка Чабдара, чтобы поспеть встретиться на переступках, а сам до того обрадовался, так сильно, оказывается, испугался за эти минуты, что сам не заметил, как сорвалось с уст: «Родная моя!»

Он встретил ее на переступках. Спрыгнул с коня и, держа его на поводу, ждал, когда она выйдет на берег к нему.

Она шла к нему, глядя на него, улыбаясь ему.

— Смотри не упади! — крикнул он ей, хотя упасть с таких широких, выложенных поверху

дерном переступок было невозможно. Как хорошо, что она шла по переступкам! Как хорошо, что на этой капризной горной речке не удерживались никакие мосты и мостики!

Он ждал, протянув ей руку, а она шла к нему, все время глядя на него и улыбаясь.

— Смотри не упади! — сказал он еще раз.

А она ничего не отвечала. Она только улыбалась ему. И тем было сказано все, что хотел бы он знать. Какой же он был чудак, писал какие-то письма, терзался, ждал ответа…

Он взял ее ладонь, когда она протянула ему руку. Столько лет учась в одном классе, не знал он, оказывается, какая чуткая и понятливая у нее рука. «Вот я здесь! — сказала рука. — Я так рада! Разве ты не чувствуешь, как я рада?» И тут он посмотрел ей в лицо. И поразился — в ней он узнал себя! Как и он, она стала совсем другой за это время, выросла, вытянулась, и глаза светились странным, рассеянным блеском, как после болезни. Она стала похожа на него, потому что она тоже постоянно думала, не спала ночами, потому что она тоже любила, и эта любовь сделала ее похожей на него. И от этого она стала еще красивее и еще родней. Вся она была обещанием счастья. Все это он познал и почувствовал в одно

мгновение.

— А я думал, ты заболела, — сказал он ей дрогнувшим голосом.

Мырзагуль ничего не ответила на эти слова, а сказала другое:

— Вот. — Она достала предназначенный ему сверточек. — Это тебе! — И, не задерживаясь, пошла дальше.

Сколько раз потом вновь и вновь рассматривал он этот вышитый шелком платочек! Доставал из кармана, и снова прятал, и снова рассматривал. Величиной с тетрадный лист, платочек был ярко расшит по краям узорами, цветочками, листиками, а в одном углу были обозначены красными нитками две большие и одна маленькая буквы среди узоров: «S. g. M.», что означало «Султанмурат джана Мырзагуль» — «Султанмурат и Мырзагуль». Эти латинские буквы, которые они изучали в школе еще до реформы киргизского алфавита, и были ответом на его многословное письмо и стихи.

Султанмурат вернулся на конный двор, едва сдерживая торжествующую радость. Он понимал, что это такое счастье, которым невозможно поделиться с другими, что оно предназначено только ему и что никто другой не сможет быть

так счастлив, как он. И, однако, очень хотелось рассказать ребятам о сегодняшней встрече, показать им подаренный ему платочек…

Зато работалось хорошо. Ребята чистили лошадей после водопоя, носили в ведрах овес, закладывали в кормушки сено. Он сразу включился в дело. Быстро прошелся скребком по упругим, налитым силой спинам и бокам своих коней, побежал за овсом. И все время чувствовал платочек в нагрудном кармане перешитой солдатской гимнастерки. Будто там горел незримый огонек. И от этого ему было радостно и тревожно. Радостно оттого, что откликнулась Мырзагуль на его любовь, и тревожно, потому что было началом неведомого…

Потом он побежал за сеном к люцерновой скирде за конюшней. Здесь было тихо, солнечно, сильно пахло сухими травами. Ему очень захотелось еще раз посмотреть на свой платочек. Достал из кармана и стал разглядывать его, улавливая среди травяных запахов особый запах платочка, вроде бы хорошим мылом пахло. Однажды в школе он почувствовал, как пахнут ее волосы. И теперь вспомнил, это был ее запах. Так он стоял наедине с платочком, и вдруг кто-то выхватил его. Оглянулся — Анатай!

— А-а, ты уже платочки получаешь от нее!

Султанмурат густо покраснел:

— Дай сюда!

— А ты не спеши. Спервa погляжу.

— А я тебе говорю, дай сюда!

— Да не кричи ты, отдам. Нужен очень!

— Отдай немедленно!

— А ты посильней кричи! Кричи, что у тебя дареный платочек отобрали! — И сунул его в карман.

Что произошло дальше, Султанмурат уже не помнил. Только мелькнуло перед ним искаженное злобой и испугом лицо Анатая, затем он со всей силой нанес еще удар, а потом отлетел в сторону от резкого толчка в живот. Перегнулся, падая, но тут же вскочил на ноги и рванулся из-под скирды с еще большей ненавистью и яростью на подлого Анатая. Прибежали ребята. Заметались. Втроем стали разнимать их. Просили, умоляли, повисали у них на руках, но те снова и снова кидались друг на друга, сшибаясь в жаркой, безжалостной драке. «Отдай! Отдай!» — только одно твердил Султанмурат, понимая, что исход может быть лишь один: или умереть, или вернуть платочек. Анатай был кряжистый, сильный, действовал он хладнокровно, но на стороне

Султанмурата были справедливость и право. И он безоглядно нападал, хотя часто оказывался сбитым с ног. В последний раз он упал на вилы, валявшиеся подле скирды. И тут руки сами схватились за вилы. Он вскочил с вилами наперевес. Ребята закричали, отбегая по сторонам:

— Стой!

— Остановись!

— Опомнись!

Анатай стоял перед ним, тяжело дыша, растопырив руки и ноги, озираясь, куда бы отскочить, но бежать ему было некуда. С одной стороны скирда, с другой — стена конюшни. Именно в эти минуты Султанмурат обрел твердость духа. Он понимал, что это крайность, но другого выхода не было.

— Отдай, — сказал он Анатаю, — иначе будет плохо!

— Да на! На! — заторопился Анатай, пытаясь обратить все в шутку. — Тоже мне! Пошутить нельзя! Дурак! — И он кинул ему платочек.

Султанмурат положил его в нагрудный кармашек. Страшная минута миновала. Ребята облегченно вздохнули, загалдели, и только тогда почувствовал Султанмурат, как кружится голова, как трясутся руки и ноги. Сплевывая кровь из

разбитой губы, пошел как пьяный за скирду, упал на сено и, лежа на спине, отдышался, пришел в себя…

## 8

К вечеру они с Анатаем хотя и не помирились, но общие дела заставили их пойти навстречу друг другу. И все же оставался осадок в душе, стыдно было, что все так глупо получилось. Но при этом Султанмурат понимал, что прошел важное испытание, что, прояви он малодушие, прежде всего сам перестал бы уважать себя. А такой человек не может и не должен быть командиром десанта.

В этом он убедился в тот же день, когда под вечер приехали на конный двор председатель Тыналиев и бригадир Чекиш. Лошади их пришли с дальнего пути усталые, заляпанные грязью. Тыналиев и старик Чекиш с рассветом уехали в Аксайское урочище и вот только вернулись. Довольные приехали. Через пару дней можно двинуться на Аксай. Земли удобной много. Паши сколько сможешь. Загоны определили. Степь задышала. Место полевого стана выбрали. Осталось обосноваться там и начать то, ради чего готовились всю зиму.

— Ну как, ребята? — обратился к ним Тыналиев. — Как настроение? Какие есть предложения, замечания? Высказывайте, чтобы потом не спо-

хватиться, когда уже будете далеко от аила.

Ребята молчали, ничего такого, требующего немедленного решения, вроде бы и не было, и все-таки никто не взял на себя ответственность сказать последнее слово.

— У нас есть командир, — промолвил Эргеш. — Он все знает, пусть сам скажет.

И тогда Султанмурат сказал, что пока никаких неполадок или другой нужды нет, все продумано, обувь отремонтирована, одежда залатана, укрываться берут шубы, короче говоря — они, их плуги и кони готовы в любой день приступить к работе, как только земля поспеет.

Потом обсудили разные другие дела — о кашеварe, о топливе, о юрте — и пришли к общему выводу, что дня через два-три, если погода не изменится, если не пойдет снег, то пора выходить в поле…

А погода стояла хорошая, хотя и облачная, но с большими окнами — солнце то выглянет, то спрячется, земля парила, пахло сырой, освобождающейся из-под снега землей…

И приближались те дни… И все шло к тому…

Как ни готовились, а перед самым выездом опять обнаружилась уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух попон, те, что имелись, были

совсем старые, дырявые, их нечего было везти с собой на Аксай. Ночи ранней весны холодные, почти зимние, особенно в первые дни пахоты… Чекиш говорил, что прежде, когда пахали еще сохой, в первые дни, бывало, ждут до полудня, пока оттает земля после ночных заморозков… А продрогший за ночь конь, не покрытый попоной, уже не рабочее тягло.

Пришлось побегать Султанмурату то в контору, то к председателю, то к бригадиру, пока сумели купить для колхоза в аиле еще две добротные попоны…

И в этой беготне и заботах больше всего ждал он времени выезда с конями на водопой. Хотелось повидать Мырзагуль перед отъездом, встретив ее, как в тот раз, у переступок через речку… Каждый раз надеялся — и не удавалось. Спешил Султанмурат, не было времени ждать. И потому он все время ощущал какую-то недоговоренность, недосказанность, остающуюся в их отношениях, и какую-то смутную, тревожную вину свою за то, что они могут не свидеться перед выездом. Он знал, что и Мырзагуль думает о нем, в этом он убедился в тот раз по первому ее взгляду, когда в ней он как бы узнал себя. Однако он не допускал даже мысли, что Мырзагуль сама будет искать

встречи с ним. Девичья гордость и честь не могли того позволить. Девушка уже сказала свое слово, она вручила ему вышитый платочек, а все остальное уже его заботы, мужские…

Конечно, он сумел бы встретиться с ней перед отъездом, он так и рассчитывал, если бы не новое несчастье. Накануне выезда на Аксай, когда десантники собирались гнать своих лошадей на прощальный водопой, после которого Султанмурат и хотел дождаться Мырзагуль, у самых ворот конного двора при выезде на водопой встретил их бригадир Чекиш. Он был хмур и неприветлив. Рыжая бороденка всклокочена, шапка надвинута на самые глаза.

— Вы куда?

— Коней поить.

— Постойте. Вот что, Анатай, ты иди домой. Мать у тебя заболела. Иди, иди сейчас. Слезай с коня. А вы, ребята, быстро на водопой и быстро назад. Чтобы мигом, я вас жду здесь!

И дорогой на речку, погоняя табунок на рысях, смотрел Султанмурат на дорогу и, возвращаясь, оглядывался: нет, не видно Мырзагуль. Не время еще было ей возвращаться из школы. И что это старик Чекиш так заторопил их? Что стряслось? Если бы не это, сегодня обязательно дождался

бы ее! Так хотелось снова повидаться на переступках…

Когда они вернулись на конный двор и поставили лошадей по своим местам, старик Чекиш собрал их четверых, отозвал в сторонку.

— Разговор есть, — буркнул он.

Потом предложил сесть. Все сели на корточки, подпирая спинами стену дувала. Председатель Тыналиев любил разговаривать стоя, сам стоял и чтобы перед ним люди стояли, а бригадир Чекиш наоборот — он предпочитал разговор неторопливый, сидячий. Старик, одним словом. Вот они расположились, и тогда Чекиш, сумрачно поглаживая взъерошенную рыжую бороду, начал:

— Хочу я вам сказать, джигиты, вы уже не малые дети. Рано вам пришлось вкусить горечь жизни. По горячему ступать, в холоде спать. Значит, судьба такая выпала. Вот сегодня у одного из нас большая беда — отец Анатая, Сатаркул, убит на фронте. Вы уже не дети, когда у одного несчастье, другой ему опорой должен служить. Собирайтесь. Будете встречать и провожать людей. Лошадей принимать. Сейчас соберется народ у дома покойного Сатаркула, и вам надлежит там быть. И не хнычьте возле Анатая, как малолетние, если плакать, то плачьте громко, по-мужски,

чтобы ясно было, что плачут верные друзья Анатая. Со мной пойдете, с тем я вас и поторопил…

Они шли гуськом по тропинке к дому Анатая на окраине улицы. Такими же небольшими молчаливыми кучками верховой и пеший народ уже стекался с разных сторон.

День стоял переменчивый. То солнце проглянет, то снова облака, то вдруг ветерок северный, низовой потянет пронизывающим голени холодом. С тяжелой, изнывающей от страха и жалости душой шел Султанмурат к дому Анатая. Жутко было, потому что через минуту-другую всплеснется в аиле, как пламя пожара над крышей, еще один великий плач, и еще одного человека, родившегося и выросшего под этими отцовскими горами, не дождутся с войны, никогда и никто его не увидит… «А что с отцом, до сих пор нет ни писем, ни вестей никаких? Что с ним? Мать уже без ума от страха. Только бы не это, только бы не так!»

Они уже приближались ко двору, когда в доме Анатая раздался пронзительный вопль, и этот плач, умножаясь, выхлестнулся во двор и на улицу, где толпился народ…

Идя следом за Чекишем, десантники громко заплакали, заголосили вместе, как учил их Чекиш:

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

В эту минуту, в минуту общего горя, отец Анатая Сатаркул воистину был их родным отцом, и воистину в ту минуту он был славен, потому как величие каждого человека познается их близкими лишь тогда, когда они его лишаются… Так было всегда и так будет…

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

С этими скорбными словами десантники проследовали за Чекишем через толпу и, войдя во двор, увидели у самых дверей Анатая. Горе умаляет человека. Самый старший из них, грозный и сильный Анатай оказался совсем беззащитным мальцом. Раздавленный свалившимся на его плечи горем, он по-детски, в голос рыдал, приткнувшись к стене, как жеребенок в непогоду. Лицо его вспухло от слез. А рядом громко плакали младшие его братья и сестры.

Друзья подошли к Анатаю. Увидя их, Анатай заплакал еще больше, как бы жалуясь им на свое горе, на то несчастье, которое совершалось на глазах у всех. Он просил тем самым защитить его,

помочь ему. Эта беззащитность Анатая больше всего потрясла Султанмурата. А они растерянно топтались возле, не зная, как быть, как утешить товарища. Никто, кажется, ничем не мог ему помочь. И никто не подозревал, что Султанмурат только что выскочил со двора с автоматом в руке и побежал с ним прямо туда, прямо в ту сторону, где шла война, без передыха прямо на фронт, и там, крича от ярости и гнева, плача и крича, расстреливал фашистов очередями, очередями, очередями из неиссякаемого, неумолкающего автомата за убитого отца друга своего Анатая, за причиненные аилу страдания и беды…

Жалко, что не было у него автомата!

И тогда Султанмурат сказал Анатаю (ведь он был командиром десанта):

— Не плачь, Анатай. Что ж делать. Вот у Эркинбека и Кубаткула тоже отцы погибли на фронте. Сам знаешь. От моего отца тоже писем нет давно. Война. Сам понимаешь. Ты только скажи, Анатай, мы тебе поможем. Ты только скажи, что сделать, чтобы тебе стало легче…

Но Анатай, приткнувшись к стене, судорожно вздрагивая плечами, не мог ничего выдавить из себя. Эти слова не утешили его, наоборот — горько разбередили, и он стал задыхаться от

нахлынувших слез, посинел от удушья. Султанмурат побежал, принес ему в ковше воды.

И с этого момента он почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило. Он понял, что надо действовать, как-то помогать людям. Вчетвером они носили воду из речки, кололи дрова, разводили огонь в самоварах, собранных от соседей, встречали и провожали, верховым старикам помогали спешиться…

А народ все шел и шел. Одни приходили высказать соболезнование семье погибшего, другие уходили, выполнив свой долг. А десантники оставались весь день во дворе Анатая.

Самые трудные минуты пережил Султанмурат, когда пришла учительница Инкамал-апай и с ней девочки седьмого класса, и среди них Мырзагуль. Так плакала Инкамал-апай, так убивалась, обняв Анатая, невозможно было смотреть без слез. Предсказания знаменитой гадалки о сыне учительницы не сбывались, да и не верила она им. Вот и плакала в тревожном предчувствии, дала волю слезам, чтобы облегчить изнывающую душу. Девочки тоже плакали возле учительницы своей, а Мырзагуль стояла, опустив голову, плача беззвучно, быть может, тоже вспомнив отца и брата, и ни разу не взглянула в его сторону. Даже

в этом, в сострадании и горе, она была красивее всех. Она вызывала в нем самое глубокое сочувствие и гордость ею. Хотелось подойти к ней, обнять ее и заплакать, соединить свою печаль с ее печалью…

*…Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч,*

*Я сизый голубь, летящий в синем небе,*

*А ты голубка, летящая крыло в крыло…*

И потом, когда зазвучала во дворе молитва и когда все, кто был, умолкнув, остались каждый наедине с собой, раскрыв перед лицом ладони и глядя в них, как в книгу судеб, слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедшей сюда тысячелетие назад из неведомой Аравии, возвещавшей вечность мира в рождениях и смерти, предназначенной в этот раз убитому на войне отцу Анатая Сатаркулу, — Султанмурат и тогда, среди молитвы той, подняв глаза над ладонями, посмотрел на нее. Вместе со всеми сосредоточенная, юная Мырзагуль была прекрасна. Глубокая задумчивость покоилась на ее лице. Но она не смотрела на него.

Так она и ушла, не обмолвившись с ним ни словом, лишь грустно задержав на нем взгляд

перед уходом и кивнув ему. Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч…

Плач в доме покойного Сатаркула утихал понемногу. Наступало отрезвляющее жестокое затишье примирения с утратой. Плач — это протест, бунт, несогласие; гораздо страшнее осмысление необратимости случившегося. Вот тогда посещают человека самые мрачные мысли.

Анатай сидел у стены, уронив голову. Страшно было Султанмурату смотреть на него. Дерзкого, сильного, злого Анатая растоптало несчастье. Уж лучше бы он кричал, плакал, уж лучше бы рвал на себе одежду и метался.

Султанмурат не знал, как вызволить его из этого горестного безысходного одиночества. Но надо было помочь ему, надо было во что бы то ни стало заставить его почувствовать, что он не один, что рядом люди, готовые голову положить за него.

— Пошли, Анатай, у меня к тебе отдельный разговор, — сказал ему Султанмурат.

Анатай встал с места, и они отошли в угол.

— Ты не думай, Анатай, — начал Султанмурат, очень волнуясь, с трудом подбирая слова. — Ведь я это самое… Если хочешь, я отдам тебе тот платочек насовсем.

Анатай горестно улыбнулся.

— Что ты, Султан! Не надо, — ответил он. — Это твое, и ты его никому не отдавай. А я… Ты меня прости, что я тогда, ты меня прости, забудь. Я больше никогда так не буду, Султан. Мне уже ничего не надо… Мой отец, он был… Мы так ждали… — И, захлебываясь, давясь слезами, Анатай снова зарыдал.

Теперь они плакали вместе наедине со временем, в котором они жили и росли…

## 9

Третий день ходили плуги по Аксайскому урочищу. Третий день не умолкая понукали, погоняли плугари своих коней. И выгорбился темно-бурой полосой по увалу свежевспаханный начальный загон аксайских десантников. Задел был уже заметный, глаз радовался. Теперь как погода поведет себя, так и дело пойдет.

В этом огромном предгорном пространстве у подножия Великого Манасового хребта хранилась давно никем не нарушаемая тишина. Отсюда начиналась Аксайская степь, уходящая в чимкентские и ташкентские безводные земли. В этом нетронутом просторе степного изголовья плуговые упряжи казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой длинный взрыхленный след.

Пока здесь ходили три плуга. Эргеша и Кубаткула задержали на несколько дней в аиле — бросили на подмогу, на бороньбу озимых, чтобы успеть закрыть влагу в почве. Ясно, нужное, срочное дело, но и на Аксае время не ждет: чтобы успеть засеять такой клин, какой наметили, надо поставить весь десант на лемех с рассвета до ве-

чера, иначе не успеть, иначе все труды пропадут. Султанмурат беспокоился, ждал прибытия оставшихся двух упряжек со дня на день. Обещали, из-за этого поругался он с бригадиром Чекишем. Серьезно поругался.

— Передайте, — говорит, — аксакал, пусть председатель Тыналиев приезжает, пусть разберется. Тремя плугами здесь делать нечего. Задачу не выполним…

А старик Чекиш? А что старик Чекиш, он волосы рвал на себе. И понял Султанмурат, как трудно в колхозе умному, понимающему бригадиру. Хочет сделать все с толком, вовремя, по порядку, а везде все горит, как пожар под ногами, хочет поспеть сделать по весне то, другое, десятое, а сил нет, людей нет, харчей нет. Голову вытянет — хвост увязнет. Сидел он тут вчера, думу думал. В аиле время голодное. Запасы уже на исходе, до нового урожая далеко. Скот отощал, дохнет от бескормицы, резать нет смысла. Для больного за килограммом мяса едут на базар. Кило мяса стоит столько, сколько раньше целая туша. Но едут. Даже не едут, идут пешком за тридцать-сорок километров. Ездовые лошади едва тянут ноги. Выедешь — останешься пропадать в пути. Только и успели подготовить тягло к севу. Тягло справ-

ное, но тоже ненадолго при такой нагрузке.

Если думать обо всем этом, страшно становится. Но самая великая беда — война на фронтах, конца-краю не видно. Одно утешение, одна неугасимая надежда — побеждать начали немцев, повсюду теснят их, гонят…

Сегодня с утра вроде бы погода заладилась. Облачно было, но над горами прорывалось иной раз солнце, разгуливалось небо над головой, снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается… Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега.

Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел Султанмурат, вторым шагах в двухстах — Анатай, замыкающим, почти в полуверсте, — Эркинбек. Сегодня плугари были в поле одни.

Три плугаря и великие горы впереди. Три плугаря и великая степь позади.

Председатель Тыналиев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшиеся в

аиле упряжи Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугари сами по себе — с плугами, с конями, с землею, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы было где урожай собирать, чтобы было чем насытиться людям…

Загон находился далеко от полевого стана — от юрты, в которой они жили, от стожка клеверного сена, от мешков овса, от всего того, что было теперь их домом. На полевом стане оставалась лишь старая повариха. Больше ворчит, больше жалуется, что топливо сырое, что того нет, этого нет, вместо того, чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка — большего не потребуешь. А она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. В аиле ее мало знали. Пришла откуда-то. Другие не могут бросить дома — дети, хозяйство, а она согласилась приехать на Аксай, чтобы прокормиться возле плугарей. Пусть кормится на здоровье, только бы вовремя готовила еду. А она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарям некогда. Потому как лошадь — это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахарь работает на поле сам, как лошадь, а после кормит, поит, ухаживает за

четверкой плуговых лошадей и, добираясь до юрты, валится с ног… А на рассвете снова за дело… Самое трудное встать на рассвете…

Главная забота пахаря — чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу, сохраняли тело, чтобы хватило их сил до конца весны. Это важно. Очень важно. В первый день, когда начали пахать, через каждые десять-двадцать шагов лошади останавливались передохнуть. Задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут.

Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружней берут кони, свыкаются, идут четверки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картинке в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную.

Но погода подводит. Вот уже снегом запахло, замелькали редкие белые хлопья… Значит, зима недобрала еще свое, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает. Для пахарей очень некстати…

Султанмурат успел накинуть на голову мешок, но все равно это не спасало его от снегопада. Сидя верхом на бороздовом коне в середине упряжки,

размахивая над головой кнутом, он все время открывался ветру то с одной, то с другой стороны. Снег пошел густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим ненастьем.

А плуги шли. Черные плуги — то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине…

Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих, напряженных спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело, земля намокла, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя останавливать плуги. Надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся, и пашня будет готова. Нельзя терять времени.

Плуг застревал. Султанмурат то и дело слезал с седла, счищал кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатаю и Эркинбеку, услышав их ответные голоса, сно-

ва протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло, и снова пахарь шел вперед.

А снег не переставал. Плыли черные упряжи плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, носились над полем лишь оклики плугарей:

— Ана-та-ай!

— Эркин-бе-ек!

— Султанмура-а-ат!

По лицу стекала вода, то ли талый снег, то ли пот; руки на поводьях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг о друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать и некуда, но Султанмурат понимал, что по нему, по следу его идут Анатай и Эркинбек, что втроем они — шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пашущих аксайскую землю. Только бы кони выдюжили, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им:

«Потерпите, рожденные от Камбар-Аты [16], подружней налегайте. Ведь не каждый день будет

---

**[16] Примечания: 16**

Камбар-Ата — мифический покровитель лошадей.

так тяжко. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу, чу! Потерпите, рожденные от Чолпон-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твердой земле, вам тяжко, но иначе хлеб не рождается. Старик Чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб. Очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Аксае.

Чабдар, ты мой брат, ты мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо. Не обижайся, Чабдар.

Чонтору, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне, тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара. Тебя, Чонтору, отец мой Бекбай всегда хвалил. Помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город… Писем нет от отца давно уже, это страшно, вам, лошадям, этого не понять. Когда люди на войне долго не пишут — это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда

оплакивали анатаевского отца, больше всех и больнее всех плакали Инкамал-апай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают… Чу, чу, Чонтору, я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чонтору! Держись!

И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, вы с Чабдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе уставать. Чу, чу, Белохвостый! Не подводи!

Брат мой, Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен. Я и тебя очень уважаю. Ты идешь с самого краю, и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю: когда мы закончим пахать и сеять на Аксае, когда мы будем возвращаться в аил, ты будешь идти также с краю, чтобы все видели тебя. И мы проедем мимо ее дома, и когда она выбежит на улицу, то сразу увидит тебя, Карий, брат мой. Мне так и не удалось повидаться с ней перед отъездом. Платочек ее при мне, он всегда при

мне. Он спрятан от снега и дождя. Я о ней всегда, все время думаю. Я не могу о ней не думать. Если я перестану о ней думать, все опустеет и мне неинтересно будет жить…

Чу, чу, рожденные от Камбар-Аты! Дружней налегайте, вперед, вперед! Чу! Чу!.. А снег все идет, все идет! Какой мокрый снег. Измокли мы все с головы до ног… И ветер поддувает. Хорошо, если стряпуха наша догадалась прикрыть сено попонами. А если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем — двенадцать голов? Надо было сказать ей перед отъездом, забыл, не думал, что снег повалит.

Странная она старуха, глаз у нее завидущий. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится. Какие справные, говорит, кони, хорошо кормленные. Жира, говорит, на боках в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, говорит, мясо ели до отвала. И когда варили конину в сорокаведерных котлах, то жир — зардеп, слово-то какое, — говорит, снимали сверху, зачерпывали дополна половником, уносили для больных. Тем жиром, говорит, попоить больного — сразу встанет на ноги. Вот ведь ненасытная, только о жире и думает. Как бы не сглазила лошадей.

Да ну ее! В школе же говорили, что сглаз — это вранье. Пусть себе болтает, лишь бы вовремя еду готовила. А вчера удивила, мясо горного козла сварила. Худющий козел, но все-таки. Проезжали, говорит, какие-то охотники с гор двое, завернули на огонек в юрту и вот оставили часть добычи. Спасибо тем охотникам, обычай знающие люди, выходит. Хотят, чтобы и в другой раз удача была им на охоте — первому встречному уделили полагающуюся долю. А мы, конечно, первые встречные на их пути, если они спускались с гор, вокруг никого. Скачи в горы, скачи в степь — никого не встретишь. А снег не перестает. Вот зарядил… Совсем выбились из сил…»

Лошади остановились, изнемогли… Султанмурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отекших, сдавленных ногах, как пьяный прошелся, ковыляя вокруг упряжи. И так ему сделалось больно, невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей и до копыт, тяжело, запаленно дышащих, что от жалости застонал.

А снег все падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султанмурат сбросил с головы намокший тяжелый мешок, непослушными, окоченевшими руками растягивал петли

сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чабдара, и, плача, шептал: «Простите меня, простите!» — ощущая на губах горячий, горько-соленый вкус конского пота…

— Эй, Султанмурат! Ты что там? — донесся голос Анатая, приближавшегося по борозде.

— Давай распрягай! — крикнул в ответ Султанмурат.

## 10

Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновленный белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся вполнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный Аксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами проглядывался далеко-далеко. Зато горы Великого Манасового хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли в ночи поближе — неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в Аксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу.

Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи…

Да, великое утро занималось в тот день на Аксае. На пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю обветрило.

А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший овес.

Солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам. Каждый на своей четверке. Плуги засосало во вчерашних бороздах. Втроем выворачивали каждый, очищали лемеха, смазывали колеса. А потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла споро. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные поутру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему. Втянулись в нелегкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя — почва обветрилась, вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не «поломана», не «смята». Значит, пашня качественная.

Хорош был тот день. Бывают такие дни, когда все ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были оставить; аксайский отряд действует, плуги идут, сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов, это десять лемехов. Сила. Настоящий десант! А потом посеют, заборонят поля — и тогда жди урожая! Яровой хлеб совсем неплохой хлеб. Бригадир Чекиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает, но самый вкусный хлеб из

всех хлебов. Дело пойдет. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди воспротивились, когда столько труда уходит, дожди будут, только бы там, на фронте, держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле…

Так они шли по загону. Впереди Султанмурат, за ним шагах в двухстах Анатай и почти в полуверсте Эркинбек…

Солнце пригревало все больше. И на глазах зазеленели легким налетом муравы степные пригорки. Как в сказке: едешь в один конец — зеленеет справа, едешь в другой конец — зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом. А плуги шли по Аксаю, оставляя позади гривы свежих борозд…

Вспорхнул жаворонок с земли. Зазвенел, залился неподалеку, и еще где-то запел жаворонок, и еще где-то. Султанмурат улыбнулся. Поют себе в удовольствие, ни дома у них, ни листа, ни ветки над головой, живут себе в голой степи как умеют. И довольны. Весной довольны, солнцем довольны! А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, то теперь позади.

Весна теперь не уступит своего. И работы еще много, это только начало. Ну так что ж! Вот прибудут сегодня Эргеш и Кубаткул, и тогда всем

десантом навалятся, пойдет дело, пойдет…

Погоняя упряжку, Султанмурат заметил всадника в стороне. Он проезжал мимо пашни в отдалении, поглядывая в их сторону, путь держал в сторону гор. За плечом ружье. На голове мохнатая зимняя шапка. Конь под ним рыжий, коренастый, выезженный. Ребята тоже заметили его. Стали кричать:

— Эй, охотник, заворачивай к нам!

Но охотник не откликнулся. Он проезжал мимо, не приближаясь, все время поглядывая в их сторону. Султанмурат обрадовался его появлению, остановил коней и, привстав на стременах, крикнул в ту сторону:

— Эй, охотник, спасибо за ширалгу! [17] Спасибо, говорю! За ширалгу спасибо!

Но тот так и не откликнулся. Вроде бы не слышал и не понимал, о чем речь. Вскоре он скрылся за буграми. Значит, некогда, спешит по своему делу.

А примерно через полчаса появился второй охотник. Он тоже ехал в сторону гор и тоже с ружьем. Но он проезжал другим краем, по другой стороне загона, и тоже издалека поглядывал в их

---

**[17] Примечания: 17**
Ширалга — часть добычи.

сторону, проехал молча, не завернул, не поздоровался с плугарями. А полагается свернуть с пути, пожелать пахарям здоровья и урожая. Старик Чекиш говорит — люди не те пошли. Может быть, прав он, мудрый старик Чекиш.

А потом было самое волнующее событие.

Первым услышал Анатай. Молодец. Это он закричал что есть мочи:

— Журавли! Журавли летят!

Султанмурат глянул вверх — в чистом; беспредельно синем и беспредельно бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь, журавли. Большая стая. Птицы были высоко. Но небо было еще выше. Необъятное огромное небо — и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности. Султанмурат смотрел, задрав голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал:

— Ура-а! Журавли!

Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу, как великую нежданную новость:

— Журавли! Журавли! Журавли!

Султанмурат вспомнил, что ранний прилет журавлей — хорошая примета.

— Ранние журавли — хорошая примета! — крикнул он Анатаю, обернувшись на седле. — Урожай, урожай будет!

— Что, что? — не расслышал Анатай.

— Урожай, урожай будет!

Анатай, обернувшись в сторону Эркинбека, кричал ему в свою очередь:

— Урожай! Урожай будет!

И тот отвечал им:

— Слышу, слышу! Урожай будет!

А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многоголосо, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугари заметили, что стая медленно идет на снижение. Журавли все ниже и ниже спускались к земле, их вроде бы сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султанмурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой, как видение, как сон.

— Смотри, садятся, садятся! — крикнул Султанмурат, и все трое, спрыгнув с седел, оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая.

Быстро бежали. Вовсю! Хотелось увидеть журавлей вблизи: какие они из себя? Вот будет здорово!

Ах, как хорошо бежалось Султанмурату! Земля ложилась под ногами, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу. Дух захватывало от бега и радости, и на бегу, ликуя, догоняя журавлей, подумал он, что, если журавли обронят перо, он найдет его и сохранит, подарит ей, Мырзагуль, журавлиное перо и расскажет ей все как было. Только бы догнать, только бы увидеть журавлей. Он бежал, неся в душе нахлынувшую нежность к Мырзагуль. Если бы мог, побежал бы он сейчас с журавлиным пером прямо к ней… Прямо к ней с журавлиным пером…

## 11

Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя кончик мушки с одного на второго, на третьего. Ненавистно смотрел этот зрачок, как бежали мальчишки в прорези прицела к журавлям. Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные… Небо в прицеле над ними было такое большое, а они на кончике мушки такие маленькие. Щелчком сшибить — и не будет их… Все это в одну секунду могло исчезнуть, перестать мельтешить в прицеле, стоило лишь нажать на спусковой крючок.

— Эх, здорово я их усек, сейчас бы сшиб подряд, не успели бы пикнуть, — сдерживая дыхание, проговорил тот, что целился.

— Брось, дурило! С пулей не шутят, не целься зря, — ответил ему другой, что придерживал лошадей под уздцы среди зарослей курая, в глубокой, как волчье логово, вымоине под бугром.

Целившийся промолчал, играя желваками, но мушки не снял.

— Не высовывайся, тебе говорят, — приказал

ему тот, что держал коней. — Набегаются — уйдут. Тебе-то что?

Не подчинился. Лежал, привалившись щетинистой щекой к прикладу, сладостно было ему следить в прорезь прицела за бегущими недоумками, ошалевшими от криков журавлей. Зло брало. Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то! Перещелкал бы тремя выстрелами, даже не трепыхнулись бы. Бегут и смеются! И чего, спрашивается? Бегут и смеются…

Долго бежали плугари, но когда прибежали на пригорок, увидели, что журавли снова набирали высоту… Значит, раздумали. А может быть, только показалось, что журавли садятся?

Ребята остановились, переводя дыхание. Запалились. А Султанмурат пробежал еще дальше и остановился, провожая журавлиную стаю со слезами на глазах…

Потом они вернулись и снова распахивали аксайскую землю. Хороший был день, замечательный. Пополудни приехала можара колхозная с сеном для коней. Картошки, мяса, муки, дров привез им возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать — завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки Эргеша и Кубаткула. Скажи, говорит, Султанмурату и ребятам: пусть не

расстраиваются, все решено уже, завтра десант будет в полном составе. В обязательном порядке. И еще через пару дней приедет к ним на Аксай и председатель Тыналиев. Вот такие вести привез возчик можары. Все вместе пообедали, и, когда собирались отправиться снова на пашню, стряпуха сказала Султанмурату, что хочет съездить в аил, завтра вернется с бригадиром Чекишем, что у нее в аиле какие-то срочные дела и что она должна привезти мыла для стирки. А чтобы они не остались без нее голодными, она напекла им лепешек на целый день и оставляет готовый суп, который они смогут подогреть себе. Так не хотелось Султанмурату, чтобы она уезжала, но пришлось согласиться. Не будешь же спорить, задерживать взрослого человека.

С тем пахари отправились к своим плугам. Весь остаток дня допахивали загон. К вечеру завершили. Теперь можно было окинуть взглядом — большое поле подняли. Первое поле. А сколько еще пахать впереди. Но зачин есть. Без зачина же нет продолжения.

Уже в сумерках закруглили последнюю борозду, запахали огрехи на поворотах и, недолго мешкая, перетащили плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начать с нового места новую полосу.

Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело. Пусто на стане. Стряпуха давно уехала. Ну пусть, вернется ведь завтра.

Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, поскидали их с конских шей, убрали сбрую в юрту, каждый на свое место. А лошадей, все двенадцать голов, тоже поставили на свои места у старой можары без колес, привезенной на полевой стан вместо кормушки. Да, каждого коня поставили на свое место к сену в можаре. Решили, что утром пораньше встанут, чтобы почистить коней от засохшего пота. Умылись впотьмах, потом разложили костерок в юрте и при свете костра поужинали всухомятку, разогревать сил не хватило.

Легли спать. Султанмурат уснул позже всех. Перед сном он еще раз вышел из юрты глянуть на лошадей. Кони спокойно стояли, уткнувшись мордами в сено, деловито хрумкали сухим клевером, пофыркивали с устатку. Да, спокойно стояли, голова к голове, по шесть коней с каждой стороны можары.

Погода обещала быть спокойной. Луна на ущербе, совсем мало ее осталось.

Султанмурат походил немного, почему-то ему страшно было. Безлюдье, мертвая тишина,

непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, оказывается, как страшно здесь ночью в глухой степи. Он поспешил вернуться в юрту. Умостился на своем месте и долго еще не засыпал. Лежал с открытыми глазами во тьме. Думал о разном, вспоминал. Загрустил, затосковал вдруг по дому. Как там мать без него? От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, возчик бы ему сегодня привез, да еще суюнчу [18] потребовал бы. Отдал бы все, что захотел бы он. Да только что отдавать? У него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшеницы, осенью в колхозе выдадут хлеба, вот и отдал бы. Думая об этом, он вздыхал горестно, припоминая, как Аджимурат взял с него слово, что если отец вернется с войны, то встречать его на станцию поскачут они вместе верхом на Чабдаре, он как старший впереди, а младший позади. И то, как, встретив отца, они отдадут ему Чабдара, а сами побегут рядом, а навстречу мать и много близких людей… Да, случись такое счастье, из плуга выпряг бы Чабдара и поскакал бы… Потом он во сто раз больше отработал бы…

Султанмурат тихо заплакал, потому что смутно

---

**[18] Примечания: 18**
Суюнчу — подарок за радостную весть.

понимал, что такого счастья, возможно, никогда не будет…

Потом он улыбнулся себе во тьме, вспоминая, как встретил у переступок на речке Мырзагуль. Даже сейчас он помнил прикосновение ее руки и то, как рука ее сказала: «Я рада! Я очень рада! Ты разве не чувствуешь, как я рада!» И то, как в ней он узнал тогда себя, и как был потрясен этим, и как был рад тому, что она — это он. Спит, наверно, уже Мырзагуль. А может быть, в эту минуту думает о нем. Ведь она — это он. Султанмурат нащупал ее платочек, спрятанный в кармашке гимнастерки, погладил его…

И так он забылся, заснул. Крепко уснул. Потом какой-то дурной сон навалился. Кто-то душил его, руки крутил. Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, зажала ему рот.

— Молчи, если хочешь жить! — сказал ему на ухо хрипло дышащий махоркой, сопящий человек. Он разжал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока Султанмурат сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину. Холодющий пот прошиб, и тело

стало дрожать само по себе. Что за люди эти двое в юрте, зачем они его связали?

— Ну, этот готов, — прошептал один другому. — Давай тех.

Они копошились в темноте там, где спал Анатай. Анатай вскрикнул, забарахтался, но и его скрутили. А Эркинбека ударили, кажется, по голове, он застонал и сразу утих.

Султанмурат все еще не мог понять, что происходит. Кляп распирал ему рот, он задыхался, руки сводило от веревок. В юрте стояла полная тьма. Но кто они, зачем эти люди здесь, зачем они так поступали с ними, чего они хотят, может быть, они хотят убить их? За что? Султанмурат стал рваться, метаться, и тогда один из них придавил его коленом и, стуча по голове твердым, железным пальцем, сказал негромко, но внятно:

— Брось брыкаться. Слышишь? Ты тут, кажется, главный. Мы вас связали, вы не будете отвечать, вы ни при чем. Запомнил? — говорил он, стуча то и дело железным ногтем по голове. — Будете умными — все обойдется. Когда вас найдут здесь, расскажете все как было. Какой с вас спрос! Но если что, если кто трепыхнется сейчас, прежде времени, прибью, как щенят. Душу вон! Тихо лежите. Не подохнете.

И они вышли из юрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь. Султанмурат слышал, как они возились у коновязи, что-то делали, кони испуганно перетаптывались, храпели, шарахались. А через некоторое время послышался топот многих копыт, щелканье кнута, опять какая-то ругань, и топот коней стал удаляться и вскоре совсем затих.

Только тогда дошел до Султанмурата весь ужас случившегося. Конокрады увели их плуговых коней! Обида, ярость разрывали душу. Он метался, пытаясь ослабить руки, но из этого ничего не получалось. И, задыхаясь, он стал крутить головой, выталкивая языком кляп. Во рту горело, кровоточило, распирало. И все-таки удалось наконец выплюнуть проклятый кляп изо рта. Как на свободу вырвался. Голова закружилась от притока воздуха в легкие.

— Ребята, это я! — подал он голос, приподнимая голову. — Это я! Это я говорю!

Но никто ему не ответил. Он услышал, как зашевелились Анатай и Эркинбек на своих местах.

— Ребята, — сказал он тогда, — не бойтесь. Я сейчас. Я сейчас что-нибудь придумаю. Вы только слушайте меня. Анатай, пошевелись, где ты?

Анатай замычал, заерзал, приподнимаясь с

места.

— Анатай, подожди! Будь на месте! — Султанмурат покатился к нему через ворох одежды, сбруи. — А теперь ложись спиной ко мне, подставляй свои руки. Слышишь, спиной ко мне, подставляй руки…

Теперь они лежали спиной друг к другу, и Султанмурат нащупал веревки на руках друга. Командуя Анатаю, как лечь и как повернуться, нащупал узлы. Уговаривая Анатая потерпеть, перенести боль в руках, все-таки нашел, зацепил какую-то петлю, веревка ослабла. А там Анатай сам выдрал свои руки на свободу…

## 12

Конокрады уходили не спеша. Уходили то рысью, то полугалопом, в темноте не очень-то поскачешь, да и не было необходимости уносить ноги сломя голову. Сработано чисто. И от кого бежать — от мальцов? За сто верст вокруг ни души. А мальцы лежат связанные, сопят в две дырочки. Пусть благодарят судьбу, что еще так обошлись…

Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтобы в горле не застряло… Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до пригородов Ташкента. Да там еще. Только бы добраться. А там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет нарасхват по килограммам, по граммам, люди там торговые, умелые. Сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги как увезти? Вот задача, кроме смеха! Куда столько денег! Вот это хапанули! Быстрей бы уж. Все! Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут — сгинуть нетрудно. Да и пора, давно пора уж ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют — крышка! Трибунал. Только

хрен им ишачий! Деньги будут — жизнь будет! За Ташкентом сколько еще городов и земель…

Не зря говорят — судьба. Совсем доходили уже. Ну-ка побегай по горам в мороз и стужу, пока добудешь его, архара, а добудешь — мясо паршивое по этой поре: дикое, одни жилы. Не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе. Долго не протянули бы. А тут кто бы мог подумать — как с неба свалились на Аксай эти мальцы с плугами. Сам бог послал! Есть он, есть наверху — каждому свое определил.

Брали с краю, не выбирали, лошадки все как на подбор, по два пальца жира на ребрах, таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо будет — оближешься. Есть он, есть бог наверху, есть! Послал добычу, послал удачу!..

Они уходили не спеша. Незачем было вес лошадей терять. Такие лошадки мясникам на Алайском базаре и не снятся. Выкладывай деньги, жмоты, получай!..

Вот они, красавцы, все четыре, на длинных поводьях ременных, заранее заготовленных, рысят, пофыркивают, знали бы, куда их угоняют. Угон тоже продуман. Табуном не угонишь, разбегутся. Один держит поводья в руках, сам посередке в седле, а кони по бокам на длинных поводьях, два

справа, два слева. А напарник сзади на рыжем коне, погоняет хлыстом, не дает задерживаться. Только так. Не спеша, но и не тихо. С умом, с умом требуется дело делать…

## 13

Чабдар оказался на месте. На Чабдара вскочил Султанмурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать:

— Анатай, скачи в аил! Не задерживайся! Скачи! Зови наших! А я придержу их! Я догоню их. Только ты быстрей! А ты, Эркинбек, будь здесь и ни на шаг никуда. Ясно? Скачи, Анатай, скачи!..

А сам унесся на Чабдаре в ту сторону, куда ушли конокрады, судя по топоту угона.

Вперед, Чабдар, брат мой Чабдар, вперед, догони их, догони! Я не упаду, я не расшибусь. Не бойся за меня. Вперед, Чабдар! Если погибнем, то вместе, только скачи быстрей, быстрей, я понимаю — темно. Страшно, и тебе страшно. И все равно вперед. Быстрей, быстрей! Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется. Только бы не упустить. Вперед, Чабдар, вперед… Не упади, Чабдар, не упади…

## 14

— Погоня! — испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня.

И они припустили, пошли галопом, потом вскачь. Теперь прохлаждаться было некогда. Теперь или пан, или пропал! Теперь бежать. Теперь уходить без оглядки.

Ведущий стянул поближе в кулаке поводья угоняемых коней, прилег к седлу. А напарник, нахлестывая сзади кнутом, погоняя что есть мочи, торопил. От топота множества бегущих копыт земля загудела. Ветер засвистел в ушах. Ночь стремительно летела навстречу черной, бескрайней, гремящей рекой.

— Стой! Не уйдете, сто-ой! — кричал им Султанмурат, все ближе и ближе настигая их кучу. Но его голос доносился лишь урывками в бешеном гуле скачки.

Чабдар! Великий конь Чабдар! Отцовский конь Чабдар! Как он шел! Точно бы понимал, что не может не догнать и не может, не имеет права упасть в этой страшной скачке по Аксаю среди ночи.

Султанмурат быстро поравнялся с конокрада-

ми, пошел краем, им-то с лошадьми на поводу не так легко было уходить.

— Отдайте наших лошадей! Отдайте! Мы на них пашем! — кричал Султанмурат.

Напарник повернул на скаку, кинулся к нему зверем, хотел сшибить с коня. Но тот увильнул. Молодец Чабдар, молодец!

Уходя от преследующего конокрада, Султанмурат выскочил вперед, зашел с боку кучи и стал теснить, заворачивать ведущего с конями.

— Назад! Назад! — кричал он.

— Уйди, убью! — орал тот, разворачивая коней, но Султанмурат снова выходил вперед, снова теснил, мешал прямому ходу.

И так они шли. Напарник всякий раз отгонял его, а он выходил то с одной, то с другой стороны, встревал на пути, мешал угону.

А потом прогремел выстрел. Султанмурат не услышал его, увидел лишь яркую вспышку и успел поразиться освещенному на миг огромному пространству Аксая и черной куче лошадей и людей, дико скачущих мимо него…

А сам, падая с лошади, отлетел в сторону, покатился кубарем, обжигаясь о каменистую твердь, и, вскочив на ноги, сразу понял, что конь под ним не просто споткнулся. Лошадь билась на боку,

колотясь головой о землю, хрипела и отчаянно сучила ногами, точно бы все еще порывалась бежать…

Истошно крича от боли и ярости, сам не ведая того, что делает, Султанмурат кинулся вслед за конокрадами:

— Сто-ой! Не уйдете! Догоню! Вы убили Чабдара! Отцовского коня Чабдара!

Он бежал не помня себя, он бежал в ярости и негодовании, он бежал и бежал за ними, словно бы мог догнать их, остановить и вернуть назад. Угон уходил, стучали копыта во тьме, угон уходил, отрываясь все дальше, а он не мог и не желал примириться — пытался догнать. Он бежал, казалось ему, охваченный пламенем, все тело его саднило, особенно лицо и руки, ободранные в кровь. Чем быстрей и дольше бежал он, тем нестерпимей горели лицо и руки…

Потом он упал, покатился по земле, захлебываясь, превозмогая удушье. Он не знал, куда деть лицо и куда деть руки от невыносимой боли. Он корежился, вопил, стонал, ненавидя эту ночь, ненавидя этот яркий, возникающий всплесками огненный свет в глазах…

Он слышал, как постепенно удалялся, угасал топот угона. Все слабей и глуше вздрагивала

земля, поглощая далекий бег копыт, и вскоре все стихло вокруг, замерло…

И тогда он встал, побрел назад, рыдая громко и горько. Никак и ничем не мог он утешить себя, и некому было утешить его в безлюдном ночном Аксае. Плача, вспомнил он, как обещал Аджимурату взять его с собой, когда отец вернется с войны. Нет, теперь уж им с Аджимуратом не придется скакать на станцию встречать отца с фронта на отцовском коне Чабдаре. И теперь не посеять им на Аксае столько хлеба, сколько требовалось. И не будет теперь того дня, торжественного и радостного, когда они вернутся с аксайских полей, волоча за собой в упряжках плуги, сияющие зеркальными, напаханными лемехами. И не выйдет она на улицу порадоваться, не увидит его въезд в аил и не восхитится им, не подивится ему… Сокрушались мечты. Оттого и плакал он…

## 15

Принюхиваясь на бегу и все явственней ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцым скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуждающий его дух. То был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой. Он перебился зиму — пока бродили на Аксае сайгаки, теперь они ушли с Аксая в Большие пески на расплод. Молодые волчьи стаи держались в горах, перехватывая ослабевших архаров на тропах, а он переживал самую тяжкую пору. Ждал появления сурков после зимней спячки. Со дня на день ждал, с часу на час. Вот-вот должны были сурки потянуться на солнце. То было бы спасением. Как долго лежали сурки в земле, в своих глубоких, недоступных норах! Как голодно и тоскливо было жить волку в эти дни на Аксае!

Волк бежал на манящий запах крови, испытывая закипающую глухую злобу, в опасении, как бы кто другой не завладел добычей… То была большая еда, то была конина. Запах пота и мяса дурманил, кружил голову! За всю свою жизнь раза три или четыре удавалось ему вместе со

стаей загонять лошадей.

Волк бежал, роняя слюну из полураскрытой пасти, волк бежал, испытывая острые схватки в пустом желудке. Волк бежал белесой скачущей тенью в сереющей мгле предрассветной ночи.

Как ни хотелось волку с налета кинуться на добычу, инстинкт сработал — переборол себя, сделал круг поодаль. И тут он оцепенел — человек оказался возле убитой лошади. Человек привстал испуганно.

— Эй! — вскинулся Султанмурат и притопнул ногой.

Волк отпрянул, неохотно потрусил в сторону, туго зажав хвост между ногами. Надо было уходить. Здесь человек. Человек мешал завладеть добычей. Отбежав немного, волк резко остановился и, глухо рыча, обернулся к человеку. Сизым злобным всполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться.

Султанмурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чабдара уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотав вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были его оружием.

Волк подошел еще ближе, прижался к земле, вздыбив загривок, и замер перед прыжком, как сжатая пружина.

Султанмурат первый раз в жизни отчетливо услышал свое сердце — оно обозначилось в груди напряженно сжимающимся комом…

Султанмурат стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой наотмашь…

*С. Байтик. Май 1975 г.*

# Прощай, Гульсары!

# 1

На старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары тоже был старым конем, очень старым…

Дорога взбиралась на плато томительно долго. Среди серых, пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом жара стоит, как в аду.

Для Танабая этот подъем всегда был наказанием. Не любил он медленной езды, ну просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его, нахлестывая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряженной быком, спрыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шел яростно, как в атаку, и останавливался, только поднявшись на плато. Там, хватая ртом воздух, ждал ползущую внизу колымагу. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Но хоть и так, а все же лучше, чем тащиться на быках.

Покойный Чоро любил, бывало, подтрунить над чудачеством друга. Он говорил:

— Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет?

От нетерпения. Ей-богу. Все тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъем из Александровки, и тот тебе невмоготу. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь — и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Все равно сидишь там наверху, дожидаешься других. И в мировую революцию один не вскочишь, учти, будешь ждать, пока все подтянутся.

Но это было давно, очень давно.

На этот раз Танабай и не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит, к старости. Ехал ни скоро, ни тихо. Ехал, как ехалось. Теперь он всегда отправлялся в путь один. Тех, кто ватагой ходил с ним когда-то по этой шумной дороге, уже не сыщешь. Кто погиб на войне, кто умер, кто сидит дома, век свой доживает. А молодежь ездит на машинах. На жалкой кляче тащиться с ним не будет.

Колеса стучали по старой дороге. Долго еще стучать им. Впереди лежала степь, а там, за каналом, надо было еще ехать предгорьем.

Он уже давно стал замечать, что конь вроде сдает, слабеет. Но, занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая

беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезет, дотянет…

Да и откуда он мог знать, что его старый иноходец Гульсары, прозванный так за свою необыкновенную светло-желтую масть [19], последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъем и сейчас вез его последние версты? Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, кренилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту и коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым?

Глухо и затяжно ныло давно надсаженное сердце коня, дышать в хомуте становилось все трудней. Резала, сбившись набок, шлея, а с левой стороны под хомутом постоянно кололо что-то острое. Может, это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из войлочной подбивки хомута. Открывшаяся ранка на старой мозолистой намятине плеча нестерпимо жгла и зудела. И ноги все больше тяжелели, точно он шел по мок-

---

**[19] Примечания: 19**
Гульсары — желтый цветок, лютик.

рому вспаханному полю.

Но старый конь все же шел, пересиливая себя, а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать. Колеса стучали по старой дороге. Гульсары пока еще шел все той же привычной иноходью, все тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуверенно затрусил по лугу за своей матерью — большой гривастой кобылой.

Гульсары был иноходцем от рождения, и за его знаменитую иноходь выпало ему в жизни много хороших и много горьких дней. Раньше никому бы не пришло в голову запрячь его в телегу, это было бы кощунством. Но, как говорится, если беда свалится на коня — конь будет взнузданным воду пить, если беда свалится на молодца — молодец и вброд пойдет в сапогах.

Все это было, осталось далеко позади. Теперь иноходец шел к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта все время была от него на расстоянии одного шага.

Колеса стучали по старой дороге.

Ощущение неустойчивости земной тверди под копытами смутно всколыхнуло в угасшей памяти коня те давние летние дни, тот мокрый зыбкий луг в горах, тот удивительный и невероятный мир, в котором солнце ржало и скакало по горам, а он, глупыш, пускался вдогонку за солнцем через луг, через речку, через кусты, пока косячный жеребец со злобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда, в те давние дни, табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать — большая гривастая кобыла — превращалась в теплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Соски ее становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлебывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое это было упоительное, пьяное молоко! Весь мир — солнце, земля, мать — умещался в глотке молока. И, уже насытившись, можно было сделать еще глоток, потом еще и еще…

Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро все изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам, оно всходило строго на востоке и неуклонно шло на запад, табуны

перестали ходить вверх ногами, под их копытами истоптанный луг чавкал и темнел, а камни на отмели цокали и лопались. Большая гривастая кобыла оказалась строгой матерью, она больно кусала его за холку, когда он слишком надоедал. Молока уже не хватало. Надо было есть траву. Начиналась та жизнь, которая тянулась долгие годы и которой теперь подходил конец.

За всю свою долгую жизнь иноходец никогда не возвращался в то ушедшее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седоками, а дорогам все не было конца. И только теперь, когда солнце вновь стронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его зарябило и замутилось, ему снова почудилось то лето, которое так долго не возвращалось. Те горы, тот мокрый луг, те табуны, та большая гривастая кобыла стояли сейчас перед его глазами в странном зыбком мерцании. И, весь напрягаясь, вытягиваясь, он отчаянно заработал ногами, чтобы, вырвавшись из-под дуги, выскочив из хомута и оглобель, вступить в этот прошлый, вдруг снова открывшийся ему мир. Но обманчивое видение всякий раз отодвигалось, и это было мучительно. Мать манила его, как в детстве, тихим ржанием, табуны проносились, как в

детстве, задевая его боками и хвостами, а у него не хватало сил преодолеть мерцающую мглу метели — она разыгрывалась вокруг все сильнее, она секла его жесткими хвостами, она забивала ему снегом глаза и ноздри, в жарком поту он содрогался от холода, и тот недосягаемый мир бесшумно утопал, исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река, убежали табуны, и лишь смутным пятном проступала впереди тень матери — большой гривастой кобылы. Она не хотела его оставлять. Она звала его. Он заржал изо всех сил, рыдая, но голоса своего не услышал. И все исчезло, исчезла и метель. Колеса перестали стучать. Перестала щемить ранка под хомутом.

Иноходец остановился, зашатался из стороны в сторону. Глазам было больно смотреть. Странный бесконечный гул стоял в голове.

Танабай бросил вожжи на передок, неловко слез с телеги, расправил затекшие ноги и хмуро подошел к коню.

— Эх, будь ты неладен! — тихо выругался он, глядя на иноходца.

Тот стоял, вывалив из хомута огромную голову на длинной, исхудавшей шее. Ребра иноходца туго ходили вверх и вниз, вздымая худые, дряблые бока под маклаками. Некогда светло-желтый,

золотой, он был теперь бурым от пота и грязи. Сизые потеки пота мыльными полосами спускались с костистого крестца на брюшину, на ноги, на копыта.

— Вроде бы я не гнал, — пробормотал Танабай и засуетился. Ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздал коня. Удила были в горячей липкой слюне. Рукавом шубы отер иноходцу морду и шею. Потом кинулся к телеге — собрать остатки сена, наскреб пол-охапки, бросил к ногам коня. Но тот не притронулся к корму, его била мелкая дрожь.

Танабай поднес иноходцу клок сена:

— На, бери, ешь, ну что же ты!

Губы иноходца шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облезлыми складками век глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома.

Танабай растерянно огляделся по сторонам: вдали — горы, окрест — голая степь, и на дороге никого не видно. В эту пору года проезжие здесь — редкость.

Старый конь и старый человек стояли одни на пустынной дороге.

Был конец февраля. Снег уже сошел с равнин, только по оврагам да камышовым буеракам оставались еще в затаенных логовах зимы волчьи хребтины последних сугробов. Ветер доносил слабый запах лежалого снега, и земля была еще смерзшаяся, сизая, не ожившая. Бесприютна и уныла каменная степь в конце зимы. От одного ее вида у Танабая захолодело внутри.

Вскинув всклокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце зависало средь облаков над краем земли. И уже сочился по горизонту неяркий, дымный закат. Непогоды ничто не предвещало, а все же было холодно и жутковато.

«Знал бы, не выезжал лучше, — сокрушался Танабай. — А теперь ни туда ни сюда, стой средь чистого поля. И коня понапрасну загублю».

Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень. Разве же можно так в эту-то пору?

Танабай поднялся на пригорок, чтобы взглянуть, не покажется ли вдали попутная или встречная машина. Но ни в той, ни в другой стороне ничего не было видно и слышно. Он побрел

назад к телеге.

«Зря я выехал», — опять подумал Танабай, уже в который раз упрекая себя за вечную спешку. Он злился от досады и на самого себя, и на все то, что вынудило его поторопиться с отъездом из дома сына. Конечно, надо было переночевать и дать коню передохнуть. А он?..

Танабай сердито махнул рукой. «Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы! — оправдывался он перед собой. — Разве же можно так говорить с отцом мужа? Какой я ни есть, а все же отец. Ишь ты, зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунщиках проходил, к старости выгнали... Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему: откажись от отца — и откажется. Тряпка, а тоже в начальство лезет. Эх, что там говорить? Не тот народ пошел, не тот».

Танабаю стало жарко, он расстегнул ворот рубашки и, трудно дыша, начал ходить вокруг телеги, забыв про коня, про дорогу, про наступающую ночь. И никак не мог успокоиться. Там, в доме сына, он сдержался, посчитал ниже своего достоинства пререкаться с невесткой. А сейчас вдруг вскипел, сейчас бы он все, о чем горько думал по дороге, высказал ей: «Не ты принимала

меня в партию, и не ты выгоняла. Откуда тебе знать, невестка, что тогда было? Теперь обо всем судить легко. Теперь всяк грамотный, почет и уважение тебе. А с нас спрашивали, да как еще спрашивали! За отца, за мать, за друга и недруга, за себя, за собаку соседскую, за все на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь! Это моя печаль, невестушка. Это ты не тронь!»

— Это ты не тронь! — продолжал повторять он вслух, топчась у телеги. — Это ты не тронь! — твердил он все одно и то же. И самое обидное, унизительное было в том, что, кроме этого «не тронь», вроде бы и сказать было нечего.

Он все ходил и ходил вокруг телеги, пока не вспомнил, что надо что-то делать, — не оставаться же здесь на всю ночь.

Гульсары стоял в упряжи все так же неподвижно, ко всему безучастный, сгорбившись, подобрав ноги в кучу, — казалось, одеревенел, умер.

— Ты что? — Танабай подскочил к нему и услышал тихий протяжный стон коня. — Задремал? Худо тебе, старина? Плохо? — Он торопливо пощупал холодные уши иноходца, сунул руку под гриву. Там тоже было холодно и влажно. Но больше всего его испугало то, что он не ощутил привычной тяжести гривы. «Совсем постарел, ис-

секлась грива, легкая, как пушок. Все мы стареем, всем нам один конец», — с горечью подумал он. И встал в нерешительности, не зная, что делать. Если бросить коня с телегой и уйти пешком, то к полуночи он мог бы добраться до дома, до своей сторожки в ущелье. Жил он там на базе с женой, по соседству со смотрителем водхоза, обитавшим в полутора километрах выше по речке. Летом Танабай присматривал за сенокосом, зимой за скирдами, чтобы чабаны не растащили и не потравили сено раньше срока.

Минувшей осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, и говорит ему:

— Идите, аксакал, на конюшню, мы там коня вам другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдет.

— Это какого же? — насторожился Танабай. — Опять клячу какую-нибудь?

— Там вам покажут. Буланый такой. Вы должны знать, говорят, ездили на нем когда-то.

Танабай отправился на конюшню, и, когда увидел во дворе иноходца, сердце у него больно сжалось. «Вот и свиделись, выходит, снова», — сказал он про себя старому, заезженному вконец коню. А отказаться не хватило духу. Увел коня

с собой.

Дома жена едва узнала иноходца.

— Танабай, неужели тот Гульсары? — удивилась она.

— Он, он самый, что ж тут такого… — пробурчал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза.

Им не стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с иноходцем. Был за Танабаем грех по молодости, был. И чтобы избежать нежелательного оборота разговора, он грубовато сказал ей:

— Ну, что стоишь, согрей мне поесть. Голодный я как собака.

— Да вот смотрю и думаю, — ответила она, — что значит старость. Не скажи ты мне, что это тот самый Гульсары, и не признала бы.

— Что ж тут удивляться? Думаешь, мы с тобой лучше выглядим! Всему свое время.

— Вот и я ж об этом. — Она задумчиво покачала головой и, добродушно посмеиваясь, сказала: — Может, ты опять по ночам будешь разъезжать на своем иноходце? Разрешу.

— Куда там, — неловко отмахнулся он и повернулся к жене спиной. На шутку бы шуткой ответить, а он от смущения полез под крышу сарая за сеном. Долго там возился. Думал, забыла

она про то, выходит, нет.

Из трубы валил дым, жена грела на ужин остывший обед, а он все возился с сеном, пока она не крикнула из дверей:

— Слезай, а то еда опять остынет.

Больше она не заговаривала о давнем, да и к чему?..

Всю осень и зиму Танабай выхаживал иноходца, кормил теплыми отрубями, резаной свеклой. Зубы-то у Гульсары были на исходе, одни пеньки оставались. И, казалось, поставил уже коня на ноги, так надо же случиться такому. Как теперь с ним быть?

Нет, не хватало у него духу кинуть коня среди дороги.

— Что ж, Гульсары, так и будем стоять? — Танабай толкнул иноходца рукой, тот закачался, переступил ногами. — А ну, постой, я сейчас.

Он поднял кнутовищем со дна телеги порожний мешок, в котором привозил невестке картошку, достал оттуда узелок. Жена испекла хлеба на дорогу, а он и забыл о нем, не до еды было. Танабай отломил половину лепешки, мелко накрошил ее в подол бешмета, поднес крошево коню. Гульсары шумно вдохнул запах хлеба, но есть не смог. Тогда Танабай стал кормить его с ладони. Затолкал ему

в рот несколько кусочков, и конь начал жевать.

— Ешь, ешь, может, и дотянем, а? — Танабай повеселел. — Потихоньку, полегоньку, может, доберемся, а? А там не страшно, там мы со старухой выходим тебя, — приговаривал он. На его дрожащие руки стекала с лошадиных губ слюна, а он радовался, что слюна становится теплее.

Потом он взял иноходца за повод.

— А ну пошли! Нечего стоять. Пошли! — приказал он решительно.

Иноходец тронулся с места, телега заскрипела, колеса медленно застучали по дороге. И они медленно пошли — старый человек и старый конь.

«Совсем ослаб, — думал Танабай про коня, шагая по обочине. — Сколько же тебе лет, Гульсары? Двадцать, а то и больше. Пожалуй что больше…»

## 2

Первый раз встретились они после войны. Побывал ефрейтор Танабай Бакасов и на Западе, и на Востоке, демобилизовался после капитуляции Квантунской армии. В общей сложности почти шесть лет прошагал он по солдатским дорогам. И ничего, Бог миловал, один раз контузило в обозе, другой раз ранило осколком в грудь, месяца два лежал в госпитале и снова догнал свою часть.

А когда возвращался домой, станционные торговки называли его стариком. Ну, это больше в шутку. Танабай не очень-то обижался на них. Не молодой он был, конечно, но и не старый, это с виду будто старый, побурел порядком за войну, седина замелькала в усах, но телом и духом он был еще крепкий. Через год жена родила дочь, а потом вторую. Обе уже замужем, с детьми. Частенько наезжают летом. Муж старшей — шофер. Посадит всех в кузов — и в горы, к старикам. Нет, не в обиде они на дочерей и зятьев, а вот сын не вышел. Но это разговор другой…

А тогда в пути, после победы, казалось, что жизнь-то настоящая только начинается. Так хорошо было на сердце. На больших станциях

эшелон встречали и провожали духовые оркестры. Дома жена ждала, сынишке восьмой год шел, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже не в счет. Хотелось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представлялось оно ясным, простым: надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить, в общем — жить. И этому уже ничто больше не должно помешать, — потому что все прошлое как бы отдано было в залог, что теперь-то наконец начнется та настоящая жизнь, к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне.

Только оказалось, спешил Танабай, слишком спешил — в залог будущего надо было отдать еще годы и годы.

Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом сноровку и, дорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал сплеча так, что кузнец едва успевал поворачивать под молотом раскаленный кусок железа. Ему и сейчас еще слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды, женщины ходили в галошах на босу ногу, детишки не знали, что

такое сахар, колхоз весь в долгах сидел, счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухал им, наковальня звенела, разлетались синими брызгами искры. «Уг-ха, уг-ха! — выдыхал он, вздымая и опуская молот, и думал: — Все уладится, главное — победили, главное — победили!» А молот вторил: «Победили, победили, дили, дили, дили!» И не только он, в те дни все жили воздухом победы, как хлебом.

А потом Танабай пошел в табунщики, уехал в горы. Чоро его уговорил. Покойный Чоро был тогда председателем колхоза, он всю войну председательствовал. В армию его не взяли из-за больного сердца. Вроде и дома он сидел, а постарел здорово. Танабай это сразу заметил, когда вернулся.

Вряд ли кто другой уговорил бы его сменить кузню на табун. Но Чоро был его давнишним другом. Вместе они когда-то начинали комсомольцами агитировать за колхоз, вместе кулаков раскулачивали. Особенно он, Танабай, старался тогда. Не щадил он тех, кто попадал в список на раскулачивание…

Уговорил его Чоро, приехав к нему в кузницу, и, кажется, очень был доволен этим.

— А я боялся, что ты прирос к молоту, не ото-

рвешь, — говорил он, улыбаясь.

Больной был Чоро, тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щеках. Время еще было теплое, но Чоро и летом ходил в своей неизменной фуфайке.

Сидели они, опустившись на корточки, у арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось Танабаю, каким был Чоро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный, добрый нрав. А Танабаю не нравилась его доброта. На собраниях он, бывало, вскакивал и прорабатывал Чоро за недопустимую мягкотелость в классовой борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Все, что слушал на громких читках, наизусть повторял. Иной раз самому становилось страшно от своих слов. Зато здорово получалось.

— Понимаешь, был я третьего дня в горах, — рассказывал Чоро. — Старики спрашивают, все ли солдаты вернулись? Да все, говорю, кто в живых остался. «А когда думают браться за работу?» Работают уже, отвечаю, кто на поле, кто на стройке, кто где. «Это и мы знаем. А табуны кому водить? Будут ждать, пока мы помрем, так нам немного уже осталось». Стыдно мне стало. Понимаешь, к

чему разговор ведут? Стариков этих мы в войну послали в горы табунщиками. С тех пор они там. Не тебе говорить, дело это не стариковское. Вечно в седле, ни днем ни ночью покоя. А в зимние ночи как! Помнишь Дербишбая, тот так и окоченел в седле. А они ведь и коней объезжали — армии нужны были кони. Попробуй на седьмом десятке лет, чтоб потаскал тебя как-нибудь сатана по горам да по долам. Костей не соберешь. Спасибо им и на том, что выстояли. А фронтовики вот вернулись и нос воротят, культуры понавидались за границей, в табунщики уже не желают. Зачем, мол, мне скитаться по горам? Вот как получается. Так что выручай, Танабай. Ты пойдешь, тогда и других заставим.

— Хорошо, Чоро, попробую, поговорю с женой, — отвечал Танабай. А сам думал: «Жизнь-то какая прошумела над головой, а ты, Чоро, все такой же. Сгораешь от своей доброты. Может, это и хорошо. Всякое повидали за войну, нам бы всем добрее быть. Может, это и есть самое верное в жизни?»

На том они было и разошлись.

Танабай пошел к себе в кузницу. Но Чоро вдруг окликнул его:

— Постой, Танабай. — Он подъехал к нему на

коне, склонился на луку седла, заглядывая в лицо. — Ты, случаем, не обижаешься? — спросил негромко. — Понимаешь, времени никак не выкрою. Посидеть хотелось, поговорить по душам, как бывало. Сколько лет не виделись. Думал, кончится война, легче станет, а забот не убавляется. Иной раз глаз не сомкнешь, всякие мысли лезут в голову. Как сделать, чтобы хозяйство поднять, народ накормить и чтобы планы все выполнить. И люди уже не те, жить хотят лучше…

Но им так и не удалось потолковать по душам, так и не нашли они случая посидеть наедине. А время шло, потом было уже поздно…

Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуне старого Торгоя буланого жеребчика-полуторалетку.

— В наследство что оставляешь, аксакал? Табун-то не ахти, а? — уязвил Танабай старого табунщика, когда лошади были пересчитаны и выгнаны из загона.

Торгой был сухонький старичок без единой волосинки на сморщенном лице, сам с локоток, как подросток. Большая косматая баранья шапка сидела на нем, словно гриб. Такие старики обычно легки на подъем, занозисты и горласты.

Но Торгой не вспылил.

— Какой есть, табун как табун, — невозмутимо ответил он. — Хвалиться особенно нечем, погоняешь — увидишь.

— Да я так, отец, к слову, — примирительно промолвил Танабай.

— Один есть! — Торгой сдвинул с глаз нависшую шапку и, привстав на стременах, показал рукояткой камчи. — Вон тот буланый жеребчик, что с правого края пасется. Далеко пойдет.

— Это который — вон тот, круглый, как мяч? Что-то мелковат с виду, поясница короткая.

— Поздныш он. Выправится — ладный будет.

— А что в нем? Чем он хорош?

— Иноходец от роду.

— Ну и что?

— Таких мало встречал. В прежние времена ему цены не было бы. За такого в драках на скачке головы клали.

— А ну глянем! — предложил Танабай.

Они пришпорили коней, пошли краем табуна, отбили буланого в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик не прочь был пробежаться. Он весело тряхнул челкой, фыркнул и пошел с места, как заводной, четкой, стремительной иноходью, описывая большой полукруг, чтобы

вернуться к табуну. Увлеченный его бегом, Танабай закричал:

— О-о-о, смотри, как идет! Смотри!

— А ты как думал, — задорно отозвался старый табунщик.

Они быстро рысили вслед за иноходцем и кричали, как маленькие дети на байге. Голоса их словно бы подстегивали жеребчика, он все убыстрял и убыстрял бег, почти без напряжения, без единого сбоя на скач, шел ровно, как в полете.

Им пришлось пустить коней в галоп, а тот продолжал идти в том же ритме иноходи.

— Ты видишь, Танабай! — кричал на скаку Торгой, размахивая шапкой. — Он на голос чуткий, смотри, как подпадает на крик! Айт, айт, ай-та-а-ай!

Когда буланый жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго еще не могли угомониться, проезжая своих разгоряченных лошадей.

— Ну спасибо, Торгой-аке, хорошего коня вырастил. На душе веселей стало.

— Хорош, — согласился старичок. — Только ты смотри, — вдруг посуровел он, скребя в затылке. — Не сглазь. И прежде времени не болтай. На хорошего иноходца, как на красивую девку,

охотников много. Девичья судьба какая: попадет в хорошие руки — будет цвести, глаз радовать, попадет к какому-нибудь дурню — страдать будешь, глядя на нее. И ничем не поможешь. Так и с хорошим конем. Загубить просто. Упадет на скаку.

— Не беспокойся, аксакал, я ведь тоже разбираюсь в этом деле, не маленький.

— Вот то-то. А кличка его — Гульсары. Запомни.

— Гульсары?

— Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить. Это она так прозвала его. Полюбила. Тогда он стригунком был. Запомни: Гульсары.

Словоохотливым оказался старичок Торгой. Всю ночь наказы давал. Танабай терпеливо выслушивал.

Провожал он Торгоя и жену его верст семь от стойбища. Оставалась пустая юрта, в которой он должен был поселиться с семьей. В другой юрте поселится его помощник. Но помощника еще не подобрали. Пока он был один.

На прощанье Торгой снова напомнил:

— Буланого пока не тронь. И никому не доверяй. Весной сам объезжай его. Да смотри, осторожней. Как пойдет под седлом, сильно не гони. Задергаешь, собьется с иноходи, испортишь коня. Да

смотри, чтобы в первые дни не опился сгоряча. Вода на ноги упадет, мокрецы пойдут. А когда выездишь — покажешь, если не умру…

И уехал Торгой со своей старухой, оставив ему табун, юрту, горы, уводя с собой верблюда, навьюченного пожитками…

Если бы знал Гульсары, сколько разговора шло о нем и сколько еще будет и к чему это все приведет!..

Он по-прежнему вольно ходил в табуне. Вокруг было все то же, те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин — в серой шинели и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой, но громкий и властный. Табун к нему вскоре привык. Пусть себе носится вокруг, если нравится.

А потом пошел снег. Он выпадал часто и долго лежал. Лошади разгребали снег копытами, чтобы добраться до травы. Хозяин почернел лицом, и руки его задубели от ветров. Теперь он ходил в валенках, кутался в большую шубу. Гульсары оброс длинной шерстью, и все же ему было холодно, особенно по ночам. В морозные ночи табун сбивался в затишке в плотную кучу и стоял так, индевея, до восхода солнца. Хозяин тут же топтался на коне, хлопал рукавицами, растирал лицо.

Иногда исчезал и снова появлялся. Лучше было, когда он не отлучался. Крикнет он или крякнет от мороза — табун вскинет головы, навострит уши, но тут же, убедившись, что хозяин рядом, задремлет под шорох и посвист ночного ветра. С той зимы Гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь.

Забуранило однажды ночью в горах. Сыпал колкий снег. Он набивался в гриву, тяжелил хвост, залеплял глаза. Неспокойно было в табуне. Лошади жались друг к другу, дрожали. Старые кобылицы тревожно храпели, загоняя жеребят в середину табуна. Они оттеснили Гульсары на самый край, и он никак не мог пробиться в кучу. Стал брыкаться, расталкивать других, оказался вовсе в стороне, и тут ему здорово досталось от косячного жеребца. Тот давно уже колесил вокруг, пахал снег крепкими ногами, сбивал табун в кучу. Иногда он бросался куда-то в сторону, угрожающе пригнув голову и прижав уши, пропадал в темноте, слышался только его храп, и снова прибегал к лошадям, злой и грозный. Заметив отошедшего в сторону Гульсары, он налетел на него грудью и, развернувшись, со страшной силой ударил его задними копытами по боку. Это было так больно, что Гульсары чуть не задохнул-

ся. Внутри у него что-то ухнуло, он взвизгнул от удара и едва устоял на ногах. Больше он не пытался своевольничать. Смирно стоял, прибившись с края табуна, с ноющей болью в боку и обидой на свирепого жеребца. Лошади приутихли, и тут он услышал смутный тягучий вой. Он никогда не слышал волчьего воя и почувствовал, как все в нем на миг приостановилось и заледенело. Табун дрогнул, напрягся, прислушиваясь. Все стихло. Но тишина эта была жуткая. Снег все сыпал, с шорохом налипая на вскинутую морду Гульсары. Где хозяин? Он так нужен был в эту минуту, хотя бы голос его услышать, вдохнуть дымный запах его шубы. А его нет. Гульсары покосил глазами в сторону от себя и оцепенел от страха. Сбоку точно бы мелькнула какая-то тень, пластаясь во тьме по снегу. Гульсары резко отпрянул, и табун тотчас же шарахнулся, сорвался с места. С диким визгом и ржанием обезумевшие лошади понеслись лавиной в кромешную тьму. И не было уже такой силы, которая могла бы их остановить. Лошади рвались вперед изо всей мочи, увлекая друг друга, как камни горного обвала, сорвавшиеся с крутизны. Ничего не понимая, Гульсары мчался в жаркой, бешеной скачке. И вдруг раздался выстрел, затем прогрохотал второй. Лошади

услышали на бегу яростный крик хозяина. Крик раздался где-то сбоку и, не стихая, пошел им наперерез и затем оказался впереди. Они настигали теперь этот неумолкавший голос, он вел их за собой. Хозяин был с ними. Он скакал впереди, рискуя сорваться в любую минуту в расщелину или в пропасть. Он кричал уже вполсилы, потом стал хрипеть, но продолжал подавать голос: «Кайт, кайт, кайта-а-айт!» И они бежали вслед, спасаясь от преследующего их ужаса.

К рассвету Танабай пригнал табун на старое место. И только тут лошади остановились. Пар валил над табуном густым туманом, лошади тяжело водили боками и все еще дрожали от пережитого испуга. Горячими губами хватали они снег. Танабай тоже ел снег. Сидел на корточках и пригоршнями совал в рот белые холодные комки. Потом вдруг будто замер, уткнувшись лицом в ладони. А снег все сыпал сверху, таял на горячих лошадиных спинах и стекал вниз мутными, желтыми каплями…

Сошли глубокие снега, открылась, зазеленела земля, и Гульсары быстро набирал тело. Табун полинял, залоснился новой шерстью. Зимы и бескормицы будто и в помине не было. Лошади не помнили об этом, помнил об этом человек.

Помнил стужу, помнил волчьи ночи, помнил, как застывал в седле, как кусал губы, чтобы не заплакать, отогревая у костра закоченевшие руки и ноги, помнил весенний гололед, свинцовой коростой сковавший землю, помнил, как гибли тогда слабые в табуне, как, спустившись с гор, не поднимая глаз, подписывал он в конторе акты о падеже лошадей и как, взорвавшись вдруг, орал и стучал кулаком по столу председателя:

— Ты на меня не смотри так! Я тебе не фашист! Где сараи для табунов, где корм, где овес, где соль? На одном ветру держимся! Разве же так велено нам хозяйствовать? Посмотри, в каком рванье мы ходим! Посмотри на наши юрты, посмотри, как я живу! Хлеба досыта не едим. На фронте и то в сто раз лучше было. А ты еще смотришь на меня, будто я сам передушил этих лошадей!

Помнил страшное молчание председателя, его посеревшее лицо. Помнил, как ему стыдно стало своих слов и как он начал извиняться.

— Ну, ты, ты прости меня, я погорячился, — запинаясь, выдавил он из себя.

— Это ты должен простить меня, — сказал ему Чоро.

И еще больше стало ему стыдно, когда председатель, вызвав кладовщицу, распорядился:

— Выдай ему пять кило муки.

— А как же ясли?

— Какие ясли? Вечно ты все путаешь! Выдай! — резко приказал Чоро.

Танабай хотел было отказаться наотрез, скоро, мол, молоко пойдет, кумыс будет, но, глянув на председателя и разгадав его горький обман, заставил себя промолчать. Потом он всякий раз обжигался лапшой из этой муки. Бросал ложку:

— Ты что, спалить меня собираешься, что ли?

— А ты остуди, не маленький, — спокойно отвечала жена.

Помнил он, все помнил…

Но стоял уже май. Голосили жеребцы, сшибаясь в схватке один на один, угоняя молодых кобылиц из чужих косяков. Отчаянно носились табунщики, разгоняя драчунов, ругались между собой, иногда тоже схватывались, замахивались плетками. Гульсары дела не было до всего этого. Солнце светило вперемежку с дождями, трава лезла из-под копыт. Луга стояли зеленые-зеленые, а над ними сияли белые-белые снега на вершинах хребтов. Прекрасную пору молодости начинал в ту весну буланый иноходец. Из мохнатого кургузого полуторалетки он превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся,

корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника — широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже стала как у истинного иноходца — сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными, упругими губами. Но ему и до этого не было никакого дела. Одна лишь страсть владела им пока, доставляя хозяину немалые хлопоты, — страсть к бегу. Увлекая за собой своих сверстников, он носился среди них желтой кометой. В горы и вниз со склонов, вдоль по каменистому берегу, по крутым тропам, по урочищам и по лощинам гоняла его без устали какая-то неистощимая сила. И даже глубокой ночью, когда он засыпал под звездами, снилось ему, как убегала под ним земля, как ветер посвистывал в гриве и ушах, как лопотали и словно бы звенели копыта.

К хозяину он относился так же, как и ко всему другому, что прямо его не касалось. Не то чтобы любил его, но и не питал никакой неприязни, потому что тот ничем не стеснял ему жизнь. Разве что ругался, догоняя их, когда они слишком далеко уносились. Иногда хозяину удавалось разок-другой стегануть буланого по крупу укру-

ком [20]. Гульсары вздрагивал при этом всем телом, но больше от неожиданности, чем от удара, и еще пуще прибавлял шагу. И чем сильней он бежал, возвращаясь к табуну, тем больше нравился своему хозяину, скакавшему следом с укруком наперевес. Иноходец слышал сзади себя одобрительные покрики, слышал, как тот начинал петь в седле, и в такие минуты он любил хозяина, любил бежать под песню. Потом он хорошо узнал эти песни — разные были среди них; веселые и печальные, длинные и короткие, со словами или без слов. Любил он еще, когда хозяин кормил табун солью. В длинные дощатые корыта на колышках хозяин разбрасывал комки лизунца. Наваливались всем табуном, то-то было наслаждение. На соли-то он и попался.

Как-то раз забарабанил хозяин в порожнее ведро, стал скликать лошадей: «По, по, по!» Лошади сбежались, припали к корытам. Гульсары лизал соль, стоя среди других, и ничуть не обеспокоился, когда хозяин вместе с напарником стали обхаживать табун с укруками в руках. Это его не касалось. Укруком ловили верховых лошадей, дойных кобылиц и прочих, но только не его. Он

---

**[20] Примечания: 20**

Укрук — длинная палка с петлей на конце для ловли лошадей.

был вольный. И вдруг волосяная петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чем дело, петля пока не пугала его, и он продолжал лизать соль. Другие лошади рвутся, на дыбы встают, когда на них накидывают укрук, а Гульсары не шелохнулся. Но вот ему захотелось побежать к реке напиться. Он стал выбираться из табуна. Петля на шее стянулась и остановила его. Такого еще никогда не бывало. Гульсары отпрянул, захрапел, выкатывая глаза, затем взвился на дыбы. Лошади вокруг мигом рассыпались, и он оказался один на один с людьми, держащими его на волосяном аркане. Хозяин стоял впереди, за ним — второй табунщик, и тут же топтались мальчишки табунщиков, появившиеся здесь недавно и уже изрядно надоевшие ему своими бесконечными скачками вокруг табуна.

Иноходца охватил ужас. Он рванулся на дыбы еще раз, затем еще и еще, солнце замельтешило в глазах, рассыпаясь жаркими кругами, горы, земля, люди падали, опрокидываясь навзничь, глаза застила на миг черная, пугающая пустота, которую он молотил передними ногами.

Но сколько он ни бился, петля затягивалась все туже, и, задыхаясь, иноходец метнулся не в сторону от людей, а к ним. Люди шарахнулись,

петля на секунду ослабла, и он с разгона поволок их по земле. Женщины закричали, погнали мальчишек к юртам. Однако табунщики успели встать на ноги, и петля снова захлестнулась на шее Гульсары. В этот раз так туго, что дышать было уже нельзя. И он остановился, изнемогая от головокружения и удушья.

Стравливая аркан в руках, хозяин стал приближаться сбоку. Гульсары видел его одним глазом. Хозяин подходил к нему в изодранной одежде, со ссадинами на лице. Но глаза хозяина смотрели не злобно. Он тяжело дышал и, причмокивая разбитыми губами, негромко, почти шепотом приговаривал:

— Тек, тек, Гульсары, не бойся, стой, стой!

За ним, не ослабляя аркан, осторожно приближался его помощник. Хозяин наконец дотянулся рукой до иноходца, погладил его по голове и коротко, не оборачиваясь, бросил помощнику:

— Уздечку.

Тот сунул уздечку.

— Стой, Гульсары, стой, умница, — приговаривал хозяин. Прикрыв глаза иноходца ладонью, он накинул ему на голову уздечку.

Теперь предстояло взнуздать его и оседлать. Когда уздечка была накинута ему на голову, Гуль-

сары захрипел, попытался рвануться прочь. Но хозяин успел ухватить его за верхнюю губу.

— Накрутку! — крикнул он помощнику, и тот подбежал, быстро наложил на губу накрутку из ремня и стал накручивать ее на губе палкой, как воротом.

Иноходец присел от боли на задние ноги и больше уже не сопротивлялся. Холодные железные удила загремели на зубах и впились в углы рта. На спину ему что-то набрасывали, подтягивали, рывками стискивали ему ремнями грудь, так что он качался из стороны в сторону. Но это уже не имело значения. Была только всепоглощающая, немыслимая боль в губе. Глаза лезли на лоб. Нельзя было ни шелохнуться, ни вздохнуть. И он даже не заметил, когда и как сел на него хозяин, очнулся лишь после того, как сняли с губы накрутку.

Минуту-другую он стоял, ничего не соображая, весь стянутый и отяжелевший, потом покосил глазом через плечо и вдруг увидел на спине у себя человека. От испуга он кинулся прочь, но удила раздирали рот, а ноги человека крепко впились ему в бока. Иноходец вскинулся на дыбы, заржал негодующе и яростно, заметался, взбрыкивая задом, и, весь напрягшись, чтобы сбросить с себя все, что давило его, ринулся в сторону, но аркан,

на другом верховом коне, не пустил его. И тогда он побежал по кругу, побежал, ожидая, что круг разомкнется и он пустится прочь отсюда куда глаза глядят. Однако круг не размыкался, и он все бежал и бежал по кругу. Этого-то и надо было людям. Хозяин нахлестывал его плеткой и понукал каблуками сапог. Два раза иноходцу все же удалось скинуть его с себя. Но тот вставал и снова садился в седло.

Так продолжалось долго, очень долго. Кружилась голова, кружилась земля вокруг, кружились юрты, кружились разбредшиеся вдали лошади, кружились горы, кружились облака в небе. Потом он устал и пошел шагом. Очень хотелось пить.

Но пить ему не давали. Вечером, не расседлывая, чуть только приослабив подпруги, его поставили у коновязи на выстойку. Повода уздечки были крепко намотаны на луку седла, так что голову приходилось держать прямо и ровно и лечь на землю в таком положении он не мог. Стремена были подняты наверх и тоже надеты на луку седла. Так он стоял всю ночь. Стоял смирно, обескураженный всем тем невероятным, что ему пришлось пережить. Удила во рту все еще мешали, малейшее движение их причиняло жгучую боль, неприятен был привкус железа. Набухшие

углы рта были раздерганы. Саднили под боком растертые ремнями места. И под потником ломило набитую спину. Страшно хотелось пить. Он слышал шум реки, и от этого еще больше одолевала жажда. Там, за рекой, как всегда, паслись табуны. Доносился топот многих копыт, ржанье лошадей и крики ночных табунщиков. Люди возле юрт сидели у костров, отдыхали. Мальчишки дразнили собак, тявкали по-собачьи. А он стоял, и никому не было дела до него.

Потом взошла луна. Горы тихо выплыли из мрака и тихо закачались, освещенные желтой луной. Звезды разгорались все ярче, все ниже опускаясь к земле. Он смирно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой всегда был неразлучен. У нее белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась, убегала вместе с ним подальше от них. Она была еще недоростком, а он тоже не достиг еще такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы.

Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она, он точно узнал ее голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издерганный,

опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала легким шагом, поблескивая при луне белой звездочкой во лбу. Хвост и ноги ее были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась мордой, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими теплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею и стала почесывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на ее шею и почесать ей холку. Но не мог ответить на ее ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить. Если бы она могла напоить его! Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень ее не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слезы потекли из его глаз. Слезы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. Иноходец плакал первый раз в жизни.

Рано утром пришел хозяин. Он глянул вокруг на весенние горы, потянулся и, улыбаясь, застонал от ломоты в костях.

— Ох, Гульсары, ну и потаскал ты вчера меня. Что? Продрог? Смотри, как подвело тебя.

Он потрепал иноходца по шее и стал говорить ему что-то доброе. Откуда было Гульсары знать,

что именно говорил человек? А Танабай говорил:

— Ну, ты не обижайся, друг. Не вечно тебе ходить без дела. Привыкнешь, все пойдет на лад. А что намучился, так без этого нельзя. Жизнь, брат, такая штука, подкует на все четыре ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. Проголодался, а? Пить хочешь? Знаю...

Он повел иноходца к реке. Разнуздал его, осторожно вынимая удила из пораненного рта. Гульсары с дрожью припал к воде. Ах, какая вкусная была вода и как благодарен он был за это человеку!

Вот так. Вскоре он настолько привык к седлу, что почти не чувствовал никакого стеснения от него. Легко и радостно ему стало носить на себе всадника. Тот всегда придерживал его, а он рвался вперед, четко печатая по дорогам дробный перестук иноходи. Он научился ходить под седлом так стремительно и ровно, что люди ахали.

— Поставь на него ведро с водой — и ни капельки не выплеснется!

А прежний табунщик, старичок Торгой, сказал Танабаю:

— Спасибо, хорошо выездил. Теперь увидишь,

как поднимется звезда твоего иноходца!

## 3

Колеса старой телеги медленно скрипели по пустынной дороге. Время от времени скрип прерывался. Иноходец останавливался, выбившись из сил. И тогда в наступившей мертвой тишине он слышал, как гулко отдавались в ушах удары его сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп…

Старый Танабай поджидал, пока отдышится конь, затем снова брал его за узду:

— Пошли, Гульсары, пошли, вечереет уже.

Так они тащились часа полтора, пока иноходец не остановился совсем. Дальше он уже не мог тянуть телегу. Танабай снова засуетился, забегал вокруг коня:

— Что же ты, Гульсары, а? Смотри, скоро ночь уже!

Но конь не понимал его. Он стоял в упряжи, мотая головой, тяжесть которой стала ему уже непосильна, и шатаясь на ногах из стороны в сторону. А в ушах продолжал отдаваться оглушительный стук сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп.

— Ну, ты прости меня, — проговорил Танабай. — Мне бы сразу догадаться. Да пропади она пропадом, эта телега, эта сбруя, только бы дове-

сти тебя домой.

Он скинул на землю шубу и стал торопливо выпрягать коня. Вывел его из оглобель, сдернул хомут через голову и кинул всю сбрую на телегу.

— Вот и все, — сказал он, надев шубу, поглядел на выпряженного иноходца. Без хомута, без сбруи, с непомерно большой головой, конь стоял сейчас среди холодной вечерней степи, как призрак. — Боже, во что ты превратился, Гульсары? — прошептал Танабай. — Если бы тебя увидел сейчас Торгой, перевернулся бы в могиле…

Он потянул иноходца за повод, и они снова медленно побрели по дороге. Старый конь и старый человек. Позади оставалась брошенная телега, а впереди, на западе, ложилась на дорогу темно-фиолетовая тьма. Ночь бесшумно растекалась по степи, заволакивая горы, смывая горизонт.

Танабай шел, вспоминал все связанное с иноходцем за долгие годы и с горькой усмешкой думал о людях: «Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда кто тяжело заболеет или помрет. Вот тогда вдруг становится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела совершил. А что говорить о бессловесной твари? Кого только не носил на себе Гульсары! Кто только не ездил на нем! А состарился, и все

о нем забыли. Идет теперь, еле волочит ноги. А ведь какой конь был!..»

И он снова вспоминал и удивлялся тому, как давно не возвращался в мыслях к прошлому. Все, что когда-то было, ожило в нем. Оказывается, ничто не исчезает бесследно. Раньше он просто мало думал о прошлом или, вернее, не позволял себе думать, а теперь, после разговора с сыном и невесткой, бредя по ночной дороге с издыхающим иноходцем на поводу, оглянулся с болью и грустью на прожитые годы, и все они живо встали перед ним.

Так он шел, погруженный в свои мысли, а иноходец плелся сзади, все больше и больше оттягивая повод. Когда рука старика немела, он перекладывал повод на другое плечо и снова тянул иноходца за собой. Потом это стало ему трудно, и он дал иноходцу отдохнуть. И, подумав, снял уздечку с головы коня.

— Иди впереди, иди как можешь, я буду сзади, я не брошу тебя, — сказал он. — Ну, иди, иди потихоньку.

Теперь иноходец шел впереди, а Танабай сзади, перекинув уздечку через плечо. Уздечку он никогда не бросит. Когда Гульсары останавливался, Танабай поджидал, пока он наберется сил, и они

снова брели по дороге. Старый конь и старый человек.

Танабай грустно улыбнулся, вспомнив, как по этой же самой дороге мчался в свое время Гульсары и пыль стелилась за ним хвостом. Чабаны говорили, что по этой пыли они за многие версты узнают бег иноходца. Пыль из-под его копыт прочерчивала степь белым бегучим следом и в безветренную погоду нависала над дорогой, как дым реактивного самолета. Стоял чабан в такие минуты, прикрыв глаза козырьком ладони, говорил себе: «Это он идет, Гульсары!» — и с завистью думал о том счастливце, который, обжигая лицо горячим ветром, летел на этом коне. Великая честь для киргиза, когда под ним бежит такой знаменитый иноходец.

Скольких председателей колхоза пережил Гульсары, разные бывали — умные и самодуры, честные и нечестные, но все до одного ездили на иноходце с первого и до последнего дня своего председательства. «Где они теперь? Вспоминают ли порой про Гульсары, который носил их с утра и до вечера?» — думал Танабай.

Они добрались наконец до моста через овраг. Здесь опять остановились.

Иноходец стал подгибать ноги, чтобы лечь на

землю, но Танабай не мог этого допустить: потом никакими силами не поднимешь.

— Вставай, вставай! — закричал он и ударил коня уздечкой по голове. И, досадуя на себя за то, что ударил, продолжал орать: — Ты что, не понимаешь? Подыхать собрался? Не дам! Не позволю! Вставай, вставай, вставай! — Он тянул коня за гриву.

Гульсары с трудом выпрямил ноги, тяжело застонал. Хотя и темно было, Танабай не посмел глянуть коню в глаза. Он погладил его, пощупал, затем приник ухом к его левому боку. Там, в груди у коня, захлебываясь, плескалось сердце, как мельничное колесо в водорослях. Он стоял так, согнувшись возле коня, долго, пока не заныло в пояснице. Потом разогнулся, покачал головой, вздохнул и решил, что, пожалуй, придется рискнуть — свернуть за мостом с дороги на тропу, что идет вдоль оврага. Тропа та уходила в горы, и по ней можно было быстрей добраться домой. Правда, ночью немудрено и заблудиться, но Танабай надеялся на себя, места эти издавна знал, только бы конь выдержал.

Пока старик думал об этом, вдали засветились фары попутной машины. Огни внезапно выплыли из мрака парой ярких шаров и стали

быстро приближаться, прощупывая перед собой дорогу длинными, качающимися лучами. Танабай с иноходцем стояли у моста. Машина им ничем не могла помочь, и все же Танабай ждал ее. Ждал просто так, безотчетно. «Наконец-то хоть одна», — подумал он, довольный уже тем, что на дороге появились люди. Фары грузовика мощным снопом света полоснули его по глазам, и он прикрыл их рукой.

Двое людей, сидевших в кабине машины, с удивлением смотрели на старого человека у моста и стоящую рядом с ним захудалую клячу без седла, без уздечки, точно то была не лошадь, а собака, увязавшаяся за человеком. На какое-то мгновение прямой поток света добела озарил старика и коня, и они превратились в белые бесплотные контуры.

— Чудно, чего он здесь среди ночи? — сказал сидящий рядом с шофером долговязый парень в ушанке.

— Это он, это его телега там, — пояснил шофер и остановил машину. — Ты чего, старик? — крикнул он, высунувшись из кабины. — Это ты бросил телегу?

— Да, я, — ответил Танабай.

— То-то. Глядим, бричонка развалящая на до-

роге. Вокруг никого. Хотели сбрую подобрать, да тоже никудышная.

Танабай промолчал.

Шофер вылез из машины, прошелся несколько шагов, обдавая старика перегорелым запахом водки, и стал мочиться на дорогу.

— А что случилось? — спросил он, обернувшись.

— Конь не потянул, занемог, да и старый уже.

— М-м. Ну и куда же теперь?

— Домой. В Сарыгоускую щель.

— Тю-у, — присвистнул шофер. — В горы? Не по пути. А то лезь в кузов, так и быть, подброшу до совхоза, а там уедешь завтра.

— Спасибо. Я с конем.

— Вот эта дохлятина? Да брось ты его к собакам, столкни вон в овраг — и делу конец, склюет воронье. Хочешь, поможем?

— Поезжай, — мрачно процедил Танабай.

— Ну, как знаешь, — усмехнулся шофер и, захлопывая дверцу, бросил в кабину: — Ополоумел старик!

Машина тронулась, унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрипел над оврагом, освещенным темно-красным светом стоп-сигналов.

— Зачем смеешься над человеком, а если бы

тебе так пришлось? — сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофером.

— Ерунда… — Шофер, зевая, крутанул баранку. — Мне приходилось всяко. Я дело сказал. Подумаешь, кляча какая-то! Пережитки прошлого. Сейчас, брат, техника всему голова. Везде техника. И на войне. А таким старикам и лошадям конец пришел.

— Зверюга ты! — сказал парень.

— Плевал я на все, — ответил тот.

Когда машина ушла, когда ночь снова сомкнулась вокруг и когда глаза снова привыкли к темноте, Танабай погнал иноходца:

— Ну, пошли, чу, чу! Иди же!

За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом. Луна еще чуть выглядывала из-за гор. Звезды ждали ее выхода, холодно поблескивали в холодном небе.

## 4

В тот год, когда Гульсары был объезжен и обучен, табуны поздно снялись с осенних выпасов. Осень затянулась против обычного, и зима выдалась мягкая, снег падал часто, но не залеживался, корма хватало. А весной табуны снова спустились в предгорья и, как только зацвела степь, двинулись вниз.

После войны это было, пожалуй, самое лучшее время в жизни Танабая. Серый конь старости ждал его за перевалом, хотя и близким, и Танабай пока ездил на молодом буланом иноходце. Попадись ему этот иноходец несколько лет спустя, вряд ли бы он испытывал такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на Гульсары. Да, Танабай не прочь был иной раз и покрасоваться на людях. И как ему было не красоваться, сидя верхом на бегущем иноходце! Гульсары это хорошо знал. Особенно когда Танабай ехал в аил через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, как-то напруживался, и его возбуждение передавалось коню. Гульсары поднимал хвост почти вровень со спиной, грива

со свистом пласталась на ветру. Похрапывая, он петлял, легко неся на себе всадника. Женщины в белых и красных косынках расступались по краям дороги, утопая по колено в зеленой пшенице. Вот они остановились как завороженные, вот разом обернулись, мелькнули лица, сияющие глаза, улыбки и белые зубы.

— Эй, табунщик! Остано-ви-ись!

И вдогонку неслись смех и последние слова:

— Смотри, попадешься, поймаем!

Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было! Любит бабье подурачиться. Стаскивали Танабая с седла, хохотали, визжали, вырывая из рук камчу:

— Признавайся, когда привезешь нам кумыса?

— Мы тут на поле с утра до вечера, а ты на иноходце раскатываешь!

— Кто же вас держит? Идите табунщиками. Только накажите мужьям, чтобы они подыскивали себе других. Замерзнете в горах, как сосульки.

— Ах вот как! — И снова принимались тормошить его.

Но не было случая, чтобы Танабай позволил кому-нибудь сесть на иноходца. Даже та женщина, при встрече с которой у него сразу менялось настроение и он заставлял иноходца идти шагом,

так ни разу и не проехалась на его коне. Возможно, она этого и не хотела.

В тот год избрали Танабая в ревизионную комиссию. Часто наезжал он в аил и почти каждый раз встречался там с этой женщиной. Из конторы он часто выходил злой. Гульсары это чуял по его глазам, по голосу, по движению рук. Но, встречаясь с ней, Танабай всегда добрел.

— Ну-ну, потише, куда так! — шептал он, успокаивая ретивого иноходца, и, поравнявшись с женщиной, ехал шагом.

Они о чем-то негромко переговаривались, а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлегала тяжесть с сердца хозяина, как теплел голос, как ласковей становились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину.

Откуда было знать коню, что в колхозе жилось туго, что на трудодни почти ничего не перепадало и что член ревизионной комиссии Танабай Бакасов допытывался в конторе: и как же это получается, и когда же наконец начнется такая жизнь, чтобы и государству было что дать, и чтобы люди не даром работали.

В прошлом году был неурожай, бескормица, в нынешнем — отдали сверх плана хлеб и скот за

других, чтобы район не ударил лицом в грязь, а что будет дальше, на что колхозники могут рассчитывать — неизвестно. Время шло, о войне уже стали забывать, а жили по-прежнему тем, что собирали с огородов и ухитрялись утащить с полей. Денег в колхозе тоже не было: все сдавалось в убыток себе — хлеб, молоко, мясо. Летом животноводство разрасталось, а зимой шло прахом, скот подыхал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов, а стройматериалов неоткуда было взять, и никто не обещал их дать. А жилье во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше по базарам промышляли скотом да картошкой. Такие стали силой, они и стройматериалы находили на стороне.

— Нет, не должно быть так, товарищи, что-то тут не в порядке, какая-то тут большая загвоздка у нас, — говорил Танабай. — Не верю, что так должно быть. Или мы разучились работать, или вы неправильно руководите нами.

— Что не так? Что неправильно? — Бухгалтер совал ему бумаги. — Вот смотри планы… Вот что получили, вот что сдали, вот дебет, вот кредит, вот сальдо. Доходов нет, одни убытки. Чего ты еще хочешь? Разберись сначала. Один ты комму-

нист, а мы враги народа, да?

В разговор влезали другие, начинался спор, шум, и Танабай сидел, сжав голову руками, и думал в отчаянье, что же это такое происходит. Он страдал за колхоз не только потому, что работал в нем, — были еще и другие, особые причины. Были люди, у которых с Танабаем давние счеты. Он знал, что они теперь посмеиваются над ним втихую и, завидев его, вызывающе глядят в лицо: ну как, мол, дела-то? Может, опять раскулачивать возьмешься? Только с нас теперь спрос невелик. Где сядешь, там и слезешь. У-ух, почему только не пришибло тебя на фронте!..

И он им отвечал взглядом: подождите, сволочи, все равно будет по-нашему! А ведь люди это не чужие, свои. Сводный брат его Кулубай — старик уже, до войны отсидел в Сибири семь лет. Сыновья тоже пошли в отца, люто ненавидят Танабая. И с чего бы им любить? Может, и дети их будут ненавидеть род Танабая. И имеют на то причины. Дело это давнее, а обида у людей живет. Надо ли было поступать так с Кулубаем? Разве не был он просто справным хозяином, середняком? А родство куда денешь? Кулубай от старшей жены, а он от младшей, но у киргизов такие братья считаются единоутробными. Значит, и на родство он

посягнул, сколько разговоров тогда было. Теперь, конечно, можно по-разному судить. А тогда? Разве не ради колхоза он пошел на это дело? А надо ли было? Раньше не сомневался, а после войны думал порой иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу?

— Ну что ты сидишь, Танабай, очнись, — возвращали его к разговору. И снова все то же: надо за зиму вывезти весь навоз на поля, собирать по дворам. Колес нет — значит, надо купить карагачевого леса, железа на шины, а на какие деньги, дадут ли кредит и подо что? Банк словам не верит. Старые арыки надо ремонтировать, новые прокопать, работа большая, тяжелая. Зимой народ не идет, земля мерзлая, не раздолбаешь. А весной не успеть — посевная, окот, прополки, а там сенокос… А как быть с овцеводством? Где помещения для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше. Крыша прогнила, кормов не хватает, доярки не хотят работать. Толкутся с утра до ночи, а что получают? А сколько еще было разных других забот и нехваток? Жутко становилось подчас.

И все же собирались с духом, снова обсуждали эти вопросы на партсобрании, на правлении колхоза. Председателем был Чоро. Потом только оценил его Танабай. Критиковать, оказывается,

было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чоро за всех и за все в колхозе. Да, крепким был человеком Чоро. Когда, казалось, все разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватали за грудки в колхозе, не пал Чоро духом. Танабай на его месте или с ума сошел бы, или покончил с собой. А Чоро все же удержал хозяйство, стоял до последнего, пока совсем не сдало сердце, и потом еще поработал года два парторгом. Умел Чоро убеждать, говорить с людьми. Вот так и получалось, что, послушав его, Танабай снова верил, что все наладится, что будет наконец так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чоро, но и то он сам больше был виноват…

Иноходец не знал, что творилось на душе Танабая, когда он выходил из конторы со злым взглядом и сдвинутыми бровями, когда он жестко садился в седло и резко дергал поводья. Но он чуял, что хозяину очень плохо. И хотя Танабай никогда его не бил, иноходец в такие минуты боялся хозяина. А увидев на дороге ту женщину, конь уже знал, что хозяину теперь станет легче, что он подобреет, придержит его и будет о чем-то негромко разговаривать с ней, а ее руки будут теребить его, Гульсары, гриву, гладить шею. Ни

у кого из людей не было таких ласковых рук. Это были удивительные руки, упругие и чуткие, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. И ни у кого на свете не было таких глаз, как у этой женщины. Танабай разговаривал с ней, склонившись с седла, а она то улыбалась, то хмурилась, качала головой, не соглашаясь с чем-то, и глаза ее переливались светом и тенью, как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь. Уходя, она оглядывалась и опять качала головой.

После этого Танабай ехал задумчивый. Он отпускал поводья, и иноходец шел так, как ему хотелось. Вольно, дорожным тротом. Хозяина словно и не было в седле. Словно и он, и конь были каждый сам по себе. И песня появлялась сама по себе. Негромко, без ясных слов, под мерный топот иноходца напевал Танабай про страдания давно ушедших людей. А конь выбирал знакомую тропку и нес его в степь за реку, к табунам…

Гульсары любил, когда у хозяина было такое настроение, любил он по-своему и эту женщину. Он знал ее фигуру, походку, улавливал даже своим нюхом какой-то странный, диковинный запах незнакомой травы, исходящий от нее. То была гвоздика. Она носила бусы из гвоздики.

— Ты заметь, как он тебя любит, Бюбюжан, —

говорил ей Танабай. — А ну погладь, погладь еще. Ишь как уши развесил. Прямо теленок. А в табунах сейчас жизни нет от него. Дай только волю. Грызется с жеребцами, как собака. Вот и держу его под седлом, боюсь, как бы не покалечили. Зелен еще.

— Он-то любит, — думая о чем-то своем, отвечала она.

— Хочешь сказать, что другие не любят?

— Я не о том. Мы свое отлюбили. Жаль мне тебя будет.

— Это почему же?

— Не такой ты человек, тяжело потом тебе будет.

— А тебе?

— А что мне? Я вдова, солдатка. А ты…

— А я член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты, — пытался шутить Танабай.

— Что-то ты часто стал выяснять факты. Смотри.

— Ну а я при чем? Я иду, и ты идешь.

— Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну, прощай. Некогда мне.

— Слушай, Бюбюжан!

— Ну что? Не надо, Танабай. Зачем? Ты же ум-

ный человек. Мне и без тебя тошно.

— Что ж, я тебе враг, что ли?

— Ты себе враг.

— Как это понимать?

— Как хочешь.

Она уходила, а Танабай ехал по улицам села вроде бы куда-то по делу, заворачивал на мельницу или к школе и снова, сделав круг, возвращался, чтобы посмотреть, хотя бы издали, как она выйдет из дома свекрови, где она оставляла дочку на время работы, и пойдет к себе, на окраину, ведя девочку за руку. Все в ней было до бесконечности родным. И то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и ее белеющее в темном полушалке лицо, и ее девочка, и собачонка, бежавшая рядом.

Наконец она скрывалась в своем дворе, и он ехал дальше, представляя себе, как она отомкнет дверь пустого дома, скинет обтрепанный ватник, побежит в одном платье за водой, растопит очаг, умоет и накормит девочку, встретит корову в стаде и ночью будет лежать одна в темном, беззвучном доме и будет убеждать себя и его, что им нельзя любить друг друга, что он семейный человек, что в его годы смешно влюбляться, что всему есть своя пора, что жена его хорошая жен-

щина и что она не заслуживает того, чтобы муж тосковал по другой.

От таких мыслей Танабаю становилось не по себе. «Значит, не судьба», — думал он и, глядя в дымчатую даль за рекой, напевал старинные песни, позабыв обо всем на свете, о делах, о колхозе, об обувке и одежде детям, о друзьях и недругах, о сводном брате Кулубае, с которым они не разговаривают многие и многие годы, о войне, которая нет-нет да и приснится, обливая его холодным потом, забывал обо всем, чем жил. И не замечал, что конь шел бродом через реку и, выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда иноходец, почуяв близость табуна, прибавлял шагу, он приходил в себя.

— Тр-р, Гульсары, куда ты так несешь?! — спохватывался Танабай, натягивая поводья.

## 5

И все же, несмотря ни на что, прекрасное было то время и для него, и для иноходца. Слава скакуна сродни славе футболиста. Вчерашний мальчишка, гонявший мяч по задворкам, становится вдруг всеобщим любимцем, предметом разговоров знатоков и восхищения толпы. И чем дальше, тем больше возрастает его слава, пока он забивает голы. Потом он постепенно сходит с поля и начисто забывается. И первыми забывают его те, кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы скакуна. Он знаменит, пока непобедим в состязаниях. Единственная разница, пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует. Лошади не умеют завидовать, а люди, слава богу, еще не научились завидовать лошадям. Хотя как сказать — пути зависти непостижимы, известны случаи, когда, чиня зло человеку, завистники вколачивали гвоздь в копыто коня. Ох эта черная зависть!.. Но бог с ней…

Сбылось предсказание старика Торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда иноходца. Уже все знали о нем — и стар и мал: «Гульсары!», «Инохо-

дец Танабая», «Краса аила»…

А чумазые мальчишки, еще не выговаривающие букву «р», бегали по пыльной улице, подражая бегу иноходца, и наперебой кричали: «Я Гульсалы… Нет, я Гульса-лы… Мама, скажи, что я Гульсалы… Чу, вперед, а-и-и-й, я Гульсалы…»

Что значит слава и какую великую силу имеет она, познал иноходец на первой своей большой скачке. То было Первое мая.

После митинга на большом лугу у реки начались игры. Народу сошлось и съехалось отовсюду уйма. Люди понаехали из соседнего совхоза, с гор и даже из Казахстана. Казахи выставляли своих коней.

Говорили, что после войны не было еще такого большого праздника.

С утра еще, когда Танабай оседлывал, с особой тщательностью проверяя подпруги и крепления стремян, иноходец почувствовал по блеску в его глазах и дрожанию рук приближение чего-то необыкновенного. Хозяин очень волновался.

— Ну, смотри у меня, Гульсары, не подкачай, — шептал он, расчесывая коню гриву и челку. — Ты не должен опозорить себя, слышишь! Мы не имеем на то права, слышишь!

Ожидание чего-то необыкновенного чувствова-

лось в самом воздухе, взбудораженном голосами и беготней людей. По соседним стойбищам седлали своих коней табунщики. Мальчишки были уже на лошадях, они с криками носились вокруг. Потом табунщики съехались и все вместе двинулись к реке.

Гульсары был ошеломлен таким скоплением на лугу людей и коней. Гул и гомон стояли над рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. В глазах рябило от ярких платков и платьев, от красных флагов и белых женских тюрбанов. Кони были в лучших сбруях. Звенели стремена, бряцали удила и серебряные подвески на нагрудниках.

Кони под всадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, просили поводья и рыли копытами землю. В кругу гарцевали старики, распорядители игр.

Гульсары ощущал, как в нем все больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух, и, чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и понестись.

И когда распорядители дали знак к выходу в круг и Танабай приспустил поводья, иноходец вынес его на середину, завертелся, не зная еще, куда устремиться. По рядам пронесся гул: «Гуль-

сары! Гульсары!..»

Выехали все желающие принять участие в большой байге. Набралось человек пятьдесят верховых.

— Просите у народа благословения! — торжественно провозгласил главный распорядитель игр.

Бритоголовые всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, подняв руки с раскрытыми ладонями, и из края в край прошумел единый вздох: «Оомиин!» — и сотни рук поднялись ко лбам и опустились ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

После этого всадники отправились на рысях к старту, который был в поле, за девять километров отсюда.

Тем временем начались игры на кругу — борьба пеших и конных, стаскивание с седел, поднятие монет на скаку и другие состязания. Все это было только вступлением, главное начнется там, куда ускакали всадники.

Гульсары горячился по пути. Он не понимал, почему хозяин сдерживает его. Вокруг гарцевали и ярились другие кони. И оттого, что их было много и все просились вскачь, иноходец злился и дрожал от нетерпения.

Наконец все выстроились на старте в один ряд, голова к голове, отправитель проскакал перед фронтом из конца в конец, поднял белый платок. Все замерли, возбужденные и настороженные. Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми, подхваченный порывом, ринулся вперед Гульсары. Земля загремела барабаном под лавиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один Гульсары, не умевший скакать галопом, шел иноходью. В этом были и слабость его, и сила.

Сначала шли все кучей, но уже через несколько минут начали растягиваться. Гульсары не видел этого. Он видел только, что резвые скаковые лошади обошли его и были уже впереди, на дороге. В морду хлестали из-под копыт горячий щебень и комья сухой глины, а вокруг скакали кони, кричали верховые, свистели нагайки и клубилась пыль. Пыль разрасталась облаком и летела над землей. Резко пахло потом, кремнем и молодой растоптанной полынью.

Так продолжалось почти до половины пути. Впереди всех неслись с недосягаемой для иноходца скоростью с десяток лошадей. По сторонам стало стихать, шум задних отставал, но то, что

впереди шли другие, и то, что поводья так и не давали ему полной свободы, поднимало в нем ярость. В глазах темнело от злобы и ветра, дорога стремительно уплывала под ноги, солнце катилось навстречу, падая с неба огненным шаром. Жаркий пот прошибал по всему телу, и чем больше иноходец потел, тем легче становился он сам для себя.

И вот наступил момент, когда скаковые лошади стали уставать и постепенно сдавать в беге, а иноходец только входил в разгар своих сил. «Чу, Гульсары, чу!» — услышал он голос хозяина, и солнце еще быстрей покатилось навстречу. И замелькали одно за другим настигнутые и оставленные позади искаженные яростью лица всадников, взмытые в воздух плетки, оскаленные, хрипящие морды коней. Исчезла вдруг власть удил и поводьев, не стало для Гульсары ни седла, ни всадника — в нем бушевал огненный дух бега.

И все же впереди шли бок о бок два скачущих коня, темно-серый и рыжий. Оба, не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плетками верховых. Это были сильные скакуны. Гульсары долго настигал их и на подъеме дороги обошел наконец. Он вскочил на бугор, точно бы

на гребень большой волны, и на какое-то мгновение словно завис в полете, невесомый. Дух захватило в груди, и еще ярче брызнуло солнце в глаза, и он стремительно пошел вниз по дороге, но вскоре услышал позади топот настигающих копыт. Те двое, темно-серый и рыжий, брали реванш. Они подошли с двух сторон почти вплотную и уже не отставали ни на шаг.

Так мчались они втроем, голова к голове, слившись в едином движении. Гульсары казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряженно вытянутые морды, закушенные удила, уздечки и поводья. Темно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался, взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал отставать. Сначала скрылся его виноватый, блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А темно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку, взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушел он, не желая признать поражения.

Когда соперники отстали, вроде бы легче стало

дышать. А впереди уже серебрилась излучина реки, зеленел луг, и слышался оттуда далекий рев человеческих голосов. Самые рьяные болельщики поджидали, оказывается, по пути. С улюлюканьем и гиканьем они скакали по сторонам. И тут иноходец почувствовал вдруг слабость. Сказывалось расстояние. Что там было позади, настигали его или нет, этого Гульсары не знал. Бежать становилось невмоготу, силы покидали его.

Но там, впереди, гудела и колыхалась огромная толпа, и уже покатились двумя рукавами навстречу конные и пешие, крики становились все громче, сильней. И он вдруг явственно услышал: «Гульсары! Гульсары! Гульсары...» И, вбирая в себя эти крики, возгласы и вопли, наполняясь ими, как воздухом, иноходец с новой силой устремился вперед. Ах, люди, люди! Чего только они не могут!..

При неумолкающем шуме и криках ликования Гульсары прошел сквозь гулкий коридор встречающих и, сбавляя бег, описал круг по лугу.

Но это было еще не все. Теперь ни он, ни его хозяин не принадлежали себе. Когда иноходец немного отдышался и успокоился, народ расступился, образуя круг победителя. И снова взмыли

крики: «Гульсары, Гульсары, Гульсары!» А вместе с ним гремело и имя его хозяина: «Танабай! Танабай! Танабай!»

И снова люди совершили какое-то чудо с иноходцем. Гордый и стремительный, он вступил на арену с высоко поднятой головой, с горящими глазами. Хмелея от воздуха славы, Гульсары пошел выплясывать, вышагивать боком, порываясь к новому бегу. Он знал, что он красив, могуч и знаменит.

Танабай объезжал народ с распростертыми руками победителя, и снова из края в край прошумел единый вздох благословения: «Оомиин!» — и снова сотни рук поднимались ко лбам и опускались ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

И тут среди множества лиц иноходец увидел вдруг знакомую женщину. Он сразу узнал ее, когда она опустила ладони по лицу, хотя в этот раз она была не в темном полушалке, а в белом платье. Она стояла в первом ряду толпы, счастливая и радостная, и не отрываясь смотрела на них сияющими, как камни в быстром солнечном водопое, глазами. Гульсары привычно потянулся к ней, чтобы постоять возле нее, чтобы хозяин поговорил с ней и чтобы она потеребила гриву,

погладила ему шею своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. Но Танабай почему-то тянул поводья в другую сторону, а иноходец все крутился и порывался к ней, не понимая хозяина. Неужели хозяин не видит, что здесь стоит та женщина, с которой ему, хозяину, надо обязательно поговорить?..

И второй день, то есть второе мая, тоже был днем Гульсары. В этот раз пополудни разыгрывалось в степном урочище козлодранье — своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча служит обезглавленная туша козла. Козел удобен тем, что шерсть на нем длинная, прочная и его можно подхватывать с коня за ногу или за шкуру.

Снова огласилась степь древними криками, снова зарокотала барабаном земля. Лавина конных болельщиков с возгласами и воплями металась вокруг игроков. И снова героем дня был Гульсары. В этот раз, уже окруженный ореолом славы, он сразу стал самой сильной фигурой в игре. Танабай, однако, приберегал его к финишу, к аламан-байге, когда будет дано разрешение на вольную схватку: кто ловок и скор, тот и утащит козла в свой аил. Аламан-байгу ждали все, ибо

это апофеоз состязания, к тому же любой всадник имеет право принять в ней участие. Каждому хотелось попытать свое счастье.

А майское солнце тем временем тяжело оседало на дальней казахской стороне. Оно было как желток, выпуклое и густое. На него можно было смотреть не щурясь.

До самого вечера носились киргизы и казахи, свисая с седел, подхватывая на скаку тушу козла, вырывая ее друг у друга, сбиваясь в гомонящую кучу и вновь рассыпаясь с криками по полю.

И лишь когда побежали по степи длинные пестрые тени, старики разрешили наконец аламан-байгу. Козел был брошен в круг. «Аламан!..»

Со всех сторон кинулись к нему всадники, столпились, пытаясь подхватить тушу с земли. Но в давке сделать это было не так-то просто. Кони ошалело крутились, кусались, ощерив зубы. Гульсары изнывал в этой свалке, ему бы на простор, но Танабаю все никак не удавалось завладеть козлом. И вдруг раздался пронзительный голос: «Держи-и, казахи взяли!» Из конной круговерти вырвался молодой казах в разодранной гимнастерке, на карем озверевшем жеребце. Он кинулся прочь, подтягивая под ногу, под стремя, тушу козла.

— Держи-и! Это карий! — закричали все, бросаясь в погоню. — Скорей, Танабай, только ты можешь догнать!

С болтающимся под стременем козлом казах на карем жеребце уходил прямо туда, где алело закатное солнце. Казалось, еще немного — и он влетит в это пламенеющее солнце и растает там красным дымом.

Гульсары не понимал, зачем Танабай сдерживает его. Но тот знал, что надо дать казахскому джигиту оторваться от лавины преследующих всадников, уйти подальше от толпы спешивших к нему на помощь сородичей. Стоило им окружить карего скачущим заслоном, и тогда никакими силами не вырвать упущенную добычу. Только в единоборстве можно было рассчитывать на какой-то успех.

Выждав нужное время, Танабай припустил иноходца во весь мах. Гульсары приник к набегающей на солнце земле, и топот и голоса позади сразу стали отставать, удаляться, а расстояние до карего жеребца — сокращаться. Тот шел с тяжелым грузом, и настигнуть его было не так трудно. Танабай выводил иноходца по правую сторону карего. Туша козла висела, зажатая под ногу всадника, на правом боку коня. Вот уже ста-

ли равняться. Танабай наклонился с седла, чтобы ухватить козла за ногу и перетянуть его к себе. Но казах ловко перекинул добычу с правой стороны на левую. А кони мчались все так же прямо к солнцу. Теперь Танабаю надо приотстать и снова настигнуть, чтобы зайти с левой стороны. Трудно было отрывать иноходца от карего, но все же удалось проделать и этот маневр. И опять казах в разодранной гимнастерке успел перекинуть козла на другую сторону.

— Молодец! — азартно закричал Танабай.

А кони неслись все так же прямо к солнцу.

Больше рисковать было нельзя. Танабай прижал иноходца почти вплотную к карему жеребцу и упал грудью на луку седла соседа. Тот пытался отделиться, но Танабай не отпускал. Резвость и гибкость иноходца позволяли ему почти лежать на шее карего жеребца. Так он дотянулся до туши козла и стал тащить ее к себе. Ему было сподручно действовать с правой стороны, к тому же обе руки его были свободны. Вот ему уже удалось перетянуть козла почти наполовину.

— Держись теперь, брат казах! — прокричал Танабай.

— Врешь, сосед, не отдам! — ответил тот.

И началась схватка на бешеном скаку. Сце-

пившись, как орлы на одной добыче, они орали благим матом, хрипели и рычали по-звериному, устрашая друг друга, руки их сплетались, из-под ногтей сочилась кровь. А кони, соединенные единоборством всадников, мчались в злобе, торопясь настигнуть багровое солнце.

Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных!

Туша козла была теперь между ними, они держали ее на весу между скачущими конями. Приближалась развязка. Молча, сцепив зубы, напрягая все свои силы, перетягивали тушу, каждый старался зажать ее под ногу, с тем чтобы потом оторваться и уйти в сторону. Казах был силен. Руки у него были крупные, жилистые, к тому же он был гораздо моложе Танабая. Но опыт — великое дело. Танабай неожиданно высвободил правую ногу из стремени и уперся ею в бок карего жеребца. Подтягивая козла к себе, он одновременно отталкивал ногой коня соперника, и пальцы того медленно разжались.

— Держись! — успел предупредить его побежденный.

От резкого толчка Танабай едва не вылетел из седла. Но все же удержался. Ликующий вопль вырвался из его груди. И, круто разворачивая

иноходца, он бросился убегать, зажимая под стременем добытый в честном поединке трофей. А навстречу уже летела орда орущих всадников:

— Гульсары! Гульсары взял!

Казахи большой группой бросились наперехват.

— Ой-бай, лови, держи Танабая!

Теперь главное было избежать перехвата и чтобы свои аильчане поскорей окружили его заслоном.

Танабай снова круто развернул иноходца, уходя в сторону от перехватчиков. «Спасибо, Гульсары, спасибо, родной, умница!» — про себя благодарил он иноходца, когда тот, улавливая малейшие наклоны его тела, увертывался от погони, кидаясь то в одну, то в другую сторону.

Почти припадая к земле, иноходец вышел из трудного виража и пошел напрямую. Тут подскочили аильчане Танабая, пристроились по сторонам, закрыли его с тыла и все вместе, плотной кучей бросились наутек. Однако погоня снова вышла наперерез. Опять пришлось разворачиваться и опять уходить. Как стаи быстрокрылых птиц, падающих на лету с крыла на крыло, носились по широкой степи убегающие и догоняющие их орды всадников. В воздухе

клубилась пыль, звенели голоса, кто-то падал вместе с конем, кто-то летел через голову, кто-то, прихрамывая, догонял свою лошадь, но все до единого были охвачены восторгом и страстью состязания. В игре никто не в ответе. У риска и бесстрашия одна мать…

Солнце смотрело уже одним краешком, смеркалось, а аламан-байга все еще катилась в синей прохладе вечера, содрогая землю конскими копытами. Уже никто не кричал, уже никто никого не преследовал, но все продолжали скакать, увлеченные страстью движения. Растянувшаяся фронтом лавина перекатывалась темной волной с пригорья на пригорье во власти ритма и музыки бега. Не оттого ли были сосредоточенны и молчаливы лица всадников, не это ли породило рокочущие звуки казахской домбры и киргизского комуза!..

Уже приближались к реке. Она тускло блеснула впереди за темными зарослями. Оставалось еще немного. За рекой — игре конец, там аил. Танабай и окружение его все еще неслись слитной кучей. Гульсары шел в середине, как главный корабль, под охраной.

Но он уже устал, очень устал — слишком трудный выдался день. Иноходец выбился из сил.

Двое джигитов, скакавших по бокам, тянули его под уздцы, не давали упасть. Остальные прикрывали Танабая с тыла и по сторонам. А он лежал грудью на туше козла, переброшенной перед седлом. Голова Танабая моталась, он едва держался в седле. Не будь сейчас сопровождающих рядом всадников, ни он сам, ни его иноходец уже не в состоянии были бы двигаться. Так, наверное, убегали прежде с добычей, так, наверное, спасали и от плена раненого батыра…

Вот и река, вот луг, широкий галечный брод. Пока он еще виден в темноте.

Всадники с ходу бросились в воду. Закипела, взбурлила река. Сквозь тучи брызг и оглушающее клацанье подков джигиты протащили иноходца на тот берег. Все! Победа!

Кто-то снял тушу козла с седла Танабая и поскакал в аил.

Казахи остались на той стороне.

— Спасибо вам за игру! — крикнули им киргизы.

— Будьте здоровы! Встретимся теперь осенью! — ответили те и повернули коней назад.

Было уже совсем темно. Танабай сидел в гостях, а иноходец вместе с другими лошадьми стоял во дворе на привязи. Никогда так не уставал Гуль-

сары, разве только в первый день объездки. Но тогда он был лозинкой в сравнении с тем, каким стал сейчас. В доме шла речь о нем.

— Выпьем, Танабай, за Гульсары: если бы не он, не видать нам сегодня победы.

— Да, карий жеребец могуч был, как лев. И парень тот силен. Далеко пойдет он у них.

— Это верно. А у меня и сейчас перед глазами, как Гульсары уходит от перехвата, прямо стелется по земле травой. Дух захватывает, глядя на это.

— Что и говорить. В прежние времена батырам бы на нем в набег ходить. Не конь, а дулдул! [21]

— Танабай, ты когда собираешься пустить его к кобылам?

— Да он и сейчас уже гоняется, но пока рано. А к следующей весне как раз будет впору. С осени отпущу гулять, чтобы тело набрал…

Захмелевшие люди долго еще сидели, перебирая подробности аламан-байги и достоинства иноходца, а он стоял во дворе, просыхая от пота и грызя удила. Ему предстояла голодная выстойка до рассвета. Но не голод мучил его. Ломило в плечах, ноги были будто не свои, копыта горели от жара, а в голове все еще стоял гул аламан-

---

**[21] Примечания: 21**
Дулдул — сказочный скакун.

байги. Все еще мерещились ему крики и погоня. Время от времени он вздрагивал и, всхрапывая, навострял уши. Очень хотелось поваляться по траве, встряхнуться и побродить среди лошадей на выпасе. А хозяин задерживался.

Вскоре он, однако, вышел, слегка покачиваясь в темноте. От него несло каким-то резким, жгучим запахом. С ним такое случалось изредка. Пройдет год — и иноходцу придется иметь дело с человеком, от которого постоянно будет разить этим запахом. И он возненавидит того человека и этот мерзкий запах.

Танабай подошел к иноходцу, потрепал его по холке, сунул руку под потник:

— Остыл немного? Устал? Я тоже чертовски устал. А ты не косись, ну выпил, так в твою же честь. Праздник. Да и то малость. Я свое знаю, ты это учти. И на фронте знал меру. Брось, Гульсары, не косись. Уедем сейчас в табун, отдохнем…

Хозяин подтянул подпруги, поговорил с другими людьми, вышедшими из дома, все сели по лошадям и разъехались.

Танабай ехал по уснувшим улицам аила. Тихо было кругом. Окна темны. Чуть слышно тарахтел трактор на поле. Луна уже стояла над горами, в садах белели цветущие яблони, где-то заливался

соловей. Почему-то он был один на весь аил. Он пел, прислушиваясь к себе, умолкал и затем снова принимался щелкать и свистать.

Танабай придержал иноходца.

— Красота какая! — сказал он вслух. — А тихо как! Только соловей заливается. Ты понимаешь, Гульсары, а? Где тебе… Тебе в табун, а я…

Они миновали кузницу, и отсюда надо было выехать по крайней улице к реке, а там — в табуны. Но хозяин почему-то потянул в другую сторону. Он поехал по средней улице, в конце ее остановился возле двора, где жила та женщина. Выбежала собачонка, которая часто бегала с девочкой, полаяла и умолкла, виляя хвостом. Хозяин молчал в седле, о чем-то думал, потом вздохнул и нерешительно тронул поводья.

Иноходец пошел дальше. Танабай свернул вниз к реке и, выйдя на дорогу, заторопил коня. Гульсары и сам хотел побыстрей добраться до стойбища. Пошли лугом. Вот и река, заклацали подковы по берегу. Вода была холодная, гремучая. И вдруг на середине брода, резко натянув поводья, хозяин круто потянул назад. Гульсары мотнул головой, думая, что хозяин ошибся. Не должны они были возвращаться назад. Сколько можно ездить? Но в ответ хозяин стегнул его камчой по боку.

Гульсары не любил, когда его били. Раздраженно грызя удила, он нехотя подчинился и повернул назад. Снова через луг, снова по дороге, снова к тому двору.

У дома хозяин опять заерзал в седле, задергал удила то туда, то сюда, не поймешь, чего он хочет. Остановились у ворот. Впрочем, самих ворот не было. От них остались только одни покосившиеся столбы. Опять выбежала собачонка, полаяла и умолкла, виляя хвостом. В доме было тихо и темно.

Танабай слез с седла, пошел по двору, ведя на поводу иноходца, и, приблизившись к окну, застучал пальцем по стеклу.

— Кто там? — раздался изнутри голос.

— Это я, Бюбюжан, открой. Слышишь, это я!

В доме вспыхнул огонек, и окна тускло засветились.

— Ты чего? Откуда так поздно? — Бюбюжан появилась в дверях. Она была в белом платье с расстегнутым воротом и темными волосами на плечах. От нее пахнуло теплым запахом тела и тем диковинным запахом незнакомой травы.

— Ты извини, — негромко проговорил Танабай, — с аламана поздно прискакали. Устал. А конь совсем заморился. Его на выстойку надо, а

табуны далековато, сама знаешь.

Бюбюжан помолчала.

Глаза ее вспыхнули и погасли, как камни на дне освещенного луной водопоя. Иноходец ждал, что она подойдет и погладит его по шее, но она не сделала этого.

— Холодно, — передернула Бюбюжан плечами. — Ну что стоишь? Заходи, коли так. Эх ты, придумал, — тихо засмеялась она. — Я и сама извелась вся, пока ты тут топтался на коне. Как мальчишка.

— Я сейчас. Коня поставлю.

— Ставь вон там в углу, у дувала.

Никогда так не дрожали руки хозяина. Он спешил, вынимая удила, и долго возился с подпругами: одну приослабил, а другую так и забыл.

Он ушел вместе с ней, и свет в окнах вскоре погас.

Непривычно было иноходцу стоять на незнакомом дворе.

Луна светила в полную силу. Поднимая глаза над дувалом, Гульсары видел вздымающиеся в выси ночные горы, облитые молочно-голубым сиянием. Чутко перебирая ушами, он прислушивался. Журчала вода в арыке. Вдали тарахтел на поле все тот же трактор, и пел в садах все тот же

одинокий соловей.

С веток соседней яблони падали белые лепестки, бесшумно оседая на голову и гриву коня.

Ночь светлела. Иноходец стоял и переминался, перекладывая тяжесть тела с одной ноги на другую, стоял и терпеливо ждал хозяина. Не знал он, что еще не раз придется стоять ему здесь, коротая ночь до утра.

Танабай вышел на рассвете, стал взнуздывать Гульсары теплыми руками. Теперь и его руки пахли тем диковинным запахом незнакомой травы.

Бюбюжан вышла проводить Танабая. Приникла к нему, и он долго целовал ее.

— Исколол усами, — прошептала она. — Торопись, смотри, как светло. — Она повернулась, чтобы уйти.

— Бюбю, поди сюда, — позвал Танабай. — Слышишь, погладь его, поласкай, — кивнул он на иноходца. — Ты уж не обижай нас!

— Ох, я и забыла, — засмеялась она. — Смотри, да он весь в яблоневом цвету. — И, приговаривая ласковые слова, стала гладить коня своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу.

За рекой хозяин запел. Хорошо было идти под

его песню, и очень хотелось быстрей добраться к табунам на выпас.

Повезло Танабаю в эти майские ночи. Как раз пришел его черед ночной пастьбы. И у иноходца начался какой-то ночной образ жизни. Днем он пасся, отдыхал, ночью, отогнав табун в лощину, хозяин мчался на нем опять туда же, к тому двору. На рассвете, еще затемно, снова мчались они, как конокрады, по неприметным степным тропам к лошадям, оставшимся в лощине. Здесь хозяин сгонял табун, пересчитывал лошадей и наконец успокаивался. Туго приходилось иноходцу. Хозяин спешил в оба конца, и туда и обратно, а бегать по ночам по бездорожью не так-то легко. Но так хотел хозяин.

Гульсары хотелось другого. Если бы его воля, он вообще не отлучался бы из табуна. В нем зрел самец. Пока еще он уживался с косячным жеребцом, но с каждым днем все чаще сталкивались они, обхаживая одну и ту же кобылу. Все чаще, выгибая шею и подняв хвост трубой, красовался он перед табуном. Заливисто ржал, горячился, покусывая кобыл за бедра. А тем, видно, это нравилось, они льнули к нему, вызывая ревность косячного жеребца. Иноходцу крепко перепадало — жеребец был старым и свирепым драчуном.

Однако лучше было волноваться и бегать от косячного, чем стоять всю ночь во дворе. Здесь он тосковал по кобылам. Долго топтался, бил копытами и только потом смирялся. Кто знает, сколько бы длились эти ночные поездки, если бы не тот случай…

В ту ночь иноходец привычно стоял во дворе, тоскуя по табуну в ожидании хозяина, и уже начал подремывать. Поводья уздечки были высоко подвязаны к балке под стреху крыши. Это не позволяло лечь: всякий раз, когда голова его клонилась, удила врезались в мякоть рта. И все-таки тянуло уснуть. Тяжесть какая-то стояла в воздухе, тучи темнили небо.

Уже сквозь дрему, сквозь полусон Гульсары услышал вдруг, как закачались и зашумели деревья, точно бы кто-то налетел внезапно и начал трепать их и валить. Ветер захлестал по двору, покатил, брякая, пустой подойник, сорвал и умчал с веревки белье. Собачонка заскулила, заметалась, не зная, куда приткнуться. Иноходец сердито всхрапнул, замер, наставляя уши. Вскинув голову над дувалом, он пристально смотрел в подозрительно накипавшую мглу — туда, в сторону степи, откуда приближалось с гулом что-то грозное. И в следующее мгновение ночь затре-

щала, как поваленный лес, прогрохотал гром, молнии располосовали тучи. Хлынул крутой дождь. Иноходец рванулся с привязи, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой табун. В нем пробудился извечный инстинкт защиты своего рода от опасности. Инстинкт звал его туда, на помощь. И, обезумев, он поднял мятеж против узды, против удил, против волосяного чумбура, против всего, что так крепко держало его здесь. Он стал метаться, рыть землю копытами и не переставая ржал в надежде услышать ответные крики табуна. Но только буря свистела и выла. Ах, если бы ему удалось тогда сорваться с привязи!..

Хозяин выскочил в белой нательной рубашке, за ним — женщина, тоже в белом. Они вмиг потемнели под дождем. По их мокрым лицам и испуганным глазам мазнул синий всполох, выхватывая из черноты часть дома с хлопающей на ветру дверью.

— Стой! Стой! — заорал на коня Танабай, намереваясь отвязать его. Но тот уже не признавал его. Иноходец кинулся на хозяина зверем, обрушил копытами дувал и все рвался и рвался с привязи. Танабай подкрался к нему, прижимаясь к стене, бросился вперед, закрывая голову руками, и повис на уздечке.

— Скорее отвязывай! — крикнул он женщине.

Та едва успела отвязать чумбур, как иноходец, дыбясь, потащил Танабая по двору.

— Камчу скорей!

Бюбюжан — за плеткой.

— Стой, стой, убью! — кричал Танабай, остервенело хлеща коня камчой по морде. Ему надо было сесть в седло, ему надо было сейчас быть в табуне. Что там? Куда угнал ураган лошадей?

Но и иноходцу тоже надо было в табун. Немедленно, сию же минуту — туда, куда звала его в грозный час могучая власть инстинкта. Потому он ржал и взмывал на дыбы, потому он рвался отсюда. А дождь лил сплошной стеной, гроза бушевала, сотрясая грохотом мятущуюся во вспышках ночь.

— Держи! — приказал Танабай Бюбюжан и, когда та схватилась за уздечку, прыгнул в седло. Он еще не успел сесть, только уцепился за гриву коня, а Гульсары уже ринулся со двора, сшибив и проволочив женщину по луже.

Не подчиняясь уже ни удилам, ни плети, ни голосу, Гульсары мчался сквозь буревую ночь, сквозь секущий ливень, угадывая путь одним лишь чутьем. Он пронес безвластного теперь хозяина через взбурлившую реку, сквозь грохот

воды и грома, сквозь заросли кустов, через рвы, через лога, он неудержимо мчался и мчался вперед. Никогда до этого, ни на большой скачке, ни на аламан-байге, не бежал так Гульсары, как в ту ураганную ночь.

Танабай не помнил, как и куда уносил его осатаневший иноходец. Дождь казался ему жгучим пламенем, полыхавшим по лицу и телу. Одна лишь мысль колотилась в мозгу: «Что с табуном? Где теперь лошади? Не дай бог, умчатся в низовья к железной дороге. Крушение! Помоги мне, Аллах, помоги! Помогите, арбаки [22], где вы? Не упади, Гульсары, не упади! Вынеси в степь, туда, туда, к табуну!»

А в степи шарахались белые зарницы, ослепляя ночь белым полымем. И снова смыкалась тьма, ярилась гроза, бил по ветру дождь.

То светло, то темно, то светло, то темно…

Иноходец взметывался на дыбы и ржал, раздирая пасть. Он звал, он взывал, он искал, он ждал. «Где вы? Где вы? Отзовитесь!» В ответ грохотало небо, и — снова в бег, снова в поиски, снова в бурю…

То светло, то темно, то светло, то темно…

---

**[22] Примечания: 22**
Арбаки — духи предков.

Буря улеглась только к утру. Постепенно расползлись тучи, но гром все еще не утихал на востоке — погромыхивал, урчал, потягивался. Дымилась истерзанная земля.

Несколько табунщиков рыскали по окрестности, собирая отбившихся лошадей.

А Танабая искала жена. Вернее, не искала, а ждала. Еще ночью кинулась она с соседями верхом на помощь мужу. Табун нашли, удержали в яру. А Танабая не было. Думали, заблудился. Но она знала, что он не заблудился. И когда соседский паренек радостно воскликнул: «Вот он, Джайдар-апа, вон он едет!» — и поскакал ему навстречу, Джайдар не тронулась с места. Молча смотрела с коня, как возвращался блудный муж.

Молчаливый и страшный ехал Танабай, в мокрой исподней рубашке, без шапки, на перепавшем за ночь иноходце. Гульсары прихрамывал на правую ногу.

— А мы вас ищем! — радостно сообщил ему подоспевший паренек. — Джайдар-апа беспокоиться уже начала.

Эх, мальчишка, мальчишка…

— Заблудился, — пробубнил Танабай.

Так встретились они с женой. Ничего не сказали друг другу. А когда паренек отлучился выгонять

табун из-под обрыва, жена тихо проговорила:

— Что ж ты, не успел даже одеться. Хорошо еще штаны да сапоги при тебе. И не стыдно? Ведь ты уже не молод. Дети вот скоро взрослые, а ты…

Танабай молчал. Что было ему говорить?

Парнишка тем временем подогнал табун. Все лошади и жеребята были целы.

— Поехали домой, Алтыке, — позвала парнишку Джайдар. — Дел не оберешься сегодня и у вас, и у нас. Юрты разворотило ветром. Поехали собирать.

А Танабаю она сказала вполголоса:

— Ты тут побудь. Привезу тебе поесть да во что одеться. Людям-то как покажешься на глаза?

— Там я буду, внизу, — кивнул Танабай.

Они уехали. Танабай погнал табун на выпас. Долго гнал. Уже светило солнце, тепло стало. Запарилась степь, ожила. Запахло дождем и молодой травой.

Лошади не спеша потрусили по перепадкам, по логам, вышли на взлобье. И словно бы мир другой открылся перед Танабаем. Далеко-далеко отстоял горизонт, подернутый белыми облаками. Небо было большое, высокое, чистое. И очень далеко отсюда дымил в степи поезд.

Танабай слез с коня, пошел по траве. Рядом

вспорхнул жаворонок, поднялся и защебетал. Танабай шел, опустив голову, и вдруг грохнулся на землю.

Никогда не видел Гульсары своего хозяина в таком положении. Он лежал вниз лицом, и плечи его тряслись от рыданий. Он плакал от стыда и горя, он знал, что утратил счастье, которое выдалось ему последний раз в жизни. А жаворонок все щебетал…

Через день табуны двинулись в горы — теперь они должны были вернуться сюда только на следующий год, ранней весной. Кочевье шло вдоль реки, по пойме, мимо аила. Шли отары овец, стада, табуны. Шли под вьюком верблюды и кони, ехали в седлах женщины и дети. Бежали лохматые псы. В воздухе стояло разноголосье: покрики, ржанье, блеянье…

Танабай гнал свой табун через большой луг, затем по пригорку, где недавно гомонил народ на празднике, и все старался не смотреть в сторону аила. И когда Гульсары вдруг потянул туда, ко двору на окраине, он получил за это плеткой. Так и не заехали они к женщине с удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу…

Табун дружно бежал.

Хотелось, чтобы хозяин пел, но он не пел. Аил остался позади. Прощай, аил. Впереди горы. До свиданья, степь, до следующей весны. Впереди горы.

## 6

Близилась полночь. Дальше Гульсары уже не мог идти. Сюда, до оврага, он кое-как доковылял, останавливаясь десятки раз, но оврага ему уже было не одолеть. Старик Танабай понял, что большего не вправе требовать от коня. Гульсары стонал мучительно, стонал, как человек. И когда он стал ложиться, Танабай не помешал ему.

Лежа на холодной земле, иноходец продолжал стонать, мотая головой из стороны в сторону. Ему было холодно, он дрожал всем телом. Танабай скинул с себя шубу и покрыл ею спину коня.

— Ну что, плохо тебе? Совсем плохо? Замерз ты, Гульсары. А ведь ты никогда не мерз.

Танабай что-то еще бормотал, но иноходец уже ничего не слышал. Сердце у него стучало уже в самой голове, оглушительно, срываясь и захлебываясь: тум-там, тум, тум-там, тум… — будто табун убегал в панике от настигавших его преследователей.

Луна вышла из-за гор, повисла в тумане над миром. Беззвучно упала и потухла звезда…

— Ты тут полежи, я пойду курая наломаю, — сказал старик.

Он долго бродил вокруг, собирая сухостой прошлогоднего бурьяна. Руки исколол колючками, пока собрал охапку. Пошел еще, спустился в овраг, на всякий случай с ножом в руке, и наткнулся здесь на кусты тамариска. Обрадовался — будет настоящий костер.

Гульсары всегда боялся горевшего вблизи огня. Теперь не боялся, его обдавало теплом и дымом. Танабай молча сидел на мешке, подкидывал в костер тамариск вперемешку с бурьяном и смотрел на огонь, грея руки. Иногда вставал, поправлял на коне наброшенную шубу и снова садился к огню.

Гульсары отогрелся, дрожь затихла, но в глазах стояла желтая муть, давило и жало в груди, дышать было нечем. Пламя то падало, то вставало на ветру. Старик, сидевший напротив, давнишний хозяин его, то исчезал, то появлялся. И казалось иноходцу в бреду, что скачут они по степи в грозовую ночь, ржет он, вскидываясь на дыбы, ищет табун, а его нет. Загораются и гаснут белые всполохи.

То светло, то темно, то светло, то темно…

## 7

Отошла зима, отошла на время, чтобы показать пастухам, что жить на свете не так-то уж и трудно. Будут теплые дни, скот нажирует тело, будет вдоволь молока и мяса, будут скачки в праздники, будут будни — окот, стрижка, выхаживание молодняка, кочевка, и между всем этим у каждого своя жизнь — любовь и разлука, рождения и смерти, гордость за успехи детей и огорчения при неутешительных вестях о них из интернатов: при себе-то, может, лучше учился бы… Мало ли чего будет, забот всегда предостаточно, и позабудутся на время зимние невзгоды. Джуты, падежи, гололедицы, дырявые юрты и холодные кошары останутся в сводках и отчетах до следующего года. А там опять грянет зима — на белой верблюдице домчится, разыщет пастуха, где бы он ни был, в горах или в степи, и покажет ему свой норов. Все припомнит он, о чем на время призабыл. И в двадцатом веке зима ведет себя все так же…

Все так же было и тогда. Спустились с гор отощавшие стада и табуны и разбрелись по степи. Весна. Пережили зиму.

В ту весну гулял Гульсары жеребцом в табуне.

Танабай теперь редко когда оседлывал его, жалел, да и нельзя было этого делать — приближался случной сезон.

Хорошим жеребцом обещал быть Гульсары. Следил за махонькими жеребятами прямо как отец. Чуть что проглядит матка, он уже здесь, не даст жеребенку упасть куда-нибудь или отбиться от косяка. И еще одно достоинство было у Гульсары: не любил, чтобы напрасно тревожили лошадей, — если так случалось, сразу угонял табун подальше.

Зимой того года в колхозе произошли изменения. Прислали нового председателя. Чоро сдал дела и лежал в районной больнице. С сердцем у него становилось совсем плохо. Танабай все собирался поехать проведать друга, да разве вырвешься? Пастух, как многодетная мать, вечно в заботах, особенно зимой да по весне. Животное не машина: не отключишь рубильник и не уйдешь. Так и не смог тогда Танабай съездить в районную больницу. Сменщика теперь у него не было. Подменным табунщиком числилась жена — надо же было как-то зарабатывать на жизнь: хоть и мало чего стоит трудодень, а все же на два трудодня можно было получить больше, чем на один.

Но Джайдар — с ребенком на руках. Какой она

сменщик? День и ночь самому приходилось управляться. Пока Танабай собирался, сговариваясь с соседями о подмене, пришла весть, что Чоро выписался из больницы и вернулся в аил. И тогда они с женой решили, что побывают у него потом, спустившись с гор. А только спустились в долину, только обжились на новом месте, как случилось то, о чем Танабай до сих пор не может вспомнить спокойно…

Слава иноходца — палка о двух концах. Чем больше гремит он на всю округу, тем больше зарится на него начальство.

В тот день с утра отогнал Танабай лошадей на выпас, а сам вернулся домой позавтракать. Сидел с дочуркой на коленях, пил чай, переговариваясь с женой о разных семейных делах.

Надо было съездить в интернат к сыну, а заодно и на базар, к станции, купить там на барахолке кое-что из одежды для детей и жены.

— В таком случае, Джайдар, оседлаю я иноходца, — сказал Танабай, прихлебывая из пиалы. — А то не успею обернуться. Съезжу последний раз и больше не буду его трогать.

— Смотри, тебе виднее, — согласилась она.

Снаружи послышался топот верховых, кто-то ехал к ним.

— Глянь-ка, — попросил он жену. — Кто там?

Она вышла и, вернувшись, сказала, что это «завферма Ибраим» и с ним еще кто-то.

Танабай поднялся нехотя, вышел из юрты с дочкой на руках. Хотя и недолюбливал он заведующего коневодческой фермой Ибраима, но гостя полагается встретить. А за что он недолюбливал Ибраима, Танабай и сам не знал. Вроде бы и обходительный он не в пример другим, а что-то в нем было все же скользковатое. Самое главное — делать он ничего не делал, так себе — учет, переучет. Настоящей коневодческой работы на ферме вовсе не было, каждый табунщик был предоставлен самому себе. На партсобраниях Танабай не раз говорил об этом, все соглашались, соглашался и Ибраим, благодарил за критику, но все оставалось по-прежнему. Хорошо еще, что табунщики подобрались добросовестные. Чоро их сам подбирал.

Ибраим, сойдя с седла, приветливо развел руки.

— Ассалом алейкум, ба-ай! — Он всех табунщиков называл баями.

— Алейкум ассалом! — сдержанно отвечал Танабай, пожимая приехавшим руки.

— Как живы-здоровы? Как лошади, Танаке, как

сам? — Ибраим сыпал свои привычные вопросы, и его мясистые щеки расплывались в столь же привычной улыбке.

— В порядке.

— Слава богу. За вас я не беспокоюсь.

— Прошу в юрту.

Джайдар стелила для гостей новую кошму, а на кошму бостек из козьих шкур — специальный полог для сидения на полу.

И ей уделил внимание Ибраим.

— Здравствуйте, Джайдар-байбиче. Как ваше здоровье? Хорошо ли ухаживаете за своим баем?

— Здравствуйте, проходите, садитесь сюда.

Все расселись.

— Налей нам кумыса, — попросил Танабай жену.

Пили кумыс, говорили о том о сем.

— Сейчас самое верное дело — животноводство. Здесь хоть летом молоко, мясо, — рассуждал Ибраим, — а на полеводстве или там на других работах — вовсе ничего. Так что лучше сейчас держаться табунов да отар. Верно ведь, Джайдар-байбиче?

Джайдар кивнула, а Танабай промолчал. Знал он это и сам и не впервые слышал такое от Ибраима, не упускавшего случая намекнуть на то, что

положением животновода следует дорожить. Хотелось Танабаю сказать, что ничего, мол, тут хорошего нет, если люди будут держаться за теплые местечки, где молоко и мясо. А как же другие? До каких пор люди будут работать задарма? Разве так было до войны? Осенью по две, по три брички хлеба свозили в каждый дом. А теперь что? Бегают с пустыми мешками, где бы что добыть. Сами хлеб растят, и сами без хлеба сидят. Куда это годится? Одними собраниями да увещаниями долго не протянешь. Чоро потому и подорвал свое сердце, что, кроме хороших слов, ничего уже не мог дать людям за работу. Но все это, что наболело у него на душе, бесполезно было говорить Ибраиму. Да и не хотел Танабай сейчас затягивать разговор. Надо было побыстрей выпроводить их, оседлать иноходца — ехать по делам, чтобы пораньше обернуться. Зачем они пожаловали? Но спрашивать было неудобно.

— Что-то не узнаю я тебя, брат, — обратился Танабай к спутнику Ибраима, молодому молчаливому джигиту. — Не сын ли ты покойного Абалака?

— Да, Танаке, я его сын.

— О, как время идет! Взглянуть приехал на табуны? Любопытно?

— Да нет, мы…

— Он приехал вместе со мной, — перебил его Ибраим. — Мы тут по делу, об этом потом. Кумыс у вас, Джайдар-байбиче, прямо отменный. А запах какой крепкий. Налейте-ка еще чашку.

Снова заговорили о том о сем. Чуял Танабай неладное, но никак не мог взять в толк, что же привело к нему Ибраима. Наконец Ибраим достал из кармана какую-то бумагу.

— Танаке, мы к вам по такому делу, вот с такой бумагой. Прочтите.

Читал Танабай про себя, по складам, читал и не верил глазам. Размашистыми буквами на бумаге было написано:

«Распоряжение.
Табунщику Бакасову.
Отправить иноходца Гульсары на конюшню для верховой езды.
Пред. к-за (подпись неразборчивая).
5 марта 1950 г.».

Ошарашенный столь неожиданным оборотом дела, Танабай молча сложил бумагу вчетверо, положил в нагрудный карман гимнастерки и долго сидел, не поднимая глаз. Под ложечкой неприятно холодило. Собственно, неожиданного

тут ничего не было. Для того он и выращивал лошадей, чтобы затем передавать их другим для работы, для езды. Скольких он уже отправил по бригадам за эти годы! Но отдать Гульсары! Это было сверх его сил. И он стал лихорадочно соображать, как ему отстоять иноходца. Надо было все хорошенько обдумать. Надо было взять себя в руки. Ибраим уже начал тревожиться.

— Вот по такому небольшому делу и завернули к вам, Танаке, — осторожно пояснил он.

— Хорошо, Ибраим, — спокойно глянул на него Танабай. — Дело это никуда не ускачет. Попьем еще кумыса, поговорим.

— Ну конечно, вы же разумный человек, Танаке.

«Разумный! Черта с два поддамся на твои лисьи слова!» — озлился про себя Танабай.

И снова пошел незначительный разговор. Спешить теперь было некуда.

Так впервые столкнулся Танабай с новым председателем колхоза. Вернее, не с ним лично, а с его неразборчивой подписью. Его самого он в глаза еще не видел. В горах зимовал, когда тот пришел на смену Чоро. Говорили, что человек он крутой, в больших начальниках ходил. На первом же собрании предупредил, что будет строго наказы-

вать нерадивых, а за невыполнение минимума трудодней пригрозил судом, сказал, что все беды в колхозах происходили оттого, что колхозы были мелкими, теперь их будут укрупнять, вскоре положение должно выправиться — для того и послали его сюда, и он ставит своей главной задачей вести хозяйство по всем правилам передовой агротехники и зоотехники. А для этого все обязаны учиться в агротехнических и зоотехнических кружках.

И действительно, учебу наладили — развесили плакаты, лекции стали читать. А если чабаны засыпали на лекциях, то это уж их дело…

— Танаке, нам пора собираться, — выжидающе посмотрел на Танабая Ибраим и стал натягивать оползшие голенища сапог, встряхивать и прихорашивать свой лисий тебетей [23].

— Вот что, завферма, передай председателю: Гульсары я не отдам. Он у меня табунный жеребец. Маток кроет.

— Ой-бой, Танаке, да мы вам вместо него пять жеребцов дадим, ни одна матка холостая не останется. Разве же это вопрос? — изумился Ибраим. Он был доволен, все шло хорошо, и вдруг… Эх,

---

**[23] Примечания: 23**

Тебетей — шапка, отделанная мерлушкой или лисьим мехом.

будь это не Танабай, а кто-нибудь другой, разговор был бы короток. Но Танабай есть Танабай, он и брата своего не пожалел, с этим надо считаться. Тут приходится помягче стелить.

— Не нужны мне ваши пять жеребцов! — Танабай отер вспотевший лоб и, помолчав, решил идти напрямую. — Что, твоему председателю не на чем ездить, что ли? Лошади на конюшне перевелись? Почему именно Гульсары потребовался?

— Ну как же, Танаке? Председатель — руководитель наш, уважение, стало быть, ему. Ведь он в район ездит, и к нему люди приезжают. Председатель на виду, при народе, так сказать…

— Что «так сказать»? На другом коне признавать его никто не будет? Или если на виду, так обязательно на иноходце?

— Обязательно, не обязательно. Но вроде полагается. Вот вы, Танаке, солдатом были на войне. Разве вы ездили на легковой, а генерал ваш на грузовике? Нет, конечно. Генералу — генеральское, а солдату — солдатское. Резонно?

— Здесь дело другое, — неуверенно возразил Танабай. Почему именно другое, он не стал объяснять, да и не мог бы объяснить. И, чувствуя, что кольцо вокруг иноходца сжимается, сказал зло: — Не отдам. А неугоден — убирайте с табуна. Пойду

в кузницу. Там вы у меня молот не отберете.

— К чему так, Танаке? Мы вас уважаем, ценим. А вы как маленький. Разве же вам к лицу так? — Ибраим заерзал на месте. Кажется, влип. Сам наобещал, сам подсказал, сам вызвался, а этот упрямый тип все дело срывает.

Ибраим тяжело вздохнул и обратился к Джайдар:

— Сами посудите, Джайдар-байбиче, ну что такое один конь, ну иноходец? В табуне каких только лошадей нет — выбирайте любую. Человек приехал, прислали его…

— А ты что так стараешься? — спросила Джайдар.

Ибраим запнулся, развел руками:

— А как же? Дисциплина. Мне поручили, я человек маленький. Не для себя. Мне хоть на ишаке. Вот спросите, сына Абалака послали пригнать иноходца.

Тот молча кивнул головой.

— Нехорошо получается, — продолжал Ибраим. — Председателя нам прислали, он наш гость, а мы всем аилом коня порядочного не дадим ему. Узнает народ, что скажет? Где видано такое у киргизов?

— Вот и хорошо, — отозвался Танабай, — пусть

узнает аил. Я поеду к Чоро. Пусть он рассудит.

— Вы думаете, Чоро скажет — не отдавать? С ним согласовано. Подведете только его. Вроде саботаж. Нового председателя не признаем, к старому идем жаловаться. А Чоро — человек больной. Зачем портить его отношения с председателем? Чоро будет парторгом, ему работать с ним.

И тут, когда речь зашла о Чоро, Танабай замолчал. Все замолчали.

Джайдар тяжело вздохнула.

— Отдай, — сказала она мужу, — не держи людей.

— Вот это разумно, так бы давно, спасибо вам, Джайдар-байбиче.

Не зря Ибраим рассыпался в благодарностях. Не так уж много времени прошло после этого, а он из завфермой стал заместителем председателя по животноводству…

Танабай сидел в седле, потупив глаза, и не глядя все видел. Видел, как Гульсары был пойман и как на него надели новый недоуздок — свой Танабай ни за что не отдал бы. Видел, как не хотел Гульсары уходить из табуна, как рвался он на поводу у сына Абалака, как лупцевал его плеткой Ибраим с потягом сплеча, подскакивая на коне то с од-

ной, то с другой стороны. Видел глаза иноходца, смятенный взгляд их, не понимающий, куда и зачем уводят его незнакомые люди от маток и жеребят, от его хозяина, видел, как вырывался пар из его раскрытой пасти, когда он ржал, видел его гриву, спину, круп, следы плетки на спине и боках, видел все его стати, даже небольшой нарост каштана на правой передней ноге выше запястья, видел его поступь, следы копыт, все видел до последней волосинки его светло-желтой буланой шерсти, — все видел и, прикусив губу, молча страдал. Когда он поднял голову, те, что увели Гульсары, уже скрывались за бугром. Танабай вскрикнул и припустил коня вслед за ними.

— Стой, не смей. — Джайдар выбежала из юрты.

И на скаку его вдруг осенила страшная догадка — мстит жена иноходцу за те ночи. Он круто развернул коня, нахлестывая камчой, повернул назад. Осадил возле юрты, спрыгнул и, страшный, с исказившимся, побелевшим лицом, подбежал к жене.

— Ты почему? Ты почему сказала «отдай»? — прошептал он, глядя в упор.

— Уймись. Опусти руки, — как всегда спокойно осадила она его. — Послушай, что я тебе скажу.

Разве Гульсары твоя собственная лошадь? Личная? Что у тебя есть своего? Все у нас колхозное. Этим живем. Иноходец тоже колхозный. А председатель — хозяин колхоза: как скажет, так и будет. А насчет того напрасно думаешь. Можешь хоть сейчас уходить. Уходи. Она лучше меня, красивей, моложе. Хорошая женщина. Я тоже могла овдоветь, но ты вернулся. Сколько я тебя ждала! Ну пусть это не в счет. У тебя трое детей. Куда их? Что им скажешь потом? Что они скажут? Что я им скажу? Решай сам…

Уехал Танабай в степь. Пропадал у табуна до самого вечера, все никак не мог успокоиться. Осиротел табун. Осиротела душа. Унес иноходец вместе с собой и ее. Все унес. Все не то. И солнце не то, и небо не то, и сам вроде не тот.

Вернулся уже затемно. Вошел в юрту молчаливый, почерневший. Девочки спали уже. Огонь горел в очаге. Жена слила ему воды на руки. Подала ужин.

— Не хочу, — отказался Танабай. А потом сказал: — Возьми темир-комуз [24], сыграй «Плач верблюдицы».

Джайдар взяла темир-комуз, поднесла его к

**[24] Примечания: 24**

Темир-комуз — щипковый музыкальный инструмент в виде железной скобы со стальным языком посредине.

губам, тронула пальцем тоненькую стальную струнку, дохнула на нее, затем вдохнула воздух в себя, и полилась древняя музыка кочевников. Песня о верблюдице, потерявшей белого верблюжонка. Много дней бежит она по пустынному краю. Ищет, кличет детеныша. Горюет, что не водить ей больше за собой его в час вечерний над обрывом, в час утренний по равнинам, не обирать им вместе листья с веток, не ходить по зыбучим пескам, не бродить по весенним полям, не кормить его белым молоком. Где ты, темноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко…

Хорошо играла Джайдар на темир-комузе. Когда-то полюбил он ее за это, девчонкой еще.

Слушал Танабай, уронив голову, и опять не глядя все видел. Руки ее, погрубевшие от долголетней работы, в жару и холод. Поседевшие волосы и морщины, появившиеся на шее, возле рта, возле глаз. Проступала за теми морщинами ушедшая юность — смуглая девчонка с косицами, падающими на плечи, и он сам — молодой-молодой тогда, и их былая близость. Он знал, что сейчас она его не замечает. Она была погружена

в свою музыку, в свои мысли. И видел он еще в тот час половину бед и страданий своих в ней. Она несла их всегда в себе.

…Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, темноглазый верблюжонок? Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко…

А девочки спали обнявшись. А за юртой лежала степь — огромная и непроглядная во мраке ночи.

В тот час бунтовал Гульсары в конюшне, не давал конюхам спать. Первый раз он попал в конюшню — в тюрьму для лошадей.

## 8

Велика была радость Танабая, когда однажды утром увидел он в табуне своего иноходца. Со свисающим обрывком веревки от недоуздка, под седлом.

— Гульсары, Гульсары, здравствуй! — подскочил наметом Танабай и увидел его вблизи в чужой уздечке, под чужим громоздким седлом с тяжелыми стременами. И что его особенно возмутило — с пышной бархатной подушкой на седле, точно ездил на нем не мужчина, а баба толстозадая.

— Тьфу! — Танабай сплюнул от возмущения. Хотел поймать коня, сбросить с него всю эту нелепую сбрую, но Гульсары увильнул. Иноходцу сейчас было не до него. Он обхаживал маток. Он так истосковался по ним, что не заметил своего бывшего хозяина.

«Значит, сбежал-таки, оборвал повод. Молодец! Ну погуляй, погуляй, так и быть, я умолчу», — подумал Танабай и решил, что надо дать пробежку табуну. Пусть Гульсары почувствует себя как дома, пока за ним не примчалась погоня.

— Кайт-кайт-кайт! — крикнул Танабай, при-

встал в седле и, размахивая укруком, погнал табун прочь.

Двинулись матки, сзывая жеребят, побежали, резвясь, молодые кобылицы. Ветер обдувал их гривы. Смеялась под солнцем зеленеющая земля. Гульсары встрепенулся, выправился, пошел гоголем. Вымахнул в голову табуна, отбил нового жеребца, загнал его на зады, а сам, красуясь перед табуном, зафыркал, затанцевал и пошел забегать то с одной, то с другой стороны. Кружил ему голову табуний дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра. Дела ему не было, что сидело на нем нелепое седло с нелепой бархатной подушкой, что тяжелые стремена колотили его по бокам. Забыл он, как вчера стоял в районе у большой коновязи, грызя удила и шарахаясь от громыхающих грузовиков. Забыл, как стоял потом в луже у вонючей забегаловки и как новый его хозяин вышел вместе со всей своей компанией и ото всех несло вонью. Как рыгал и сопел новый, садясь на него. Забыл, как по дороге устроили они дурацкую скачку по грязи. Как понес он нового хозяина во весь опор и как тот трюхал в седле, болтаясь мешком, а потом стал рвать удила и бить его камчой по голове.

Все забыл иноходец, все: кружил ему голову

табуний дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра… Бежал иноходец, бежал, не подозревая, что погоня уже мчится за ним.

Вернул Танабай табун на прежнее место, и тут подоспели из аила двое конюхов. И снова увели Гульсары из табуна в конюшню.

Однако вскоре он появился опять. На этот раз без уздечки и без седла. Скинул каким-то образом узду с головы и ночью убежал из конюшни. Танабай сперва посмеялся, а потом примолк и, подумав, накинул укрук на шею иноходца. Сам поймал, сам обротал и сам повел его в аил, попросив молодого табунщика с соседнего стойбища подгонять иноходца сзади. На полпути встретили конюхов, едущих за беглым иноходцем. Передавая им Гульсары, Танабай даже поворчал на них:

— Вы что там, безрукие, что ли, собрались, не можете уследить за конем председателя. Вяжите его покрепче.

А когда Гульсары прибежал в третий раз, Танабай не на шутку рассердился:

— Ты что, дурак! Что тебя носит сюда нелегкая? Дурак ты и есть дурак, — ругался он, гоняясь с укруком за иноходцем. И снова потащил его назад, и опять ругался с конюхами.

Но Гульсары не собирался умнеть, прибегал при каждом удобном случае. Осточертел конюхам, осточертел Танабаю.

…В тот день уснул Танабай поздно — поздно вернулся с выпаса. Подогнал табун поближе к юрте на всякий случай и заснул — беспокойно, тяжело. Измучился за день. Снилось ему странное что-то — то ли он опять на войне, то ли на бойне где-то. Кровь кругом, руки тоже в липкой крови. И сам думает во сне: не к добру снится кровь. Хочет вымыть руки где-нибудь. А его толкают, смеются над ним, хохочут, визжат — и непонятно кто: «Танабай, в крови моешь руки, в крови. Здесь нет воды, Танабай, здесь кругом кровь! Ха-ха, хо-хо, хи-хи!..»

— Танабай, Танабай! — трясла его за плечо жена. — Проснись.

— А, что?

— Слышишь, в табуне что-то. Дерутся жеребцы. Наверно, опять Гульсары прибежал.

— Будь он проклят! Покою нет никакого! — Танабай быстро оделся, схватил укрук и побежал в ложбину, где слышалась какая-то свалка. Светло было уже.

Подбежал и увидел Гульсары. Но что это? Иноходец прыгает, сдвуноженный кишеном

— железными путами. Гремят кандалы на ногах, крутится он, на дыбы встает, стонет, кричит. А этот лопух — косячный жеребец — и лягает, и грызет его почем зря.

— Ах ты изверг! — Танабай налетел вихрем, протянул лопуха так, что переломился укрук. Отогнал. А у самого слезы на глазах. — Что с тобой сделали, а? Кто же это додумался заковать тебя! И чего ты притащился сюда, болван разнесчастный?..

Надо же — в такую даль, через реку, через рвы и кочки допрыгал сюда в кандалах, добрался-таки до табуна. Всю ночь, наверно, прыгал, всю ночь шел. Один, под звон цепей, как беглый каторжник.

«Ну и ну!» — качал головой Танабай. Стал гладить иноходца, лицо подставил ему под губы. А тот перебирал губами, щекотал, глаза жмурил.

— Как же нам быть, а? Бросил бы ты это, Гульсары. Не поздоровится тебе. Глупый ты, глупый. Ничего-то ты не знаешь…

Осмотрел Танабай иноходца. Ссадины, полученные в драке, заживут. А вот ноги потер кандалами крепко. Венчики копыт кровоточат. Войлочная обшивка кишена оказалась гнилой, моль побила. Когда прыгал конь по воде, обшивка

слезла, обнажила железо. Вот оно и раскровенило ему ноги. «Не иначе Ибраим раскопал у стариков кишен. Его это дело», — со злостью думал Танабай. Да и чье же еще? Кишен — старинные цепные путы. У каждого кишена особый замок, без ключа не откроешь. Раньше надевали кишен на ноги лучшим коням, чтобы конокрады не могли их угнать с выпаса. Обыкновенные путы из веревки перерезал ножом — и делу конец, а с кишеном коня не уведешь. Но то было давно, а сейчас кишен стал уже редкостью. У старика разве какого-нибудь хранился как память о прошлом. И вот надо ж, наверняка кто-то подсказал. Заковали иноходца, чтобы не смог он далеко уйти с аильного выпаса. А он все-таки ушел…

Снимали кишен с ног Гульсары всей семьей. Джайдар держала под уздцы, прикрывала иноходцу глаза, дочки играли поблизости, а Танабай, притащив весь свой короб с инструментами, обливался потом, пытаясь подобрать отмычку к замку. Пригодилась кузнечная сноровка, долго пыхтел, возился, руки сбил, но все же нашел способ, отомкнул.

Швырнул кишен подальше, с глаз долой. Смазал мазью кровоточины на ногах иноходца, и Джайдар повела его к коновязи. Старшенькая

дочка подняла на спину младшую, и они тоже отправились к дому.

А Танабай еще сидел, отдувался — устал. Потом собрал инструмент, пошел, поднял с земли кишен. Вернуть надо, а то еще отвечать придется. Разглядывая поржавевший кишен, подивился работе мастера. Все было сделано отменно, с выдумкой. Работа старых киргизских кузнецов. Да, потеряно теперь это ремесло, забыто навсегда. Не нужны теперь кишены. А вот другие вещи исчезли — это жаль. Какие украшения, утварь какую из серебра, из меди, из дерева, из кожи умели делать! И недорогие вроде, а красивые вещи были. Каждая сама по себе, особая. Теперь таких нет. Теперь из алюминия лепят все подряд: кружки, чашки, ложки, серьги и тазы — куда ни придешь, все одно и то же. Скучно даже. И мастера-седельники тоже последние остались. А какие седла умели делать! Каждое седло свою историю имело: кто, когда, для кого сделал и как отблагодарен был за свой труд. Скоро, наверно, на машинах будут ездить все, как там, в Европе. Все на одинаковых машинах, только по номерам и отличишь. А умение дедовское забываем. Похоронили начисто старое ручное мастерство, а ведь в руках и душа, и глаза человека…

Иногда вдруг находило на Танабая такое. Пускался в рассуждения о народном ремесле, негодовал и не знал, кого винить, что оно исчезает. А ведь в молодости сам был одним из таких могильщиков старины. Однажды выступил даже на комсомольском собрании с речью о ликвидации юрт. Услышав откуда-то, что юрта должна исчезнуть, что юрта — дореволюционное жилье. «Долой юрту! Хватит жить по старинке».

И «раскулачили» юрту. Стали строить дома, а юрты пошли на слом. Кошмы резали на всякие нужды, дерево пошло на изгороди, загоны для скота и даже на растопку…

А потом оказалось, что отгонное животноводство немыслимо без юрт. И всякий раз теперь Танабай сам поражался, как он мог говорить такое, ругать юрту, лучше которой пока ничего не придумали для кочевья. Как он мог не видеть в юрте удивительное изобретение своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений?

Теперь он жил в дырявой, прокопченной юрте, доставшейся от старика Торгоя. Юрте было много лет, и если она еще кое-как держалась, то только благодаря долготерпению Джайдар. Целыми днями чинила, латала она юрту, приводила ее

в жилой вид, а через неделю-другую снова расползалась квелая кошма, снова зияли прорехи, задувал ветер, сыпал снег, протекал дождь. И опять жена принималась за починку, и конца этому не было видно.

— До каких пор будем мучиться? — жаловалась она. — Смотри, это же не кошма, а прах, сыплется, как песок. А кереге-ууки [25] во что превратились! Стыдно сказать. Ты хоть добился бы, чтобы дали нам хотя бы новые кошмы. Хозяин ты дома или нет? Должны же мы наконец зажить по-людски…

Танабай первое время успокаивал, обещал. А когда заикнулся было в аиле, что ему нужно поставить новую юрту, оказалось, что старые мастера давно повымерли, а молодежь и представления не имеет, как их надо делать. Кошм для юрт в колхозе тоже не было.

— Хорошо, дайте шерсти, мы сами сваляем кошмы, — попросил Танабай.

— Какая шерсть! — сказали ему. — Ты что, с луны свалился? Вся шерсть идет на продажу по плану, в хозяйстве не положено оставлять ни грамма… — И предложили взамен брезентовую

---

**[25] Примечания: 25**

Кереге-уук — разборный деревянный остов юрты.

палатку.

Джайдар наотрез отказалась:

— Лучше уж в дырявой юрте жить, чем в палатке.

Многие животноводы к тому времени вынуждены были перейти в палатки. Но что это за жилье? Ни встать, ни сесть, ни огня развести. Летом невозможная жарища, зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе вещи расставить, ни кухню устроить, ни убрать покрасивей. А гости появятся — не знаешь, куда их приткнуть.

— Нет-нет! — отказывалась Джайдар. — Как хочешь, а в палатку я жить не пойду. Палатка для бессемейных разве, и то на время, а мы с семьей, у нас дети. Купать их надо, воспитывать, нет, не пойду.

Встретил как-то Танабай в те дни Чоро, рассказал обо всем.

— Как же это получается, председатель?

Чоро грустно покачал головой:

— Об этом мы с тобой должны были подумать в свое время. И руководители наши наверху. А сейчас что — пишем письма и не знаем, что скажут. Говорят, шерсть — ценное сырье. Дефицит. Экспорт. На внутрихозяйственные нужды расходовать, говорят, вроде бы нецелесообразно.

Умолк после этого Танабай. Выходит, сам был отчасти виноват. И молча посмеивался над своей глупостью: «Нецелесообразно! Ха-ха-ха! Нецелесообразно!»

Долго не выходило у него из головы это жестокое слово — «нецелесообразно».

Так они и жили в старой, латаной-перелатаной юрте, для починки которой нужна была обыкновенная шерсть. А шерсть эту, кстати, тоннами стригли с колхозных отар…

Подошел Танабай к своей юрте с кишеном в руках. И такой убогой показалась она ему, такое зло взяло его на все — и на себя, и на кишен этот, которым раскровенили ноги иноходцу, что зубами заскрипел. А тут под горячую руку подвернулись еще конюхи, примчавшиеся за Гульсары.

— Забирайте! — крикнул им Танабай. И губы его запрыгали от злости. — А кишен этот передайте председателю и скажите ему: если еще раз посмеет заковать иноходца, я ему этим кишеном голову размозжу. Так и скажите!..

Зря он это сказал. Ох зря! Никогда не проходила ему даром эта горячность и прямота его…

## 9

Стоял светлый, солнечный день. Щурилась на солнце весна, курчавилась новой листвой, дымилась на пашне и лезла травой на тропы, прямо под ноги.

Возле конюшни ребятня играла в чижика. Подкинет чижик в воздух этакий шустрый паренек и пульнет его с размаху вдоль дороги. Станет мерить палкой по земле расстояние — раз, два, три… семь… десять… пятнадцать… Придирчивые судьи идут рядом гурьбой, следя, чтобы тот не мухлевал. Двадцать два.

— Было семьдесят восемь, и теперь двадцать два, — считает паренек и, подведя итог, вскрикивает, вне себя от радости: — Сто! Есть сто!

— Ура-а, сто! — подхватывают другие.

Значит, попал в точку. Без перебора и недобора. Теперь проигравший должен «дудеть». Победитель идет к кону и отсюда снова закидывает чижик. Да так, чтобы подальше. Все бегут туда, где он упал, оттуда еще один удар по чижику, и так три раза. Побежденный чуть не плачет — так далеко придется ему дудеть! Но закон игры неумолим. «Что стоишь, давай дуди!» Дудильщик

набирает воздуху в легкие и бежит, приговаривая:

*Акбай, Кокбай,*
*Телят в поле не гоняй.*
*А погонишь – не догонишь,*
*Будет тебе нагоняй – ду-у-у-у!*

Голова уже трещит, а он все дудит. Но нет, до кона недотянул. Надо возвращаться назад и начинать снова. И снова недотянул. Победитель ликует. Раз не хватает дыху — вези! Он забирается дудильщику на спину, и тот везет его, как ишак.

— Ну вперед, а ну быстрей! — понукает ногами седок. — Ребята, смотрите, это мой Гульсары. Смотри, как он идет иноходью…

А Гульсары стоял за стеной, в конюшне. Томился. Что-то его и не оседлывали сегодня. Не кормили и не поили с утра. Позабыли. Конюшня давно опустела, разъехались брички, разъехались верховые, только он один в стойле…

Конюхи убирают навоз. Ребята шумят за стеной. В табуны бы сейчас, в степь. Видится ему вольная равнина, как бродят там по раздолью табуны. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой…

Дернулся Гульсары, попробовал оборвать

привязь. Нет, крепко привязали его на двух цепных растяжках. Может, услышат свои? Вскинул голову к окну под крышей Гульсары и, перетаптываясь по настилу, гулко и протяжно заржал: «Где вы-ы-ы?..»

— Стой, черт! — подскочив, замахнулся на него лопатой конюх. И, обращаясь к кому-то за дверь, крикнул: — Выводить, что ли?

— Выводи! — ответили со двора.

И вот двое конюхов выводят иноходца во двор. Ух, как светло! А воздух какой! Затрепетали тонкие ноздри иноходца, трогая и вбирая в себя пьяный воздух весны. Листьями горьковато пахнет, влажной глиной пахнет. Кровь играет в теле. Побежать бы сейчас. Гульсары припрыгнул слегка.

— Стой! Стой! — осадило его сразу несколько голосов.

Что это сегодня так много людей вокруг него? С засученными рукавами, руки здоровенные, волосатые. Один, в сером халате, выкладывает на белую тряпицу какие-то блестящие металлические предметы. Сверкают они на солнце до боли в глазах. Другие — с веревками. О, и новый хозяин здесь! Стоит важно, расставив толстые короткие ноги в широченных галифе. Брови насуплены,

как и у всех. Только рукава не засучены. Одной рукой подбоченился, другой крутит пуговицу на кителе. Вчера от него опять разило все тем же вонючим духом.

— Ну, что стоите, начинайте! Начинать, Джорокул Алданович? — обращается к председателю Ибраим. Тот молча кивает головой.

— Ну, давайте! — суетится Ибраим и торопливо вешает на гвоздь в воротах конюшни свой лисий тебетей. Шапка срывается, падает в навоз. Ибраим брезгливо отряхивает ее и снова вешает. — Вы бы посторонились чуток, Джорокул Алданович, — говорит он между тем, — а то ведь, не ровен час, заденет копытом. Конь — тварь неразумная, всегда жди подвоха.

Передернул кожей Гульсары, почувствовав на шее волосяной аркан. Колючий. Аркан завязали скользящей петлей на груди, перекинули конец наружу, на бок. Чего им надо? Зачем-то заводят аркан к задней ноге, на лодыжку, зачем-то еще опутывают ноги. Гульсары начинает нервничать, хрипит, косит глазами. К чему все это?

— Быстрей! — торопит Ибраим и взвизгивает неожиданным фальцетом: — Вали!

Две пары здоровенных волосатых рук рывком берут на себя аркан. Гульсары падает на землю

как подкошенный — гха-а! Солнце кувыркнулось, дрогнула от удара земля. Что это? Почему он лежит на боку? Почему странно вытянулись вверх лица людей, почему деревья поднялись ввысь? Почему так неудобно лежит он на земле? Нет, так не пойдет.

Гульсары мотнул головой, подался всем туловищем. Арканы врезались жгучими путами, сводя ему ноги под живот. Иноходец рванулся, напрягся, отчаянно засучил свободной еще задней ногой. Аркан натянулся, затрещал.

— Наваливай, дави, держи! — заметался Ибраим.

Все кинулись на коня, придавили коленями.

— Голову, голову прижимайте к земле! Вяжи! Тяни! Так. Да побыстрей. Возьми тут еще разок. Тяни, еще раз, еще. Вот так. Теперь зацепи здесь, вяжи узлом! — не переставая визжал Ибраим.

И все туже опутывали арканом ноги иноходца, пока все они не были собраны в один жесткий узел. Застонал, замычал Гульсары, все еще пытаясь высвободиться из этой мертвой хватки аркана, сбрасывая тех, кто наседал на шею и на голову. Но они снова давили его коленями. Судорога пробежала по взмокшему телу иноходца, онемели ноги. И он сдался.

— Фу, наконец-то!

— Ну и силища!

— Теперь не шелохнется, если даже он трактор!

И тут к поваленному иноходцу подскочил он сам, новый хозяин его, присел на корточки в изголовье, обдал вчерашним сивушным духом и заулыбался в откровенной ненависти и торжестве, точно бы лежал перед ним не конь, а человек, враг его лютый.

К нему подсел, утираясь платком, распаренный Ибраим. И, сидя так рядышком, они закурили в ожидании того, что должно еще было последовать.

А за двором играли мальчишки в чижика:

*Акбай, Кокбай,*

*Телят в поле не гоняй,*

*А погонишь – не догонишь,*

*Будет тебе нагоняй – ду-у-у-у!*

Солнце все так же светило. И видел он в последний раз большую степь, видел, как бродят табуны там по раздолью. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой… А морду облепили мухи. Не сгонишь.

— Начнем, Джорокул Алданович? — снова

спросил Ибраим.

Тот молча кивнул. Ибраим встал.

Все снова задвигались, навалились коленями и грудями на связанного иноходца. Прижали еще крепче голову его к земле. Чьи-то руки завозились в паху.

Мальчишки поналезли на дувал, как воробьи.

— Смотри, ребята, смотри, что делают.

— Копыта чистят иноходцу.

— Знаешь ты много. Копыта! Вовсе и не копыта.

— Эй, что вам тут надо, а ну прочь отсюда! — замахал на них Ибраим. — Идите играйте. Нечего вам тут.

Ребята скатились с дувала.

Стало тихо.

Гульсары весь сжался от толчков и прикосновения чего-то холодного. А новый хозяин сидел на корточках перед ним, смотрел и чего-то ожидал. И вдруг острая боль взорвала свет в глазах. Ах! Вспыхнуло ярко-красное пламя, и сразу стало темно, черным-черно…

Когда все было кончено, Гульсары лежал еще связанный. Надо было, чтобы унялась кровь.

— Ну вот, Джорокул Алданович, все в порядке, — потирая руки, говорил Ибраим. — Теперь

он никуда бегать не будет. Все, набегался. А на Танабая не обращайте внимания. Плюньте. Он всегда был таким. Он брата своего не пожалел — раскулачил, в Сибирь заслал. Кому он, думаете, добра желает…

Довольный Ибраим снял с гвоздя лисий тебетей, встряхнул его, пригладил и надел на потную голову.

А ребятня все гоняла чижа:

*Акбай, Кокбай,*
*Телят в поле не гоняй,*
*А погонишь – не догонишь,*
*Будет тебе нагоняй – ду-у-у-у!*

— Ага, не добежал, подставляй спину. Чу, Гульсары, вперед! Ура-а, это мой Гульсары!

Стоял светлый, солнечный день…

## 10

Ночь. Глубокая ночь. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Пламя падает и встает на ветру…

Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля. Затылок сводит чугунной тяжестью, голова устала мотаться то вверх, то вниз, как тогда, когда он прыгал, сдвуноженный кишеном. И как тогда, не может Гульсары разбежаться, не может порвать кандалы. Хочется ему свободно махать ногами, чтобы копыта горели от бега, хочется лететь над землей, чтобы дышать всей грудью, хочется быстрей домчаться до выпаса, чтобы заржать во всю глотку, скликая табун, чтобы бежали кобылы и жеребята вместе с ним по большой полынной степи, но кандалы не пускают. Один, под звон цепей, как беглый каторжник, идет он, прыгает шаг за шагом, шаг за шагом. Пусто, темно, одиноко. Мелькает луна наверху в струях ветра. Она встает перед глазами, когда иноходец, прыгая, вскидывает голову, и падает камнем, когда он роняет голову.

То светло, то темно, то светло, то темно… Глаза устали смотреть.

Гремят цепи, растирают ноги в кровь. Прыжок, еще прыжок, еще. Темно, пусто. Как долго идти в кандалах, как трудно идти в кандалах.

Горит костер на краю оврага. Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля…

## 11

Через две недели предстояло отправиться в новое кочевье, снова в горы. На все лето, на всю осень и всю зиму, до следующей весны. С квартиры на квартиру и то чего стоит переехать! Откуда только набирается барахло? Не потому ли киргизы издавна говорят: если считаешь, что ты беден, — попробуй перекочуй.

Надо было уже приготовляться к кочевке, надо было сделать уйму разных дел, съездить на мельницу, на базар, к сапожнику, в интернат к сыну… А Танабай ходил как в воду опущенный. Странным он казался жене в те дни. На рассвете спешит — поговорить не успеешь, ускачет в табун. Возвращается к обеду мрачный, раздраженный. И все будто чего-то ожидает, все время настороже.

— Что с тобой? — допытывалась Джайдар.

Он отмалчивался, а однажды сказал:

— Сон я видел недавно дурной.

— Это ты чтобы отвязаться от меня?

— Нет, на самом деле. Из головы не выходит.

— Дожили. Не ты ли был заводилой безбожников в аиле? Не тебя ли проклинали старухи? Стареешь ты, Танабай, вот что, крутишься возле

табуна, а что кочевка на носу — тебе хоть бы что. Разве я управлюсь одна с детьми? Съездил бы хоть повидал Чоро. Порядочные люди перед кочевкой проведывают больных.

— Успеется, — отмахивался Танабай, — потом.

— Когда потом? Да ты что, в аил боишься ехать? Поедем завтра вместе. Возьмем детей и поедем. Мне тоже надо побывать там.

На другой день, договорившись с молодым соседом, что он будет приглядывать за табуном, они выехали всей семьей верхом на лошадях. Джайдар — с маленькой девочкой, Танабай — со старшей. Детей везли, посадив перед седлами.

Ехали по улицам аила, здоровались со встречными и знакомыми, а возле кузницы Танабай вдруг остановил лошадь.

— Постой, — сказал он жене. Слез с седла и пересадил старшую дочку к жене на круп коня.

— Ты что? Куда ты?

— Я сейчас, Джайдар. Ты езжай. Скажи Чоро, что я мигом подъеду. В конторе срочные дела, закроется на обед. И в кузницу надо забежать. Подковы, кухнали на кочевку запасти.

— Да неудобно же врозь.

— Ничего, ничего. Ты езжай. Я сейчас.

Ни в контору, ни в кузницу Танабай не загля-

нул. Поехал он прямо на конный двор.

Спешившись, никого не окликая, вошел в конюшню. Пока глаза привыкали к полумраку, во рту пересохло. В конюшне было пустынно и тихо, все лошади в разъезде. Оглядевшись, Танабай облегченно вздохнул. Вышел через боковую дверь во двор конюшни повидать кого-нибудь из конюхов. И тут увидел то, чего боялся все эти дни.

— Так и знал, сволочи! — тихо сказал он, сжимая кулаки.

Гульсары стоял под навесом с забинтованным хвостом, подвязанным веревкой к шее. Между задними раскоряченными ногами темнела огромная, с кувшин, тугая воспаленная опухоль. Конь стоял неподвижно, понуро опустив голову в кормушку. Танабай замычал, кусая губы, хотел подойти к иноходцу, но не посмел. Ему стало жутко. Жутко от этой пустынной конюшни, пустынного двора и одинокого, выхолощенного иноходца. Он повернулся и молча побрел прочь. Дело было непоправимое.

Вечером, когда они вернулись уже к себе в юрту, Танабай печально сказал жене:

— Сбылся мой сон.

— А что?

— В гостях не стал об этом говорить. Гульсары

больше не будет прибегать. Ты знаешь, что они сделали с ним? Охолостили, сволочи!

— Знаю. Потому и потащила тебя в аил. Ты боялся узнать об этом? А чего бояться? Не маленький же ты! Разве первый и последний раз выхолащивают коней? Так было испокон веку и так будет. Это же известно каждому.

Ничего не ответил на это Танабай. Только сказал:

— Нет, все же сдается мне, что наш новый председатель — плохой человек. Чует сердце.

— Ну, ты это брось, Танабай, — сказала Джайдар. — Если оскопили твоего иноходца, так сразу и председатель плохой? Зачем так? Человек он новый. Хозяйство большое, трудное. Чоро вон говорит, что теперь с колхозами разберутся, помогут. Планы какие-то намечают. А ты судишь обо всем раньше времени. Мы-то ведь многого здесь не знаем…

После ужина Танабай отправился в табун и пробыл там до глубокой ночи. Ругал себя, заставлял все забыть, но из головы не выходило то, что увидел днем на конюшне. И думал он, объезжая табун, кружа по степи: «Может, и вправду нельзя судить так о человеке? Глупо, конечно. Оттого, наверно, что старею, что гоняю круглый год та-

бун, ничего не вижу и не знаю. Но до каких пор будет так трудно жить?.. А послушаешь речи — будто все идет хорошо. Ладно — положим, я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибался. Но ведь и другие, наверно, так думают...»

Кружил по степи Танабай, думал, не находил ответа на свои сомнения. И вспомнилось ему, как начинали они когда-то колхоз, как обещали народу счастливую жизнь, какие мечты у всех были. И как бились за те мечты. Перевернули все, перелопатили старое. Что ж, и зажили поначалу неплохо. Еще лучше зажили бы, если бы не эта проклятая война. А теперь? Сколько лет уже прошло после войны, а все латаем хозяйство, как старую юрту. В одном месте прикроешь — в другом лезет прореха. Отчего? Отчего колхоз будто не свой, как тогда, а вроде чужой? Тогда собрание что постановило — закон. Знали, что закон приняли сами и его надо выполнять. А теперь собрание — одни пустые разговоры. Никому нет дела до тебя. Колхозом вроде не сами колхозники управляют, а кто-то со стороны. Точно бы со стороны виднее, что делать, как лучше работать, как вести хозяйство. Крутят, вертят хозяйство то так, то эдак, а толку никакого. Встретиться с людьми и то страшно — того и гляди, спросят:

ну-ка, вот ты, партийный человек, колхоз начинали — больше всех глотку драл, растолкуй нам, как все это получается? Что им скажешь? Хоть бы собрали да рассказали, что к чему. Спросили бы, что у кого на душе, какие мысли, какие заботы. Так нет, уполномоченные приезжают из района тоже какие-то не такие, как прежде. Раньше уполномоченный в народ шел, всем доступный был. А теперь приедет, накричит на председателя в конторе, а с сельсоветом так и вовсе не разговаривает. На партсобрании выступит, так все больше о международном положении, а положение в колхозе вроде не такое уж и важное дело. Работайте, давайте план, и все…

Вспомнил Танабай, как приезжал тут недавно один, все толковал о каком-то новом учении о языке. А попробовал Танабай с ним заговорить о колхозном житье-бытье — косится: мысли ваши, говорит, сомнительные. Не одобрил. Как же все это получается?

«Вот встанет Чоро с постели, — решил Танабай, — заставлю его душу выложить. И сам выложу. Если я путаю, пусть скажет, а если нет?.. Что же тогда? Нет-нет, так не должно быть. Конечно, я путаю. Кто я? Простой табунщик, пастух. А там люди мудрые…»

Вернулся Танабай в юрту и долго не спал. Все голову ломал: в чем тут загвоздка? И снова не находил ответа.

А с Чоро так и не удалось потолковать. Перед кочевкой дела заели.

И опять двинулось кочевье в горы на все лето, на всю осень и зиму, до следующей весны. Снова вдоль реки, по пойме пошли стада, табуны, отары. Караваны вьюков. В воздухе повисло разноголосье, запестрели платки и платья женщин, пели девушки о расставании.

Гнал Танабай свой табун через большой луг, по пригоркам мимо аила. Все так же стоял на окраине тот дом, тот двор, куда заезжал он на своем иноходце. Заныло сердце. Не было теперь для него ни той женщины, ни иноходца Гульсары. Ушло все в прошлое, прошумела та пора, как стая серых гусей по весне…

…Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко…

## 12

Осенью того года судьба Танабая Бакасова неожиданно повернулась.

Вернувшись из-за перевала, он остановился в предгорье, на осенних выпасах, с тем чтобы вскоре уйти с табунами на зимовье в горные урочища.

И как раз в эти дни прибыл посыльный из колхоза.

— Чоро прислал меня, — сказал он Танабаю. — Передал, чтобы ты завтра приехал в аил, а оттуда поедете на совещание в район.

На следующий день Танабай приехал в контору колхоза. Чоро был здесь, в комнатке парторга. Выглядел он куда лучше, чем весной, хотя и заметно было по синеве губ и худобе его, что болезнь все еще сидела в нем. Держался он бодро, очень занят был, народ обступал его. Танабай порадовался за друга. Ожил, значит, снова принялся за работу.

Когда они остались вдвоем, Чоро глянул на Танабая, потрогал ладонью свои впалые, жесткие щеки, улыбнулся:

— А ты, Танабай, не стареешь, все такой же. Сколько мы не виделись — с самой весны? Ку-

мыс и воздух гор — дело великое. А я вот сдаю понемногу. Время, наверно, уже… — Помолчав, Чоро заговорил о деле: — Вот что, Танабай. Знаю, скажешь — дай нахальному ложку, так он вместо одного раза пять раз хлебнет. Опять по твою душу. Завтра едем на совещание животноводов. С животноводством очень плохо, особенно с овцеводством и особенно у нас в колхозе. Прямо гиблое дело. Райком обратился с призывом: коммунистов и комсомольцев на отстающие участки, в отары. Выручай! Тогда выручил с табунами, спасибо, и теперь выручай. Берись за отару, переходи в чабаны.

— Скор ты шибко, Чоро. — Танабай помолчал. «К лошадям я привык, — думал он. — А с овцами скучновато будет! Да и как все это пойдет?»

— Неволю тебя, Танабай, — сказал опять Чоро. — А ничего не поделаешь — партийное поручение. Не сердись. При случае припомнишь по-дружески, отвечу за все сразу!

— Да уж припомню как-нибудь крепко, не обрадуешься! — засмеялся Танабай, не подозревая, что не так далеко то время, когда придется ему припомнить Чоро все… — А насчет отары подумать надо, с женой поговорить.

— Ну что ж, подумай. Но к утру решай, завтра

надо доложить перед совещанием. С Джайдар потом посоветуешься, объяснишь ей все. Да я и сам при случае подъеду, расскажу. Она умная — поймет. Не будь ее при тебе, давно бы где-нибудь шею себе свернул, — пошутил Чоро. — Как там она поживает? Дети как?

И они разговорились о семьях, о болезнях, о том о сем. Танабая все подмывало начать большой разговор с Чоро, однако стали заходить скотоводы, вызванные с гор, да Чоро и сам заспешил, поглядев на часы.

— Значит, так. Коня своего сдай в конюшню. Решили ехать все вместе на машине с утра. Мы ведь машину получили. И вторую скоро получим. Заживем! А я отправлюсь сейчас, приказано к семи быть в райкоме. Председатель уже там. Думаю, успею на иноходце к вечеру, он не хуже машины идет.

— Как, разве ты ездишь на Гульсары? — удивился Танабай. — Уважил, выходит, председатель…

— Как сказать. Уважил не уважил, но отдал его мне. Понимаешь, какая беда, — смеясь, развел руками Чоро. — Возненавидел почему-то Гульсары председателя. Просто уму непостижимо. Звереет, близко не подпускает к себе. Пробовали и так и эдак. Ни в какую! Хоть убей. А я езжу — идет

хорошо, крепко ты его выездил. Знаешь, схватит иной раз сердце, болит, а сяду на иноходца, пойдет он, и боль как рукой снимет. Только за одно это готов всю жизнь работать парторгом, лечит он меня! — смеялся Чоро.

Танабай не смеялся.

— Я ведь тоже его не люблю, — промолвил он.

— Кого? — спросил Чоро, утирая прослезившиеся от смеха глаза.

— Председателя.

Чоро посерьезнел.

— За что же ты его не любишь?

— Не знаю. Думается мне, пустой он человек, пустой и злой.

— Ну знаешь, на тебя трудно угодить. Меня ты упрекал всю жизнь за мягкотелость, этого тоже, оказывается, не любишь... Не знаю. Вышел я на работу не так давно. Пока не разобрался.

Они замолчали. То, что Танабаю хотелось рассказать Чоро — о кишене, в который заковывали Гульсары, о том, как оскопили жеребца, — показалось ему теперь неуместным, неубедительным. И чтобы не длить заминку, Танабай заговорил о том, что порадовало его в разговоре как приятная новость:

— Очень хорошо, что машину дали. Значит, и

в колхозы теперь пойдут машины. Надо, надо. Пора. Помнишь, перед войной получили мы первую полуторку. Митинг целый собрался. Как же — своя машина в колхозе. Ты еще выступал, стоя в кузове: «Вот, товарищи, плоды социализма!» А потом и ее забрали на фронт…

Да, было такое время… Удивительное время, как солнца восход. Что там автомашина! Когда вернулись со стройки Чуйского канала и привезли с собой первые патефоны, как потянулся тогда аил к новой песне! В конце лета то было. По вечерам собирались все к тем, у кого патефоны, выносили их на улицу и все слушали и слушали пластинку про ударницу в красной косынке. «Эй, ударница в красной косынке, скипятила бы ты мне чайку!..» Это тоже были для них плоды социализма…

— А мы сами-то, помнишь, Чоро, после митинга понабивались в полуторку — полным-полно! — вспоминал, оживляясь, Танабай. — Я стоял у кабины с красным флагом, как на празднике. И поехали мы просто так, без дела, на станцию, а оттуда вдоль железной дороги на другую станцию, в Казахстан. Пиво пили в парке. И всю дорогу туда и обратно пели песни. Из тех джигитов мало кто остался — погибли все на войне. Да… И ночью,

слушай, не выпускал я из рук этот красный флаг. Ночью-то кто бы его увидел? А я все не выпускал его из рук… То был мой флаг. И все пел, охрип даже, помню… Почему мы теперь не поем, Чоро?

— Стареем, Танабай, теперь уже не к лицу как-то…

— Да я не об этом — мы свое отпели. А молодежь? Вот я бываю у сына в интернате. Каким он там выучится? С этих пор знает уже, как угождать начальству. Ты, говорит, отец, почаще привози кумыса директору школы. А зачем? Учится он ничего… А послушал бы, как они поют. Батрачил я в детстве у Ефремова в Александровке, как-то водил он меня в церковь на Пасху. Вот и наши ребята станут все на сцене, руки по швам, лица каменные, и поют, как в русской церкви. И все одно и то же… Не нравится мне это. И вообще много непонятно мне теперь, поговорить бы нам надо… Отстал я от жизни, не все стал понимать.

— Ладно, Танабай. В другой раз потолкуем, выберем время. — Чоро стал собирать свои бумаги, складывать их в полевую сумку. — Только ты не переживай больно. Я, например, верю, крепко верю: как бы трудно ни было, а все равно поднимемся мы, заживем еще, как мечтали… — говорил он, уже уходя. На пороге обернулся, вспомнил: —

Слушай, Танабай, проезжал я как-то по улице — совсем запустел твой дом. Не глядишь ты за ним. Ты все в горах, а дом без хозяина. Джайдар в войну одна без тебя и то лучше содержала. Ты пойди посмотри. Скажешь, что потребуется, весной поможем как-нибудь с ремонтом. Наш Самансур приезжал летом на каникулы и то не утерпел. Взял косу — пойду, говорит, выкошу бурьян во дворе Танаке. Штукатурка пообвалилась, стекла повыбиты, говорит: воробьи носятся по комнатам, как на гумне.

— Насчет дома — это ты верно. И Самансуру спасибо. Как там он учится?

— На втором курсе уже. А учится, по-моему, хорошо. Вот ты говоришь — молодежь, а я по сыну своему сужу — вроде неплохая нынешняя молодежь. По рассказам его вижу, дельные у них ребята в институте. Ну да видно будет. Молодежь грамотная идет, подумает о себе…

Чоро отправился на конюшню, а Танабай поехал посмотреть свой дом. Обошел во дворе все кругом. Хрумкал под ногами сухой, пыльный бурьян, скошенный летом студентом — сыном Чоро. Совестно было, что дом стоит без хозяйского пригляда. У других животноводов по домам оставались родственники или присматривал кто.

А у него две сестры родные жили в других аилах, с братом Кулубаем он не в ладах, а у Джайдар вообще нет близких родичей. Вот и получилось, что дом оказался заброшенным. И опять работать предстояло на отгонном животноводстве, теперь уже чабаном. Танабай пока еще колебался, но про себя знал, что Чоро все равно уговорит его, не сможет он отказать ему, согласится, как всегда.

Утром выехали на машине из аила и покатили в райцентр. Новый трехтонный «ГАЗ» понравился всем. «Едем как цари», — шутили скотоводы. Радовался и Танабай — давно не приходилось ему ездить на машине, почитай с самой войны. Довелось тогда поколесить по дорогам Словакии и Австрии на американских «студебеккерах». Мощные были грузовики, трехосные. «Вот бы нам такие, — подумал тогда Танабай. — Особенно на вывозку зерна с предгорий. Такие нигде не завязнут». И верил: кончится война — будут и у нас. После победы все будет!..

В открытом кузове, на ветру разговор не клеился. Все больше молчали, пока Танабай не напомнил молодежи:

— Запевайте песни, ребята. Что ж вы смотрите на нас, стариков? Пойте, мы послушаем.

Молодежь запела. Сперва у них не ладилось,

а потом дело пошло. Веселей стало ехать. «Вот и хорошо, — думал Танабай. — Так-то лучше. А главное, хорошо, что собирают наконец нас. Доложат, наверное, как и что, как быть с колхозом. Начальству-то виднее, чем нам. Мы знаем то, что у себя, не больше. Подскажут, глядишь, и мы у себя по-новому возьмемся за дело...»

В райцентре было шумно и людно. Машины, телеги, множество верховых лошадей запрудили всю площадь возле клуба. И шашлычники, чайханщики были тут как тут. Дымили, чадили, скликали приезжих.

Чоро уже ждал.

— Слезайте быстрей, да идемте. Занимайте места. Скоро начнется. Танабай, куда ты?

— Я сейчас, — бросил Танабай, пробираясь сквозь кучу верховых лошадей. Он еще с машины заметил своего Гульсары и теперь шел к нему. Не видел с самой весны.

Иноходец стоял под седлом среди других лошадей, выделяясь своей светло-желтой, буланой мастью, широким, крепким крупом и горбоносой сухой головой с темными глазами.

— Здравствуй, Гульсары, здравствуй! — зашептал Танабай, протискиваясь к нему. — Ну, как ты тут?

Иноходец скосил яблоко глаза, признал старого хозяина, переступил ногами, зафыркал.

— А ты, Гульсары, выглядишь ничего. Смотри, раздался в груди. Бегаешь, стало быть, много. Плохо тебе было тогда? Знаю… Ну ладно еще в хорошие руки попал. Веди себя смирно, и все будет в порядке, — говорил Танабай, ощупывая в переметной суме остатки овса. Значит, Чоро не морил его здесь голодом. — Ну, ты стой, а я пойду.

У входа в клуб на стене алели полотнища с надписями «Коммунисты — вперед!», «Комсомол — авангард советской молодежи!».

Народ шел густо, растекаясь в фойе и зрительном зале. В дверях Танабая встретили Чоро и председатель колхоза Алданов.

— Танабай, пойдем в сторонку, — заговорил Алданов. — Мы тебя уже отметили, вот твой блокнот. Ты должен выступить. Ты партийный, лучший табунщик у нас.

— А о чем же мне говорить?

— Скажи, что ты, как коммунист, решил идти на отстающий участок. Чабаном маточной отары.

— И все?

— Ну как все! Скажешь свои обязательства. Обязуюсь, мол, перед партией и народом получить и сохранить по сто десять ягнят от каждых

ста маток и настричь по три килограмма шерсти с головы.

— Как же я скажу, если я в глаза не видел отару?

— Ну вот еще, подумаешь! Отару получишь. — Чоро смягчил разговор. — Выберешь себе овец, какие приглянутся. Не беспокойся. Да, и еще скажи, что берешь под шефство двух молодых чабанов-комсомольцев.

— Кого?

Люди толкались. Чоро смотрел списки.

— Болотбекова Эшима и Зарлыкова Бектая.

— Так ведь я с ними не говорил, как они посмотрят на это?

— Опять ты свое! Странный ты человек. Обязательно тебе говорить с ними? Не все ли равно? Никуда они не денутся, мы их наметили к тебе, дело решенное.

— Ну, если решенное, зачем со мной разговор вести? — Танабай пошел.

— Постой, — удержал его Чоро. — Ты все запомнил?

— Запомнил, запомнил, — раздраженно бросил Танабай на ходу.

## 13

Совещание закончилось к вечеру. Опустел райцентр, разъехались люди кто куда: в горы, к отарам и стадам, на фермы, в аилы и села.

Уезжал Танабай вместе с другими в грузовике через Александровский подъем, через степное плато. Темно было уже, ветер пробирал. Осень. Примостился Танабай в углу кузова, упрятался в поднятый воротник с мыслями своими. Вот и закончилось совещание. Сам он ничего дельного не сказал, зато других послушал. Выходит, много еще надо труда положить, чтобы пошло все на лад. Верно говорил этот в очках, секретарь обкома: «Никто не уготовил нам пути-дороги, самим их пробивать». Подумать только, с самых тридцатых годов — то вверх, то вниз, то на подъем, то на спуск… Не простое, видно, дело — колхоз. Вот и сам он уже седой наполовину, всю молодость ухлопал, чего только не повидал, чего не делал, и глупости порол не раз, все казалось — вот оно, вот оно то, а тягот с колхозом все не оберешься…

Ну что ж, работать — значит работать. Правильно сказал секретарь — жизнь, она никогда не покатится сама собой, как думалось когда-то,

после войны. Ее вечно надо подталкивать плечом, пока сам жив… Только вот оборачивается она каждый раз острыми углами, все плечи уже в мозолях. Да что мозоли — была бы душа довольна тем, что делаешь, что делают другие и чтобы от трудов этих счастье было… Как-то повернется у него теперь с отарой? Что скажет Джайдар? В магазин даже не успел забежать — девчушкам конфет хотя бы прихватить. Наобещал. Легко сказать: по сто десять ягнят на сотню да по три килограмма шерсти с головы. Каждый ягненок народиться да прижиться должен, а против него дождь, ветер, холод. А шерсть? Возьми шерстинку, глазом не различить, дунешь — и нет ее. Килограммы-то откуда? Ох, золотые те килограммы. А ведь иные, наверно, и ведать не ведают, как все оно добывается…

Да, сбил его Чоро, спутал… «Выступи, — говорит, — но только коротко, о своих обязательствах. Ничего другого не говори. Не советую». А Танабай и послушался. Вышел на трибуну, оробел и так ничего и не сказал, что на душе накипело. Пробубнил обязательства и сошел. Вспомнить стыдно. А Чоро доволен. И что это он осторожный стал такой? От болезни, что ли, или потому, что не главный теперь человек в колхозе? Зачем ему

надо было предостерегать Танабая? Нет, что-то в нем сдвинулось, переиначилось как-то. Оттого, наверно, что всю жизнь председателем колхоз тянул, всю жизнь начальство его ругало. Ловчить научился, кажется…

«Ну постой, друг, припомню я тебе когда-нибудь с глазу на глаз…» — думал Танабай, закутываясь поплотнее в тулуп. Холодно было, ветер, до дома еще далеко. Что-то там его ждет?..

Чоро поехал на иноходце. Ехал он один, не стал дожидаться попутчиков. Домой хотелось быстрей, сердце побаливало. Пустил коня своим ходом, тот настоялся за день и шел теперь размашистой, прочной иноходью. Печатал копыта по вечерней дороге, как заведенная машина. Из всего прежнего осталась у него лишь одна страсть к бегу. Все другое давно уже умерло в нем. Умертвили, чтобы знал он только седло и дорогу. В беге Гульсары жил. Бежал добросовестно, неутомимо, точно бы мог догнать то, что было отнято людьми. Бежал и никогда не настигал.

На ветру в дороге Чоро немного полегчало. Отошла боль в сердце. Совещанием в целом он был доволен, очень понравилось выступление секретаря обкома, о котором он много слышал, но видел его впервые. И все же не совсем по себе

было парторгу. Коробило душу. Ведь он Танабаю добра желал. Ведь он собаку съел на всех таких совещаниях, заседаниях и собраниях, знал, что и где надо говорить, а что не следует. Научен был. А Танабай хотя и послушался, но не желал этого понять. После совещания не обмолвился с ним ни словом. Сел в машину, отвернулся. Обиделся. Эх, Танабай, Танабай! Простак ты, ничему-то тебя жизнь не научила. Ничего-то ты не знаешь и не замечаешь. Каким был в молодости, таким и остался. Все бы тебе рубить сплеча. А времена-то уже не те. Теперь важнее всего — как сказать, при ком сказать и чтобы слово в духе времени звучало, как у всех, не выделяясь, не спотыкаясь, а гладкое, как писаное было. Тогда все будет на месте. А пусти тебя, Танабай, как душе твоей угодно, наломал бы дров, отвечать еще пришлось бы. «Как вы воспитываете членов своей организации? Что за дисциплина? Что за распущенность?» Эх, Танабай, Танабай…

## 14

Все та же ночь, заставшая их двоих в пути. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Танабай встает, в который раз поправляет шубу, накинутую на издыхающего Гульсары. И снова садится в его изголовье. Перебирает он в мыслях всю свою жизнь. Годы, годы, годы, как бег иноходца… А что было тогда, в тот год, в ту позднюю осень, в ту раннюю зиму, когда он ходил чабаном с отарой?..

## 15

Весь октябрь в горах был сух и золотист. Дня два только вначале лили дожди, захолодало, лег туман. Но потом за ночь развеяло, разнесло непогоду, и утром, выйдя из юрты, Танабай чуть не попятился — горы шагнули к нему в свежем снегу на вершинах. Как им шел снег! Они стояли в поднебесье в безупречной своей чистоте, отчетливые на свету и в тени, будто только что созданные Богом. Там, где лежал снег, начиналась синяя бесконечность. А в ее глубине, в ее далекой-далекой сини проступала призрачная даль вселенной. Танабай поежился от изобилия снега и свежести, и тоскливо стало ему. Опять он вспомнил о той, к которой ездил на Гульсары. Был бы иноходец под рукой, сел бы и, крича от восторга и радости, явился бы к ней, как этот белый снег поутру.

Но он знал, что это только мечта… Что ж, половина жизни проходит в мечтах, потому, быть может, и сладка она так, жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не все, не все сбывается, о чем мечтаешь. Смотрел он на горы и небо и думал, что вряд ли все люди могут быть в одинаковой мере счастливы. У каждого своя судьба.

А в ней свои радости, свои горести, как свет и тень на одной и той же горе в одно и то же время. Тем и полна жизнь… «А она, наверно, и не ждет уже. Разве что вспомнила, увидев свежий снег на горах…»

Стареет человек, а душа не желает сдаваться, нет-нет да и встрепенется, подаст свой голос.

Танабай оседлал лошадь, открыл овечий загон, крикнул в юрту жене:

— Джайдар, я отгоню овец, вернусь, пока ты управишься.

Отара засеменила торопливо, потекла потоком спин и голов, поднимаясь по склону. Соседние чабаны тоже уже выгоняли своих овец. Тут и там по косогорам, по лощинам, по распадкам пошли овечьи стада собирать извечную дань земли — траву. Серо-белыми кучами бродили они среди рыжего и бурого разнотравья осенних гор.

Пока что все обстояло благополучно. Отара Танабаю досталась неплохая — матки второго и третьего окота. Полтыщи голов. Полтыщи забот. А после окота станет их в два с лишним раза больше. Но до окота, до страды чабанской, было еще далеко.

С овцами спокойнее, конечно, чем с табунами, однако не сразу привык к ним Танабай. То ли дело

лошади! Но потеряло, говорят, коневодство свое значение. Машины пошли. Лошади, выходит, уже не прибыльны. Теперь главное — овцеводство, шерсть, мясо, овчина. Задевала Танабая такая трезвость расчета, хотя и понимал он, что была в этом своя правда.

Хороший табун при хорошем жеребце можно иной раз и оставить на время, на полдня, а то и больше, отлучиться по другим своим делам. А с овцами — никуда. Днем неотступно ходи с ними, ночью — сторожи. Кроме чабана, подпасок должен быть при отаре, но его не давали. Вот и получалось — сплошная работа, без смены, без отдыха. Джайдар числилась ночным сторожем, днем она только иногда могла приглядывать с дочками за овцами, до полуночи ходила с ружьем у загона, а потом приходилось самому стеречь. А Ибраим, теперь хозяин всего животноводства в колхозе, на все находил свои причины.

— Ну, где я вам возьму подпаска, Танаке? — говорил он с горестным видом. — Вы же разумный человек. Молодежь вся учится. А те, кто не учится, и слышать не хотят об овцах, уходят в город, на железную дорогу и даже на рудники куда-то. Что делать, ума не приложу. У вас всего одна отара — и то вы стонете. А я? У меня все животновод-

ство на шее. Под суд я попаду. Зря я, зря пошел на это дело. Попробуй с такими, как ваш Бектай подшефный. Ты, говорит, обеспечь мне радио, кино, газеты, юрту новую и чтобы магазин приезжал ко мне каждую неделю. А не будет — уйду куда глаза глядят. Вы бы хоть поговорили с ним, Танаке!..

Ибраим не врал. Он и сам не рад был, что залез высоко. И насчет Бектая — тоже правда. Танабай иногда урывал время, наезжал к своим подшефным комсомольцам. Эшим Болотбеков покладистый был парень, хотя и не очень расторопный. А Бектай красив был, ладен, но в его черных раскосых глазах так и сквозила злость. Танабая он встречал угрюмо, говорил ему:

— Ты, Танаке, не разрывайся на части. Лучше с детьми своими побудь. А проверяльщиков у меня и без тебя хватает.

— А что ж, тебе хуже будет, что ли?

— Хуже не хуже. А таких, как ты, я не люблю. Это вы расшибались в доску. Все — ура, ура! А человеческой жизни и сами не видели, и нам житья не давали.

— Ты, парень, не очень, — едва сдерживая себя, цедил сквозь зубы Танабай. — И пальцем в меня не тычь. Не твое это дело. Расшибались мы в доску, а не ты. И не жалеем. Для вас расшибались.

А не расшибались бы, посмотрел бы я, как бы ты сейчас разговаривал. Не то что там кино или газеты, имени своего не знал бы. Одно было бы у тебя имя из трех букв — кул — раб!

Не любил Танабай Бектая, хотя где-то втайне и уважал его за прямоту эту. Пропадала в нем сила характера. Горько было Танабаю, видел он, что не туда ведет парня кривая… И потом, когда дороги их разошлись и встретились они в городе случайно, ничего не сказал ему, но и слушать его не стал.

В ту раннюю зиму…

Быстро домчалась она на свирепой белой верблюдице своей и пошла донимать пастухов за их забывчивость.

Октябрь весь был сух и золотист. А в ноябре грянула разом зима.

Пригнал Танабай вечером овец, пустил в загон, все как будто было в порядке. А в полночь разбудила его жена:

— Вставай, Танабай, замерзла я совсем. Снег идет.

Руки у нее были холодные, и вся она пахла мокрым снегом. И ружье было мокрое и холодное.

На дворе стояла белесая ночь. Снег сыпал густо. Овцы лежали в загоне неспокойно, мотали голо-

вами с непривычки, перхали, отряхивали снег, а он все сыпал. «Постойте, еще не то будет нам с вами, — запахнув плотней шубу, подумал Танабай. — Рано, очень рано пожаловала ты, зима. К чему это, к добру или к худу? Может, потом, к концу, приотпустишь, а? Только бы к расплоду убралась. Вот и вся просьба наша. А пока делай свое дело. Право имеешь и можешь никого не спрашивать...»

Молчала народившаяся зима, торопливо хлопотала впотьмах, чтобы к утру все ахнули, засновали, забегали.

Горы стыли в ночи пока еще темными громадами. Зима им нипочем. Это пастухи со стадами своими пусть побегают. А горы как стояли, так и будут стоять.

Началась та памятная зима, но что она замышляла, пока никто не знал.

Снег лежал, через несколько дней его еще подвалило, потом еще и еще, и выжил он чабанов с осенних стойбищ. Отары стали разбредаться, прятаться по ущельям, по затишкам, по малоснежным местам. Пошло в ход вековое искусство пастухов — находить отарам корм там, где другой махнул бы рукой и сказал, что нет тут ничего, кроме снега. На то они и были чабанами... Наедет

иногда какое-нибудь начальство, поглядит-поглядит, порасспросит, наобещает кучу всего — и быстрей назад из гор. А чабан опять остается один, лицом к лицу с зимой.

Все хотелось Танабаю как-нибудь вырваться в колхоз, разузнать, как там думают насчет проведения окота, все ли сделано, все ли припасено. Но где там! И дыхнуть некогда было. Джайдар однажды съездила к сыну в интернат, но недолго задержалась там: знала, что без нее совсем трудно стало. Танабай пас тогда отару вместе с дочерьми. Маленькую усаживал перед собой в седло, кутал в шубу, тепло и покойно ей, а старшая мерзла — сидела она сзади за отцом. И даже огонь в очаге горел по-другому, бесприютно.

А когда мать на другой день вернулась, что тут было! Дети кинулись ей на шею, отцеплять пришлось силой. Ох, нет — отец, конечно, отец, но без матери и он не то.

Так шло время. Зима выдалась переменчивая — то прижмет, то отпустит, раза два бураны были, потом стихало, таяло. Это-то и тревожило Танабая. Хорошо, как расплод попадет в теплую полосу, а если нет, что тогда?

Животы овец между тем все больше тяжелели. У иных, у кого крупный плод или двойня, они уже

начали обвисать. Суягные матки шагали трудно, осторожно, сильно сдали с тела. Хребты выпирали. Да и что удивляться — плод рос в чреве, наливался материнскими соками, а тут каждую травинку из-под снега выбивай. Чабану прикармливать бы маток по утрам и вечерам, подвозить бы корм в горы, но в амбарах колхозных — все под метелку. Кроме семян да овса для рабочих лошадей, ничего и нет.

Каждое утро, выгоняя из загона, Танабай осматривал маток, ощупывал животы, вымя. Прикидывал, что если все обойдется благополучно, то свое обязательство по ягнятам выполнит, а вот с шерстью нет, пожалуй, не выйдет. Плохо росло руно за зиму, а у иных овец шерсть даже поредела, выпадать стала — опять же кормить надо было бы лучше. Хмурился Танабай, злился, а сделать ничего не мог. И ругал себя последними словами за то, что послушался Чоро. Насулил. С трибуны выступал. Я, мол, такой-сякой, передовой, перед партией и Родиной слово даю. Хоть бы уж этого не говорил! Да и при чем тут партия и Родина! Обыкновенное хозяйское дело. Так нет… Положено! И чего мы на каждом шагу, надо не надо, бросаемся этими словами?..

Ну что ж, сам и виноват. Не обдумал. По чужим

подсказкам стал жить. Им-то что — отбрешутся, вот только Чоро жалко. Никак не везет ему. День здоров, два болеет. Всю жизнь суетится, уговаривает, обнадеживает, а что толку? Осторожный уже становится, слова выбирает. Раз больной, то уходил бы уж, что ли, на отдых…

Зима шла своим ходом, то обнадеживая, то тревожа чабанов. В отаре Танабая пали две матки от истощения — слабы оказались. И у подшефных его, молодых чабанов, тоже подохло по нескольку овец. Ну не без этого же. Десяток маток потерять за зиму — дело обычное. Главное было там, впереди, на подходе к весне.

И вдруг начало теплеть. У овец сразу же стало наливаться вымя. Смотришь, худущие уже такие, животы едва тащат, а соски розовеют, набухают не по дням, а по часам. И с чего бы? Откуда силы такие берутся? Слух пронесся, что у кого-то уже объягнилось несколько маток. Значит, недогляд был при случке. И это было первым сигналом. Через неделю-другую посыплются ягнята, как груши. Успевай только принимать. И начнется великая страда чабанская! За каждого ягненка дрожать будет чабан и проклинать тот день, когда пошел за отарой, и радости его предела не будет, если сбережет молодняк, если встанут

ягнята на ноги и покажут хвосты свои зиме.

Но только бы вышло оно так, только бы вышло! Чтоб потом не прятать глаза от людей…

Прислали из колхоза сакманщиц — женщин большей частью престарелых да бездетных, которых удалось вытащить из села, — для помощи на время окота. К Танабаю в отару прислали двух сакманщиц. Приехали с постелями, с палаткой и пожитками. Веселей стало. Сакманщиков надо было по крайней мере человек семь. Ибраим заверил, что они будут, когда отары перекочуют на окотный пункт, в долину Пяти Деревьев, а сейчас, мол, хватит и этих.

Зашевелились отары, стали перебираться пониже, в предгорья, на окотные базы. Танабай попросил Эшима Болотбекова, чтобы он помог женщинам добраться до места и устроиться там, пока он подгонит отару. Отправил их с утра, караваном целым, а сам собрал овец и направил их своим ходом, полегоньку, чтобы нетрудно было маткам на сносях. Потом ему придется проделать этот же путь в долину Пяти Деревьев еще два раза, помочь подшефным.

Медленно передвигались овцы, а не поторопишь их. Даже пес соскучился, побежал рыскать по сторонам.

Солнце было уже на закате, но пригревало. И чем ниже опускалась отара в предгорья, тем теплей становилось. Зелень уже пробивалась на солнцепеке.

В пути вышла небольшая задержка — окотилась первая матка. Не должно было быть этого, огорчался Танабай, продувая уши и ноздри новорожденному. Срок окота наступал через неделю, не раньше. А тут на тебе!

Может, еще начнут ягниться по пути? Осмотрел других — нет, вроде бы не похоже. Успокоился, а потом даже повеселел. То-то обрадуются девчушки его первому ягненку. Первенец всегда мил. И ягненок-то оказался хорошенький. Белый, с черными ресницами и черными копытцами. Было в отаре несколько полугрубошерстных овец, одна из них как раз разрешилась. Ягнята от них обычно рождаются крепкие, в шерсточке, не то что от тонкорунных, те рожают почти голышей.

— Ну, раз уж ты поторопился, погляди на божий свет, — приговаривал Танабай. — И принеси нам счастье! Принеси нам таких, как ты, столько, чтобы ступить негде было ногой, чтобы от голосов ваших в ушах звенело и чтобы жили все как один! — Он поднял ягненка над головой. — Смотри, покровитель овец, вот он, первый, помоги

нам!

Вокруг стояли горы, и они молчали.

Танабай упрятал ягненка под шубу и пошел, подгоняя овец. Матка бежала следом, беспокоилась, блеяла.

— Пошли, пошли! — сказал ей Танабай. — Здесь он, никуда не денется.

Обсох ягненок под шубой, пригрелся.

На базу Танабай пригнал отару к вечеру.

Все были уже на месте, из юрты тянулся дымок. Возле палатки хлопотали сакманщицы. Управились, стало быть, с переездом. Эшима не видно было. Ну да, увел уже вьючного верблюда, чтобы завтра самому перекочевать. Все правильно.

Но то, что Танабай увидел затем, потрясло его как гром среди бела дня. Ничего хорошего он не ожидал, но чтобы кошара для расплода стояла с прогнившей и провалившейся камышовой крышей, с дырами в стенах, без окон, без дверей, чтобы ветер продувал ее вдоль и поперек — нет, этого он не ожидал. Вокруг уже почти не было снега, а в кошаре лежали сугробы.

Загон, сложенный когда-то из камней, тоже лежал в руинах. Танабай так расстроился, что не стал даже глядеть, как девочки радуются ягненку. Сунул им его в руки и пошел осматривать все

кругом. И куда бы ни ткнулся — всюду такая бесхозяйственность, какой свет не видывал. С самой войны, должно быть, все здесь было заброшено, справлялись кое-как с окотом овец и уходили, кинув все дождям и ветрам. На крыше сарая пригорюнился кособокий прикладок гнилого сена, лежали кучи разбросанной соломы — вот и весь корм, и вся подстилка для ягнят и маток на всю отару, если не считать двух неполных мешков ячменной муки да ящика с солью, что были свалены в углу. Там же, в углу, было брошено несколько фонарей с разбитыми стеклами, ржавый бидон с керосином, две лопаты и обломанные вилы. Так и хотелось облить все это керосином, сжечь к чертям собачьим и уйти отсюда куда глаза глядят…

Ходил Танабай, спотыкаясь о мерзлые кучи прошлогоднего навоза и снега, и не знал, что сказать. Слов не находил. Только и повторял, как помешанный: «Да как же так можно?.. Да как же так можно?.. Да как же так можно?..»

А потом выскочил из кошары, бросился седлать коня. Руки тряслись, когда седлал. Сейчас он поскачет туда, поднимет всех на ноги среди ночи и сделает сам не знает что! Схватит за шиворот этого Ибраима, этого председателя Алданова и Чоро: пусть не ждут от него пощады! Раз они с ним так

— не видать им от него добра! Все, конец!..

— А ну постой! — успела перехватить поводья Джайдар. — Куда ты? Не смей. Слезь, послушай меня!

Но где там! Попробуй останови Танабая.

— Отпусти! Отпусти! — орал он, вырывая поводья, наезжая на жену, нахлестывая коня. — Отпусти, говорю! Я убью их! Я убью!

— Не пущу! Тебе надо кого-нибудь убить? Убей меня.

Тут прибежали сакманщицы на помощь Джайдар, прибежали дочки, подняли рев.

— Отец! Отец! Не надо!

Остыл Танабай, но все еще порывался ехать.

— Не держи меня, разве ты не видишь, что тут творится? Разве ты не видишь — вон матки с ягнятами. Куда мы их завтра денем, где крыша? Где корм? Передохнут все. Кто будет отвечать? Отпусти!

— Да постой ты, постой. Ну хорошо, ну поедешь ты, накричишь, наскандалишь. А что из того? Если они до сих пор ничего не сделали, значит, нет у них сил на это. Было бы из чего, разве колхоз не построил бы новую кошару?

— Но крышу-то перебрать можно было? А где двери? Где окна? Все кругом развалено, в кошаре

снег, навоз не вывозили лет десять! А смотри, на сколько хватит этого гнилого сена? Разве же ягнятам такое сено? А подстилку откуда возьмем? Пусть в грязи дохнут ягнята, да? Так, по-твоему? Уйди!

— Хватит, Танабай, уймись. Ты что, лучше всех? Как все, так и мы. И тебя еще мужчиной считают! — стыдила жена. — Подумай лучше, что можно сделать, пока не поздно. Плюнь ты на них. Нам отвечать, и нам делать. Я вон приметила по пути к ложбинке шиповник густой, колючий правда, — нарубим, позатыкаем крышу, сверху навоза набросаем. А на подстилку курая придется накосить. Как-нибудь да и перебьемся, если погода не подведет…

Тут и сакманщицы стали успокаивать Танабая. Сполз он с седла, плюнул на баб и пошел в юрту. Сидел, уронив голову, поникшую, как после тяжелой болезни.

Притихли все дома. Разговаривать боялись. Джайдар сняла с кизячных углей чайник, заварила покрепче, принесла в кувшине воды, дала мужу руки помыть. Расстелила чистую скатерть, конфеты даже откуда-то достала, масла топленого положила в тарелку желтыми ломтиками. Пригласили сакманщиц и сели пить чай. Ох уж

эти бабы. Пьют себе чай из пиал, разговоры разговаривают всякие, будто в гостях сидят. Молчал Танабай, а после чая вышел и стал укладывать обвалившиеся камни загона. Работы тут невпроворот. Но хоть что-то надо было сделать, чтобы загнать овец на ночь. Вышли женщины и тоже взялись за камни. Даже девчонки силились подносить их.

— Бегите домой, — сказал им отец.

Стыдно было ему. Таскал камни, не поднимая глаз. Правду говорил Чоро: не будь Джайдар, не сносить Танабаю головы своей бедовой…

## 16

На другой день съездил Танабай подсобить перекочевке своих подшефных, а потом всю неделю работал не покладая рук. Не помнил даже, когда так доводилось, разве что на фронте, когда оборону строили круглыми сутками. Но там — со всем полком, с дивизией, с армией. А здесь — сам, жена да одна из сакманщиц. Вторая пасла овец поблизости.

Труднее всего пришлось с очисткой кошары от навоза и рубкой шиповника. Заросли оказались густые, сплошь в колючках. Сапоги все изодрал Танабай, шинель солдатскую свою доконал — вся в клочьях висела на нем. Нарубленный шиповник связывали веревками и тащили волоком, потому что на лошадь не навьючишь, а на себе не утащишь — колючки. Чертыхался Танабай — долина Пяти Деревьев, а от них и пяти пеньков не сыщешь. Согнувшись в три погибели, обливаясь потом, волокли они этот проклятый шиповник, дорогу им проборонили к кошаре. Жалко было Танабаю женщин, но ничего не поделаешь. И работалось неспокойно. Времени в обрез, и на небо надо поглядывать — как там? Повалит снег,

тогда и это все ни к чему. И все заставлял старшую дочурку бегать к отаре — узнавать, не начался ли окот.

А с навозом и того хуже. Тут его было столько, что за полгода не вынести. Когда под хорошей крышей лежит сухой, утрамбованный овечий навоз, то работать с ним даже приятно. Слитными, плотными кусками отделяется вырубленный пласт. Его складывают сушиться большими штабелями. Жар овечьего кизяка приятен и чист, как золото, им и обогреваются чабаны в зимние холода. Но если навоз полежал под дождем или под снегом, как тут, то нет ничего более тяжкого, чем возиться с ним. Каторжная работа. А время не ждало. Ночью, засветив чадящие фонари, продолжали они выносить на носилках эту холодную, липкую, тяжелую, как свинец, грязь. Вот уже вторые сутки.

На задворках навалили уже огромную кучу навоза, а в кошаре оставался еще непочатый край. Торопились очистить хотя бы один угол кошары для ожидавшихся ягнят. Но что значит один угол, когда всей этой большой кошары мало, чтобы поместить всех маток и их приплод — ведь в день будет появляться по двадцать-тридцать ягнят! «Что будет?» — только об этом и думал Танабай,

накладывая на носилки навоз, вынося его, затем вновь возвращаясь, и так без конца, до полуночи, до рассвета. Мутило уже. Руки онемели. Да еще и фонари то и дело задувало ветром. Хорошо, сакманщицы не роптали, работали так же, как Танабай и Джайдар.

Прошли сутки, затем еще сутки и еще. А они все носили и носили навоз, затыкали дыры в стенах и в крыше. И ночью однажды, выходя с носилками из кошары, услышал Танабай, как замекал ягненок в загоне и как матка взблеяла в ответ, стуча ногами. «Началось!» — екнуло под сердцем.

— Ты слышала? — обернулся Танабай к жене.

Они разом бросили под ноги носилки с навозом, схватили фонари и побежали в загон.

Зашарили фонари, мигая неверным светом, по отаре. Где он? Вон там, в углу! Матка уже облизывала крохотное, дрожащее тельце новорожденного. Джайдар подхватила ягненка в подол. Хорошо, что вовремя подоспели, а не то так и замерз бы в загоне. Рядом, оказывается, окотилась еще одна матка. Она принесла двойню. Этих положил в подол плаща Танабай. В потугах лежали еще штук пять и сдавленно мычали. Значит, началось. К утру и эти разродятся. Позвали сакманщиц. Стали выводить из загона окотившихся

маток, чтобы поместить их в тот угол кошары, что уже был кое-как расчищен.

Постелил Танабай соломы под стену, уложил ягнят, отведавших впервые молозива матерей, прикрыл их мешком. Холодно. Маток впустил сюда же. И призадумался, закусив губу. А что толку было думать? Оставалось только надеяться, что, может быть, все как-нибудь образуется. Сколько дел, сколько забот... Хоть бы соломы было вдосталь, так и той нет. Ибраим и на это найдет уважительную причину. Скажет, попробуй привези солому по бездорожью в горы.

Эх, что будет, то будет! Пошел принес банку с разведенными чернилами. Одному ягненку намалевал на спине двойку, а двойняшкам по тройке. Так же пронумеровал и маток. А то потом попробуй разберись, когда они будут здесь кишеть сотнями. Не за горами, страда чабанская началась!

И началась она круто, жестко, как в обороне, когда нечем отбиваться, а танки идут. А ты стоишь в окопе и не уходишь, потому что некуда уходить. Одно из двух — или чудом выстоять в схватке, или умереть.

Стоял Танабай поутру на пригорке перед выгоном отары на пастьбу и молча смотрел по

сторонам, словно оценивая свои позиции. Ветхой, никудышной была его оборона. Но он должен был стоять. Уходить ему было некуда. Небольшая извилистая долинка с обмелевшей речушкой теснились между увалами, за ними поднимались сопки повыше, а за теми — еще выше, в снегу. Чернели над белыми склонами голые каменные скалы, а там, на хребтах, скованных сплошным льдом, лежала зима. Ей было рукой подать сюда. Стоило шевельнуться, скинуть вниз тучи, и утонет долинка во мгле, не разыщешь.

Небо было серое, в серой стылой мути. Ветер поддувал низом. Пустынно было вокруг. Горы, кругом горы. Холодно на душе от тревоги. А в кошаре-развалюшке уже мекали ягнята. Только что отбили из стада еще голов десять подоспевших овец, оставили на окот.

Отара потихоньку ушла добывать себе скудный корм. И там, на выгоне, тоже теперь глаз да глаз нужен. Бывает, что овца не подает никаких признаков, что скоро окотится. А потом — раз, прилегла за кустом и опросталась. Если недоглядеть, застудится на сырой земле ягненок, и тогда он уже не жилец.

Однако застоялся Танабай на пригорке. Махнув рукой, он зашагал к кошаре. Там еще работы нев-

проворот, надо хоть что-то успеть еще сделать.

Приезжал потом Ибраим, муку привозил, — бесстыжие глаза его… А где, говорит, дворцы я вам возьму? Какие были кошары в колхозе, такие и есть. Других нет. До коммунизма пока не дошли.

Танабай едва удержался, чтобы не броситься на него с кулаками.

— При чем тут смешки твои? Я о деле говорю, я о деле думаю. Мне отвечать.

— А я, по-вашему, не думаю? Вы отвечаете за какую-то одну отару, а я за все, за вас, за других, за все животноводство. Думаете, мне легко! — И вдруг, к изумлению Танабая, тот ловкач заплакал, уткнувшись в ладоши, и забормотал сквозь слезы: — Под суд я попаду! Под суд! Нигде ничего не достанешь. Люди не хотят идти даже в сакманщики на время. Убейте, растерзайте меня, ничего я больше не могу. И не ждите от меня ничего. Зря я, зря пошел на это дело…

С тем и уехал, оставив простака Танабая в немалом смущении. Больше его тут и не видели.

Окотилась пока первая сотня маток. В отарах Эшима и Бектая, стоявших выше по долине, окот и не начинался еще, но Танабай уже чувствовал, что надвигается катастрофа. Все они, сколько их было — трое взрослых, не считая старую жен-

щину-сакманщицу, которая теперь постоянно пасла отару, и старшая шестилетняя девочка, — едва успевали принимать ягнят, обтирать их, подсаживать к маткам, утеплять чем придется, выносить навоз, подтаскивать хворост на подстилку. И уже слышны были голодные крики ягнят — им не хватало молока, матки были истощены, и кормить их было нечем. А что ждало впереди?

Закружились круговертью дни и ночи чабанские, наваливалась расплодная — ни вздохнуть, ни разогнуться.

А вчера как напугала их погода! Сильно захолодало вдруг, тучи поползли хмурые, посыпалась жесткая снежная крупа. Потонуло все во мгле, потемнело…

Но вскоре тучи разошлись, и стало теплеть. Весной запахло в воздухе, сыростью. «Дай-то Бог, может, весна встанет. Только бы уж прочно встала, а то нет ничего хуже, когда пойдет шататься туда-сюда», — думал Танабай, вынося на вилах с соломой водянистые последы приплода.

И весна пришла, только не так, как ожидал Танабай. Заявилась вдруг ночью с дождем, туманом и снегом. Всей своей мокрой и холодной массой обрушилась на кошару, на юрту, на загон,

на все кругом. Вспучилась ручьями и лужами на мерзлой, слякотной земле. Просочилась сквозь гнилую крышу, подмыла стены и пошла затапливать кошару, пробирать ее обитателей дрожью до мозга костей. Всех подняла на ноги. Сбились в кучу ягнята в воде, орали матки, котившиеся стоя. С подхвата крестила весна новорожденных холодной водой.

Засуматошились люди в плащах, с фонарями. Забегал Танабай. Как пара загнанных зверей, метались во тьме большие сапоги его по лужам, по жиже навозной. Хлестали полы плаща крыльями подбитой птицы. Хрипел он, кричал на себя и на других:

— Лом давай скорей! Лопату! Навоз валите сюда! Загораживайте воду!

Надо было хотя бы отвести в сторону вбегавшие в кошару потоки воды. Рубил мерзлую землю, долбил канавы.

— Свети! Свети сюда! Что смотришь!

А ночь никла туманом. Валил снег с дождем. И ничем нельзя было этого остановить.

Танабай побежал в юрту. Засветил лампу. Здесь тоже капало отовсюду. Но не так, как в кошаре. Дети спали, и одеяло их намокло. Танабай сгреб детей в охапку, вместе с постелью перетащил

их в угол, освобождая в юрте побольше места. Набросил на детей кошму поверх, чтобы одеяло не промокло сверху, и, выбежав, крикнул женщинам в кошару:

— Ягнят тащите в юрту! — и сам побежал туда же.

Но сколько их можно было поместить в юрту? Несколько десятков, не больше. А куда девать остальных? Ох, хоть бы спасти то, что можно…

Вот и утро уже. А хляби небесной — ни конца ни края. Приутихнет немного, и снова то дождь, то снег, то дождь, то снег…

Юрта битком набита ягнятами. Орут не смолкая. Вонь, смрад. Вещи сложили в одно место, в кучу, накрыли брезентом, а сами переселились в палатку к сакманщицам. Дети мерзнут, плачут.

Пришли черные дни чабана. Клянет он свою долю. Кроет всех и вся на свете. Не спит, не ест, бьется из последних сил среди мокрых с головы до ног овец, среди коченеющих ягнят. А смерть уже косит их в промозглой кошаре. Ей нетрудно было заявиться сюда — входи где хочешь. Через гиблую крышу, через окна без стекол, через пустые проемы дверей. Заявилась и пошла косить ягнят и ослабевших маток. Выносит чабан синие трупики, по нескольку штук сваливает их за

кошарой.

А на улице, в загоне, под дождем и снегом стоят пузатые суягные матки. Им котиться не сегодня завтра. Бьет их дождь, судорога сводит челюсти. Клочьями обвисает мокрая шерсть, клочьями…

Не хотят уже овцы идти на пастбище. Какой там выпас в такую стужу и мокроту?! Старая сакманщица с мешком на голове гонит их, а они бегут назад, точно им тут рай уготован. Женщина плачет, собирает их, опять гонит, а они опять бегут назад. Танабай выбегает разъяренный. Палкой бы избить этих глупых овец, но ведь они суягные. Зовет других, и все вместе с трудом выпроваживают отару на выпас.

С тех пор как началось это бедствие, Танабай потерял счет времени, счет гибнущему на глазах приплоду. Двойни шли больше и даже тройни. И все это богатство пропадало. Все труды шли прахом. Ягнята появлялись на свет и в тот же день околевали в слякоти и навозной жиже. А те, что оставались, кашляли, хрипели, их поносило, и они загаживали друг друга. Осиротевшие матки орали, бегали, толкались, топтали тех, что лежали в потугах. Во всем этом было что-то противоестественное, чудовищное. Ох, как хотелось Танабаю, чтобы расплодная хоть немного замед-

лилась! Хотелось кричать этим глупым овцам: «Остановитесь! Не рожайте! Остановитесь!..»

Но они, матки, точно сговорившись, котились одна за другой, одна за другой, одна за другой!..

И поднималась в душе его темная, страшная злоба. Поднималась, застилая глаза черным мраком ненависти ко всему, что творилось здесь, в этой гиблой кошаре, к овцам, к себе, к жизни своей, ко всему тому, ради чего бился он тут как рыба об лед.

Отупение какое-то нашло на него. Дурно становилось от мыслей своих, гнал он их прочь, но они не отступали, лезли в душу, лезли в голову: «Зачем все это? Кому это нужно? Зачем мы разводим овец, если уберечь их не можем? Кто виноват в этом? Кто? Отвечай, кто? Ты и такие, как ты сам, болтуны. Мы, мол, все поднимем, догоним, перегоним, слово даем. Красиво говорим. Вот поднимай теперь дохлых ягнят, выноси их. Волоки вон ту матку, что подохла в луже. Покажи себя, какой ты есть…»

И особенно по ночам, хлюпая по колено в грязи и моче овечьей, задыхался Танабай от обидных и горьких дум своих. О, эти бессонные ночи расплодной! Под ногами болото раскисшего навоза, сверху льет. Ветер шастает по кошаре, как в поле,

задувает фонари. Танабай идет ощупью, спотыкается, на четвереньках лезет, чтобы не подавить новорожденных, находит фонарь, зажигает и в свете его видит свои черные, опухшие руки, вымазанные в навозе и крови.

Давно уже он не видел себя в зеркале. Не знал, что поседел и постарел на много лет. И что отныне старик — имя ему. Не до того, не до себя ему было. Поесть и умыться некогда. Ни себе, ни другим не давал ни минуты покоя. Видя, что дело идет к полной катастрофе, посадил молодую сакманщицу на коня:

— Скачи, найди Чоро. И скажи, чтобы приехал немедленно. А если не приедет, то передай: пусть не показывается мне на глаза!

Прискакала она назад к вечеру, свалилась с седла, посиневшая, промокшая до нитки:

— Больной он, Танаке. Лежит в постели, сказал, что через день-два хоть мертвый, но доберется.

— Чтоб не видеть ему продыху от этой болезни! — ругался Танабай.

Хотела Джайдар одернуть его, но не посмела, нельзя было.

Погода стала проясняться на третий день. Уползли нехотя тучи, поднялся в горы туман. Приутих ветер. Но было уже поздно. Суягные

овцы за эти дни отощали до того, что смотреть на них было страшно. Стоит худоба с раздутыми животами на тоненьких ножках. Какие же они матки-кормилицы! А те, что окотились, и ягнята, что еще живы, — многие ли из них смогут дотянуть до лета и поправиться на зеленой траве? Рано или поздно хворь доконает их. А нет — будет хурда: ни шерсти, ни мяса от них…

Только прояснилась погода, другая беда — наледь стала намерзать на землю. Гололеду быть. В полдень, однако, отпустило. Обрадовался Танабай: может, удастся еще кое-что спасти. Снова пошли в ход лопаты, вилы, носилки. Хоть немного, но надо в кошару ходы проделать, а то ведь ступить шагу нельзя. Недолго, однако, занимались этим. Надо еще кормить сосунков-сирот, подсаживать их к бездетным маткам. Те не даются, не принимают чужих. Ягнята тычутся, просят молока. Холодными ротиками хватают пальцы, сосут. Отгонишь — обсасывают грязные полы плащей. Есть хотят. Бегают вслед плачущей гурьбой.

Хоть плачь, хоть разрывайся на части. Сколько еще можно требовать от этих женщин и от своей маленькой дочки? На ногах едва держатся. Вот уже сколько дней плащи не просыхают на них.

Не говорит им ничего Танабай. Один раз только не выдержал. Пригнала старая женщина отару в загон в полдень, хотела помочь Танабаю. Он выскочил глянуть, как там. Глянул — в жар его кинуло: стоят овцы — шерсть едят друг у друга. Это значит, что отаре уже грозит гибель от голода. Выбежал, накинулся на женщину.

— Ты что, старая! Не видишь? Почему молчишь? Вон отсюда! Гони отару. И не давай останавливаться. Не давай им грызть шерсть. Пусть ходят. Чтобы ни минуты не стояли. А то убью!

А тут еще напасть — матка одна с двойнями стала отрекаться от своих ягнят. Бодает их, не подпускает к себе, ногами бьет. А ягнята лезут, падают, плачут. Такое случается, когда вступает в силу жесточайший закон самосохранения, когда матка инстинктивно отказывается кормить сосунков, чтобы выжить самой, потому что организм ее не в силах питать других. Явление это, как болезнь, заразное. Стоит одной овце показать пример, и все начнут следовать ему. Переполошился Танабай. Выгнали они с дочкой озверевшую от голода матку с ее ягнятами во двор, к загону, и здесь начали заставлять ее кормить своих детенышей. Сначала Танабай сам держал овцу, а дочка подсаживала ягнят. Но

матка крутилась, вертелась, отбивалась. Ничего не получалось у девочки.

— Отец, они не могут сосать.

— Могут, ты просто безрукая.

— Да нет же, смотри, они падают. — Она чуть не плакала.

— А ну держи, я сам!

Но сколько там силенок у девочки! Только было подсунул он ягнят к вымени, только было они начали сосать, а овца как рванется — сбила девочку с ног и убежала. Лопнуло терпение Танабая. Залепил он пощечину дочке. Никогда не бил детей, а тут сорвался. Девочка захлюпала носом. А он ушел. Плюнул на все и ушел.

Походил, вернулся, не знал, как попросить прощения у дочки, а она сама прибежала:

— Отец, приняла она их. Мы с мамой подсадили ягнят. Больше она не гонит их.

— Ну вот и хорошо, доченька. Молодец.

И сразу легче стало на душе. И вроде не так уж все плохо. Может быть, еще удастся сберечь, что осталось. Смотри, и погода налаживается! А вдруг да встанет весна по-настоящему и минуют черные дни чабана? Снова впрягается он в работу. Работать, работать, работать — только так, только в этом спасение…

Приехал учетчик — парнишка верховой. Наконец-то. Спрашивает, что и как. Хотелось Танабаю послать его к такой-то матери. Да какой с него спрос…

— Где же ты был раньше?

— Как где? По отарам. Не успеваю, я один.

— А как у других?

— Не лучше. Эти три дня покосили много.

— Что говорят чабаны?

— Да что. Ругаются. Иные и разговаривать не хотят. Бектай, так тот погнал меня со двора. Злой ходит, не подступишься.

— Да-а-а. И у меня не было продыху, чтобы добежать до него. Ну, может, вырвусь, съезжу. Ну а ты?

— А что я? Учет веду.

— А помощь нам какая-нибудь будет?

— Будет. Чоро, говорят, вышел. Обоз отправил с сеном, с соломой, с конюшни сняли все — пусть, говорит, лучше лошади подыхают. Да, говорят, обоз застрял где-то, дороги-то вон какие.

— Дороги! А что думали раньше? Вечно у нас так. И с обоза-то этого что толку теперь. Ну, я еще доберусь до них! — грозился Танабай. — Не спрашивай. Иди сам смотри, считай, записывай. Мне теперь все равно! — И, оборвав разговор, пошел

в кошару принимать окот. Сегодня еще маток пятнадцать опросталось.

Ходил Танабай, подбирал приплод, смотрит — учетчик бумагу сует ему:

— Подпишите акт о падеже.

Подписал не глядя. Черкнул так, что карандаш сломался.

— До свидания, Танаке. Может, передать что? Скажите.

— Нечего мне сказывать. — Потом все же задержал парнишку. — Заверни к Бектаю. Передай: завтра к обеду как-нибудь выберусь.

Напрасно беспокоился Танабай. Опередил его Бектай. Сам пришел, да еще как пришел…

Той ночью снова потянул ветерок, пошел снег, не очень густо, но к утру припорошил землю набело. Припорошил и овец в загоне, всю ночь простоявших на ногах. Не ложились они теперь. Собьются в кучу и стоят неподвижные и безразличные ко всему. Слишком долго тянулась бескормица, слишком долго боролась весна с зимой.

В кошаре стоял холод. Снежинки падали через размытую дождями крышу, кружились в тусклом свете фонарей и плавно опускались вниз, на стынущих маток и ягнят. А Танабай все толкался

среди овец, исполнял службу свою, как солдат похоронной команды на поле боя после побоища. Он уже свыкся со своими тяжелыми мыслями, возмущение его перешло в молчаливое озлобление. Колом стояло оно в душе, согнуться не позволяло. Ходил он, чавкая сапогами по жиже, дело свое делал и все вспоминал урывками в эти ночные часы прошлую свою жизнь…

Бегал когда-то он мальчишкой-подпаском. Пасли вместе с братом Кулубаем овец у одного родственника. Прошел год, и оказалось, что работали они только за одни харчи. Надул хозяин. И разговаривать не захотел. Так и ушли они с прохудившимися чокоями на ногах, со своими жалкими котомками за спинами, с пустыми руками. Уходя, Танабай пригрозил хозяину: «Я тебе это припомню, когда вырасту». А Кулубай ничего не сказал. Он был старше лет на пять. Он знал, что этим хозяина не испугаешь. Другое дело самому стать хозяином, скотом обзавестись, землю заиметь. «Буду хозяином — никогда не обижу работника», — говаривал он уже тогда. С тем они и расстались в том году. Кулубай пошел в пастухи к другому баю, а Танабай подался в Александровку, батраком к русскому поселенцу Ефремову. Мужик этот был не очень богатый — пара во-

лов да пара лошадей, свое поле пахотное. Хлеб сеял. Пшеницу свозил на вальцовую мельницу в городишко Аулиэ-Ата. Работал сам с рассвета и до ночи, Танабай у него больше за волами и лошадьми ходил. Строг был, но в справедливости тоже нельзя было отказать. Положенное платил. Тогдашняя киргизская беднота, вечно обираемая своими же сородичами, предпочитала наниматься к русским хозяевам. Выучился Танабай говорить по-русски, побывал вместе с извозом в городишке том Аулиэ-Ата, свет повидал немного. А там революция подоспела. И перевернулось все вверх дном. Пришло время Танабаев.

Вернулся Танабай в аил. Другая жизнь началась. Захватила, понесла, кружа голову. Все пришло сразу — земля, воля, права. Избрали его в батрачком. С Чоро сошелся в те годы. Тот был грамотным, молодежь обучал писать буквы, читать по складам. А Танабаю очень нужна была грамота — как-никак батрачком. Вступил в комсомольскую ячейку. И здесь был заодно с Чоро. И в партию вместе вступали. Все шло своим ходом, беднота наверх выбралась. А когда коллективизация началась, Танабай прикипел к этому делу всей душой. Кому, как не ему, было бороться за новую жизнь крестьянскую, за то, чтобы все

стало общее — земля, скот, труд, мечты. Долой кулаков! Крутое, ветреное время зашумело. Днем — в седле, ночью — на заседаниях и собраниях. Составлялись списки кулаков. Баи, муллы, всякие другие богатеи выбрасывались, как сорная трава с поля. Поле нужно было очистить, чтобы поднялись новые всходы. В списке раскулачивания оказался и Кулубай. К тому времени, пока Танабай носился вскачь, пока митинговал да заседал, брат его успел выбиться в люди. Женился на вдове, хозяйство пошло. Скот имел — овец, корову, пару лошадей, кобылу дойную с жеребенком, плуг, бороны и все прочее. На жатву нанимал работников. Нельзя было сказать, что он стал богачом, но и не бедным он был. Крепко жил, крепко работал.

На заседании в сельсовете, когда очередь дошла до Кулубая, Чоро сказал:

— Давайте, товарищи, подумаем. Раскулачивать его или нет. Такие, как Кулубай, пригодились бы и в колхозе. Ведь он сам из бедняков. Враждебной агитацией не занимался.

По-разному стали говорить. Кто «за», кто «против». Слово осталось за Танабаем. Сидел он нахохлившись, как ворон. Хоть сводный брат, но брат. Идти надо было против брата. Жили они

мирно, хотя и редко виделись. Каждый был занят своим. Сказать: не троньте его, но тогда как с другими быть — у всякого найдется защитник, родственник. Сказать: решайте сами — подумают, что в кусты прячется.

Люди ждали, что он скажет. И оттого, что они ждали, в нем нарастало ожесточение.

— Ты, Чоро, всегда так! — заговорил он, поднявшись. — В газетах пишут о книжных людях, как их там, энтеллегенты. Ты тоже энтеллегент. Ты вечно сомневаешься, боишься, как бы что не так. А чего сомневаться? Раз есть в списке — значит, кулак! И никакой пощады! Ради Советской власти я отца родного не пожалею. А то, что он брат мой, пусть вас не смущает. Не вы, так я сам раскулачу его.

Кулубай пришел к нему на другой день. Встретил Танабай брата холодно, руки не подал.

— За что же меня кулачить? Разве не мы с тобой ходили в батраках? Разве не нас с тобой прогоняли баи со двора?

— Это теперь не имеет значения. Ты сам стал баем.

— Какой же я бай? Своим трудом все наживал. И то не жалко. Возьмите все. Только зачем в кулаки меня тащишь? Побойся Бога, Танабай.

— Все равно. Ты враждебный класс. И мы должны ликвидировать тебя, чтобы построить колхоз. Ты стоишь на нашем пути, и мы должны убрать тебя с дороги…

Это был их последний разговор. Вот уже двадцать лет, как они словом не обмолвились. Когда Кулубая выслали в Сибирь, сколько разговоров, сколько пересудов было в аиле!

Всякое болтали. Придумали даже такое, что, мол, когда угоняли Кулубая из аила под конвоем двух верховых милиционеров, то уходил он, опустив голову, никуда не глядя и ни с кем не прощаясь. А когда вышли за аил и пошли по дороге через поля, бросился будто он в пшеницу молодую — то была первая колхозная озимь, и стал-де рвать ее с корнями да топтать и мять, как зверь в капкане. Конвоиры, мол, насилу сладили с ним и погнали дальше. И, уходя, сказывали, горько плакал он и проклинал Танабая.

Танабай этому не очень-то поверил. «Болтовня вражеская — хотят допечь меня этим. Но черта с два, так уж я и поддался!» — убеждал он себя.

А перед самой косовицей объезжал он однажды поля, любовался — хлеб уродился в тот год на славу, колос перед колосом гордился, и наткнулся на то самое место в пшенице, где бился в отчаянии

Кулубай, где топтал он и рвал с корнем молодое жито. Вокруг пшеница стояла стеной, а тут словно быки дрались, все истоптано, изломано, повысохло все, позарастало лебедой. Как увидел это Танабай, так и осадил коня.

— Ах ты гад! — прошептал он, вскипая злобой. — На колхозный хлеб руку поднял. Значит, ты и есть кулак. А кто же ты больше…

Долго стоял он так здесь на коне, молчаливый и мрачный, с тяжелой думой в глазах, потом развернулся и уехал, не оглядываясь. И после долгое время избегал он это злосчастное место, объезжал стороной, пока не выкосили хлеб, пока жнивье на полях не сровнялось с землей под копытами скота.

Мало кто защищал тогда Танабая. Больше осуждали: «Не приведи Бог иметь такого брата. Лучше безродным быть». Иные прямо резали это в глаза ему. Да, откровенно говоря, отшатнулись от него тогда люди. Не то чтобы открыто, но, когда голосовали за его кандидатуру, стали воздерживаться. Так мало-помалу и выбыл он из актива. И все же оправдывал себя тем, что кулаки жгли колхозы, стреляли, а самое главное, что колхоз зажил, дела пошли год от года лучше. Совсем другая жизнь наступила. Нет, не зря все то было тогда.

Вспоминал Танабай все то минувшее до мельчайших подробностей. Словно бы вся жизнь его осталась там, в той удивительной поре, когда колхозы набирали силу. Опять припомнил он песни той поры про «ударницу в красной косынке», припомнил первую колхозную полуторку и то, как стоял он ночью у кабины с красным флагом.

Бродил Танабай ночью по кошаре, служил свою горькую службу и думал свои горькие думы. Отчего же теперь все лезет по швам? А может, ошиблись, не туда пошли, не той дорогой? Нет, не должно быть так, не должно! Дорога была верная. А что же тогда? Заплутали? Сбились? Когда и как это случилось? Вот ведь и соревнование теперь — записали обязательства, и больше дела нет никому до того, как ты тут, что с тобой. Раньше красные и черные доски были, каждый день сколько разговоров, сколько споров: кто на красной доске, кто на черной — важно это было для людей. Теперь говорят, что это все пройденное, отжившее. А что взамен? Пустые разговоры, обещания. А на деле ничего. Почему так? Кого винить за все это?

Устал Танабай от безысходных дум. Безразличие, отупение охватывали его. Работа валилась из рук. Голова болела. Спать хотелось. Видел,

как молодая сакманщица приткнулась к стене. Видел, как слипались ее воспаленные глаза, как она боролась со сном и как стала медленно сползать, и как потом села на землю и уснула, уронив голову на колени. Не стал ее будить. Тоже прислонился к стене и тоже стал медленно сползать вниз, и ничего не мог поделать с собой, с той навалившейся на плечи тяжестью, которая клонила и клонила его вниз…

Проснулся он от сдавленного крика и какого-то глухого удара о землю. Испуганно шарахнувшиеся овцы затопали по его ногам. Вскочил, не понимая, в чем дело. Развиднялось уже.

— Танабай, Танабай, помоги, — звала его жена.

К ней подбежали сакманщицы, и он за ними. Смотрит — придавило ее обвалившейся с крыши стропилиной. Соскочил один конец ее с размытой стены, и рухнули стропила под тяжестью гнилой кровли. Сразу сон как рукой сняло.

— Джайдар! — вскрикнул он, подлез плечом под стропилину, поднял рывком.

Джайдар выползла, заохала. Женщины запричитали, стали ощупывать ее. Растолкал их, ничего не соображая от испуга, зашарил Танабай дрожащими руками под фуфайкой жены:

— Что с тобой? Что?

— Ой, поясница! Поясница!

— Ушибло? А ну давайте! — Он скинул мигом плащ, Джайдар положили на него и понесли из кошары.

В палатке осмотрели. Снаружи как будто бы ничего не было. Но пристукнуло крепко. Шевельнуться не могла.

Джайдар заплакала:

— Как же теперь? В такое-то время, а я? Как же теперь вам!

«О боже! — пронеслось в голове Танабая. — Надо радоваться, что жива осталась. А она? Да провались эта работа ко всем чертям! Только бы ты цела была, бедняжка моя…»

Он стал гладить ее по голове.

— Что ты, Джайдар, успокойся! Лишь бы ты встала на ноги. А все остальное ерунда, справимся…

И все они, только теперь придя в себя, стали наперебой уговаривать и успокаивать Джайдар. И ей от этого словно полегчало. Улыбнулась сквозь слезы.

— Ладно уж. Не обижайтесь только, что так случилось. Я не залежусь. Дня через два встану, вот посмотрите.

Женщины принялись готовить ей постель и

разжигать огонь, а Танабай пошел обратно в кошару, все еще не веря, что несчастье пронеслось стороной.

Утро открывалось белое, в новом мягком снегу. В кошаре Танабай нашел задавленную стропилиной матку. Давеча они и не заметили ее. Сосунок тыкался мордочкой в соски мертвой овцы. И еще страшней стало Танабаю, и еще радостней, что жена осталась жива. Он взял осиротевшего ягненка, пошел отыскивать ему другую мать. И потом, ставя подпорку под стропилину, подпирая стояком стену, все думал, что надо пойти поглядеть, что там с женой.

Выйдя наружу, он увидел невдалеке стадо овец, медленно бредущих по снегу. Какой-то пришлый чабан гнал их к нему. Что за отара? Зачем он гонит ее сюда? Перемешаются овцы, разве же можно так? Танабай пошел предупредить этого странного чабана, что тот забрел в чужие места.

Подойдя ближе, увидел, что отару гонит Бектай.

— Эй, Бектай, ты, что ли?

Тот ничего не ответил. Молча подгонял к нему отару, лупил овец палкой по спинам. «Да что он так суягных маток!» — возмутился Танабай.

— Ты откуда? Куда? Здравствуй.

— Оттуда, где меня уже нет. А куда, сам видишь. — Бектай подходил к нему, туго подпоясанный веревкой, с рукавицами, засунутыми на груди под плащ.

Держа палку за спиной, остановился в нескольких шагах, но не поздоровался. Сплюнул зло и зло притоптал плевок в снегу. Вскинул голову. Черный был, обросший бородой, точно приклеенной к его молодому, красивому лицу. Рысьи глаза его смотрели исподлобья с ненавистью и вызовом. Он сплюнул еще раз, судорожно перехватил палку, махнул ею на стадо.

— Бери. Хочешь считай, хочешь нет. Триста восемьдесят пять голов.

— А что?

— Ухожу.

— Как это — ухожу? Куда?

— Куда-нибудь.

— А я при чем?

— При том, что ты мой шеф.

— Ну и что? Постой, постой, ты куда? Ты куда собрался? — Только теперь дошло до Танабая то, что задумал его подшефный чабан. И ему стало душно, горячо от прилившей к голове крови. — Как же так? — промолвил он растерянно.

— А вот так. Хватит с меня. Надоело. Сыт по

горло жизнью такой.

— Да ты понимаешь, что ты говоришь? Окот у тебя не сегодня-завтра! Как же так можно?

— Можно. Раз с нами так можно, то и нам так можно. Прощай! — Бектай раскрутил палку над головой, закинул ее что есть силы и пошел прочь.

Танабай застыл, онемевший. Слов уже не находил. А тот шагал, не оглядываясь.

— Одумайся, Бектай! — Он побежал за ним. — Нельзя так. Подумай сам, что ты делаешь! Ты слышишь?

— Отстань! — Бектай резко обернулся. — Это ты думай. А я хочу жить, как люди живут. Я ничем не хуже других. Я тоже могу работать в городе, получать зарплату. Почему я должен пропадать здесь с этими овцами? Без кормов, без кошары, без юрты над головой. Отстань! И иди расшибайся в доску, утопай в навозе. Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож. Подохнешь здесь скоро. А тебе еще мало этого. Призывы еще бросаешь. Хочешь и других за собой потянуть. Дудки! Довольно с меня! — И он зашагал, топча белый нетронутый снег с такой силой, что следы его мигом чернели, наливаясь водой…

— Бектай, ты послушай меня! — догнал его

Танабай. — Я тебе все объясню.

— Другим объясняй. Ищи дураков!

— Остановись, Бектай. Поговорим.

Тот уходил, не желая слушать.

— Под суд попадешь!

— Лучше под суд, чем так! — огрызнулся Бектай и больше не оборачивался.

— Ты дезертир!

Тот все шагал.

— Таких на фронте расстреливали!

Тот все шагал.

— Стой, говорю! — Танабай схватил его за рукав.

Тот вырвал руку и пошел дальше.

— Не позволю, не имеешь права! — Танабай крутанул его за плечо, и вдруг белые сопки вокруг поплыли в глазах и померкли в дыму. Неожиданный удар под челюсть свалил его с ног.

Когда он поднял кружившуюся голову, Бектай уже скрылся за пригорком.

Уходила за ним одинокая цепочка темных следов.

— Пропал парень, пропал, — застонал Танабай, поднявшись на четвереньки. Встал. Руки были в грязи и снегу.

Отдышался. Собрал бектаевскую отару и пону-

ро погнал к себе.

## 17

Двое всадников выезжали из аила, направляясь в горы. Один на буланом коне, другой — на гнедом. Хвосты их коней были подвязаны тугими узлами — путь предстоял далекий. Грязь, перемешанная со снегом, чавкала, разлеталась из-под копыт брызгами и комьями.

Гульсары шел на тугих поводьях напористой поступью. Настоялся иноходец, пока хозяин болел дома. Но сейчас на нем ехал не хозяин, а кто-то незнакомый в кожаном пальто и распахнутом брезентовом плаще поверх пальто. От его одежды попахивало краской и резиной. Чоро ехал рядом, на другом коне. Это случалось — уступал иноходца товарищу, приехавшему из района. А Гульсары, собственно, было все равно, кто на нем сидел. С тех пор как его взяли из табуна, от прежнего хозяина, много людей ездило на нем. Разных людей — добрых и недобрых. Удобных и неудобных в седле. Попадал и в руки лихачей. Ох и дурные же они на коне! Разгонит такой вовсю и вдруг осадит удилами, поднимет на дыбы, и снова разгонит, и снова осадит намертво. Сам не знает, что вытворяет, только чтобы все видели, что он

на иноходце. Ко всему уже привык Гульсары. Ему лишь бы не стоять на конюшне, не томиться. В нем все еще жила прежняя страсть — бежать, бежать и бежать. А кого он везет, ему все равно было. Это седоку было не все равно, на каком коне он ехал. Буланого иноходца подали — значит, уважают, боятся его. Силен, красив Гульсары. Покойно и надежно на нем седоку.

В этот раз на иноходце ехал районный прокурор Сегизбаев, посланный в колхоз уполномоченным. Сопровождал его парторг колхоза — тоже, стало быть, уважение. Молчит парторг, боится небось: дела-то плохи с расплодной в овцеводстве. Очень плохи. Ну и пусть молчит. Пусть боится. Нечего ему лезть с пустыми разговорами, нижестоящие должны робеть перед вышестоящими. Иначе никакого порядка не будет. Есть еще такие, что запросто держатся со своими подчиненными, так потом от этих же самых подчиненных такие щелчки получают, что пыль идет с них, как со старой одежды. Власть — дело большое, ответственное, не каждому по плечу.

Ехал с такими мыслями Сегизбаев, покачиваясь в седле в такт поступи иноходца, и нельзя сказать, чтобы был в дурном расположении духа, хотя направлялся с проверкой к чабанам и знал,

что там мало чего приятного увидит. Зима сшиблась с весной, не уступают друг другу, и в этой сшибке больше всех достается овцам — гибнет молодняк, гибнут отощавшие матки, а ничего не поделаешь. Каждый год ведь так. И все об этом знают. Но раз уж его послали уполномоченным — значит, должен он будет кого-нибудь призвать к ответу. И где-то в глубоких потемках своей души он знал еще, что высокий процент падежа в районе ему даже на руку. В конце концов, не он, районный прокурор и всего лишь член бюро райкома, отвечает за положение дел с животноводством. Первый секретарь — вот кто отвечает. Новый еще, недавно в районе, вот пусть и отдувается. А он, Сегизбаев, посмотрит. И там, наверху, пусть посмотрят, не ошиблись ли, прислав секретаря со стороны. Досадовал Сегизбаев, когда это случилось, не мог смириться, что его обошли. Давно уже он тут в прокурорах, не раз, кажется, доказывал, на что способен. Ну ничего, друзья у него есть, поддержат при случае. Пора, пора ему переходить на партийную работу, засиделся в прокурорском кресле… А иноходец хорош, качается, как корабль, ни грязь, ни слякоть ему нипочем. У парторга-то лошадь уже в мыле, а иноходец только сыреть начал…

А Чоро думал о своем. Выглядел он очень плохо. Желтизна разлилась на изможденном лице, глаза ввалились. Сколько лет мучается с сердцем, и чем дальше, тем хуже и хуже. И мысли его были тяжкие. Да, Танабай оказался прав. Председатель кричит, шумит, а толку от этого нет. Больше пропадает в районе, всегда у него какие-то дела там. Надо бы поставить вопрос о нем на парт-собрании, но в районе велят подождать. А чего ждать? Поговаривают, будто Алданов сам хочет уходить, — может, потому? Ушел бы уж лучше. И ему, Чоро, тоже пора уходить. Какова от него польза? Вечно болеет. Самансур приезжал на каникулы, тоже советует уходить. Уйти-то можно, а совесть? Самансур парень неглупый, теперь он лучше отца во всем разбирается. Все толкует, как надо вести сельское хозяйство. Учат их хорошим наукам, со временем, может, так оно и станет, как их учат профессора, но пока суд да дело — отец, видно, душу отдаст. И не уйти ему от горя своего никуда. От себя не уйдешь, не скроешься. Да и что скажут люди? Обещал, обнадеживал, завел колхоз в невылазные долги, а сам теперь — на покой? Нет ему покоя, не будет, лучше уж стоять до конца. Придут на помощь, так долго не может быть. Скорей бы уж только. И по-настоящему, а

не так, как этот. Судить, говорит, будем за развал! Ну, суди! А дело приговором не поправишь. Едет, насупился, будто там, в горах, одни преступники, а он один борется за колхоз… А ведь ему наплевать на все, так только, вид напускает. Но попробуй скажи.

## 18

Большие горы стояли в серой мгле. Забытые солнцем, угрюмо темнели они наверху, как обиженные великаны. Весне нездоровилось. Сыро, мутно вокруг.

Бедовал Танабай в кошаре своей. Холодище, духота. Ягнилось сразу по нескольку маток, и некуда было девать ягнят. Хоть криком кричи. Галдеж, блеянье, толкотня. Все хотят есть, все хотят пить и мрут как мухи. А тут еще жена лежит с разбитой поясницей. Хотела встать, но разогнуться не может. Пусть что будет, то будет. Сил никаких уже нет.

Из головы не выходил Бектай, бессильная злоба на него душила Танабая. Не потому, что он ушел — туда ему и дорога, и не потому, что отару свою подкинул, как кукушка яйца свои в чужое гнездо, — в конце концов пришлют кого-нибудь, заберут его овец, а потому, что не сумел ответить Бектаю так, чтобы шкура с него слезла от стыда. Так, чтобы свету белому не возрадовался. Мальчишка! Сопляк! А он, Танабай, старый коммунист, всю жизнь положивший за колхоз, не нашел слов, чтобы достойно ответить ему. Закинул палку

чабанскую и ушел, сопляк. Разве думал Танабай когда, что случится такое? Разве он думал когда, что станут смеяться над его кровным делом?

«Хватит!» — останавливал он себя, но через минуту снова возвращался к тем же мыслям.

Вот еще разрешилась одна матка, двойню принесла, хорошенькие ягнята. Только куда их? Вымя у овцы пустое, да и с чего молоку-то быть? Значит, и эти подохнут! Эх, беда, беда! А там вон лежат уже дохлые, закоченелые. Собрал Танабай трупики, пошел выносить. Вбежала запыхавшаяся дочурка:

— Отец, к нам едут начальники.

— Пусть едут, — буркнул Танабай. — Ты иди за матерью присмотри.

Выйдя из кошары, Танабай увидел двух всадников. «О! Гульсары! — обрадовался он. Тенькнула в груди старая струнка. — Сколько не видались! Смотри, как идет, все такой же!» Один был Чоро. А другого, в кожаном пальто, что ехал на иноходце, не узнал! Из района кто-нибудь.

«Ну-ну, подъезжайте. Наконец-то», — со злорадством подумал он. Тут можно было бы пожаловаться, выплакать свою долю, но нет, не станет он хныкать, пусть они покраснеют. Разве же можно так! Бросили на погибель, а теперь заявляются…

Танабай не стал ожидать, когда они подъедут, пошел за угол кошары, выбросил мертвых ягнят в кучу. Вернулся не спеша.

Те были уже во дворе. Кони дышали тяжело. Чоро выглядел жалким, виноватым. Знал, что ответ придется держать перед другом. А тот, на иноходце, сердит был, грозен, даже не поздоровался. Вспылил сразу.

— Безобразие! Везде так! Смотри, что тут творится! — возмущался он, обращаясь к Чоро. Потом повернулся к Танабаю: — Что же это ты, товарищ, — кивнул он в ту сторону, куда отнес Танабай мертвых сосунков, — чабан-коммунист, а ягнята дохнут?

— А они, наверное, не знают, что я коммунист, — съязвил Танабай, и вдруг будто сломалась в нем какая-то пружина, и сразу пусто стало на душе, безразлично и горько.

— То есть как? — Сегизбаев побагровел. И замолк. — Социалистические обязательства принимал? — нашелся он наконец, одергивая для острастки голову иноходца.

— Принимал.

— А что там было сказано?

— Не помню.

— Вот потому и дохнут у тебя ягнята! — Сегиз-

баев ткнул рукояткой камчи опять в сторону и вскинулся на стременах, воодушевившись возможностью проучить дерзкого пастуха. Но сначала он накинулся на Чоро: — Куда вы смотрите? Люди не знают даже свои обязательства. Срывают планы, губят скот! Чем вы занимаетесь здесь? Как воспитываете своих коммунистов? Какой он коммунист? Я вас спрашиваю!

Чоро молчал, опустив голову. Мял в руках поводья уздечки.

— Какой есть, — спокойно ответил за него Танабай.

— Во-во, какой есть. Да ты вредитель! Ты уничтожаешь колхозное добро. Ты враг народа. В тюрьме твое место, а не в партии! Ты смеешься над соревнованием.

— Угу, в тюрьме мое место, в тюрьме, — подтвердил Танабай так же спокойно. И губы его запрыгали, смеясь от раздирающего приступа бешенства, вспыхнувшего в нем от обиды, от горечи, от всего того, что переполнило чашу его терпения. — Ну! — уставился он на Сегизбаева, силясь унять прыгающие губы. — Что ты еще скажешь?

— Зачем ты так разговариваешь, Танабай? — вмешался Чоро. — Ну зачем? Объясни все тол-

ком.

— Вот как! Значит, и тебе надо объяснять? Ты зачем сюда приехал, Чоро? — закричал Танабай. — Ты зачем приехал? Я тебя спрашиваю! Чтобы сказать, что у меня мрут ягнята? Я и сам знаю! Чтобы сказать, что я в дерьме сижу по горло? Я и сам знаю! Что я дураком был всю жизнь, что расшибался в доску ради колхоза? Я и сам знаю!..

— Танабай! Танабай! Опомнись! — Побелевший Чоро спрыгнул с седла.

— Прочь! — оттолкнул его Танабай. — Плевал я на свои обязательства, на всю свою жизнь плевал! Уйди! Мое место в тюрьме! Ты зачем привел этого нового манапа в кожаном пальто? Чтобы измывался он надо мной? Чтобы в тюрьму меня сажал? А ну давай, сволочь, сажай меня в тюрьму! — Танабай метнулся, чтобы схватить что-нибудь в руки, схватил вилы, стоявшие у стены, и кинулся с ними на Сегизбаева. — А ну, вон отсюда, сволочь! Убирайся! — И, уже ничего не соображая, замахал вилами перед собой.

Перетрусивший Сегизбаев бестолково дергал иноходца то туда, то сюда, вилы били ошалевшего коня по голове, отскакивали, звеня, и снова обрушивались на его голову. И в ярости своей не

понимал Танабай, почему так судорожно дергается голова Гульсары, почему так рвут удила его красную горячую пасть, почему так растерянно и жутко мелькают перед ним выкатившие из орбит глаза коня.

— Уйди, Гульсары, прочь! Дай мне достать этого манапа в коже! — ревел Танабай, нанося удар за ударом по неповинной голове иноходца.

Подоспевшая молодая сакманщица повисла на его руках, пыталась вырвать вилы, но он швырнул ее наземь. Чоро тем временем успел вскочить в седло.

— Назад! Бежим! Убьет! — Чоро бросился к Сегизбаеву, загораживая его от Танабая.

Танабай замахнулся на него вилами, и оба всадника припустили коней прочь со двора. Собака с лаем преследовала их, цепляясь за стремена, за хвосты коней.

А Танабай бежал вслед, спотыкаясь, хватал на бегу комья глины, швырял вдогонку и не переставая орал:

— В тюрьме мое место? В тюрьме! Вон! Вон отсюда! В тюрьме мое место! В тюрьме!

Потом вернулся, все еще бормоча, задыхаясь: «В тюрьме мое место, в тюрьме!» Рядом горделиво, с чувством исполненного долга, шел пес. Он

ждал одобрения хозяина, но тот не замечал его. Навстречу, опираясь на палку, ковыляла бледная, перепуганная Джайдар.

— Что ты наделал? Что ты наделал?

— Зря.

— Что «зря»? Конечно, зря!

— Зря избил иноходца.

— Да ты в уме своем? Ты знаешь, что ты наделал?

— Знаю. Я вредитель. Я враг народа, — проговорил он, борясь с одышкой, потом замолк и, стиснув лицо руками, согнувшись, громко зарыдал.

— Успокойся, успокойся, — просила жена, плача вместе с ним, но он все плакал и плакал, качаясь из стороны в сторону. Никогда еще не видела Джайдар плачущего Танабая…

## 19

Бюро райкома партии состоялось на третий день после этого чрезвычайного происшествия.

Танабай Бакасов сидел в приемной и ждал, когда его вызовут в кабинет, за дверью которого шел разговор о нем. Много передумал он за эти дни, но еще не мог решить, виновен он или нет. Понимал, что совершил тяжелый проступок, что поднял руку на представителя власти, но если бы дело было только в этом, то все обстояло бы просто. За свое недостойное поведение он готов был принять любое наказание. Но ведь он, поддавшись порыву гнева, выплеснул на ветер всю свою боль за колхоз, испоганил все свои тревоги и раздумья. Кто ему теперь поверит? Кто его теперь поймет? «А может, все-таки поймут? — вспыхивала у него надежда. — Скажу обо всем: о зиме нынешней, о кошаре и юрте, о бескормице, о бессонных ночах моих, о Бектае... Пусть разберутся. Можно ли так хозяйничать?» И он уже не сожалел, что так получилось. «Пусть накажут меня, — размышлял он, — зато другим, может быть, станет легче. Быть может, после этого оглянутся на чабанов, на житье наше, на

наши беды». Но спустя минуту, вспоминая все пережитое, он снова поддавался ожесточению, и каменно сжимал кулаки между коленками, и упрямо твердил себе: «Нет, ни в чем я не виноват, нет!» А потом снова впадал в сомнения…

Здесь же, в приемной, сидел почему-то и Ибраим. «А этому что тут надо? Прилетел, как стервятник на падаль», — злился Танабай, отворачиваясь от него. И тот помалкивал, вздыхал, поглядывая на поникшую голову чабана.

«Что же они тянут? — ерзая на стуле, думал Танабай. — Чего еще — бить так бить!» Там, за дверями, кажется, все были уже в сборе. Последним, несколько минут тому назад, пришел в кабинет Чоро. Танабай узнал его по налипшим к голенищам сапог шерстинкам. То был желтоватый волос буланого иноходца. «Крепко спешил, видать, пропотел Гульсары до мыла», — подумал он, но не поднял головы. И сапоги с разводьями конского пота и шерстинками на голенищах, нерешительно потоптавшись возле Танабая, скрылись за дверью.

Долго тянулось время, пока из кабинета не выглянула секретарша:

— Войдите, товарищ Бакасов.

Танабай вздрогнул, встал, оглушенный удара-

ми сердца, и пошел в кабинет под эту несмолкающую канонаду в ушах. В глазах затуманилось. Он почти не различил лиц сидящих здесь людей.

— Садитесь. — Первый секретарь райкома Кашкатаев показал Танабаю на стул в конце длинного стола.

Танабай сел, положил отяжелевшие руки на колени, ждал, когда пройдет туман в глазах. Потом глянул вдоль стола. По правую руку первого секретаря сидел Сегизбаев с надменным лицом. Танабай так напрягся весь от ненависти к этому человеку, что туман, стоявший в его глазах, разом пропал. Лица всех сидевших за столом выступили резко и отчетливо. Самым темным среди всех, темно-багровым, было лицо Сегизбаева, и самым бледным, совершенно бескровным, — лицо Чоро. Он сидел с самого края, ближе всех к Танабаю. Худые руки его нервно подрагивали на зеленом сукне стола. Председатель колхоза Алданов, сидевший напротив Чоро, шумно сопел, насупленно поглядывая по сторонам. Он не скрывал своего отношения к предстоящему делу. Другие, видимо, еще выжидали. Наконец первый секретарь оторвался от бумаг в папке.

— Приступим к персональному делу коммуниста Бакасова, — сказал он, жестко нажимая

на слова.

— Да, с позволения сказать, коммуниста, — ехидно проронил кто-то с усмешкой.

«Злы! — отметил про себя Танабай. — Пощады от них не жди. А почему я должен ждать пощады? Что я, преступник?»

Он не знал, что в решении его вопроса столкнутся две тайно соперничающие стороны, готовые каждая по-своему использовать этот прискорбный случай. Одна сторона — в лице Сегизбаева и его сторонников — хотела испытать сопротивляемость нового секретаря, проверить, нельзя ли для начала хотя бы прибрать его к рукам. Другая сторона — в лице самого Кашкатаева, который угадывал, что Сегизбаев метит на его место, — обдумывала, как сделать так, чтобы и себя не уронить, и не обострять отношений с этими опасными людьми.

Секретарь райкома зачитал докладную записку Сегизбаева. В докладной были обстоятельно описаны все преступления, учиненные словами и действиями Танабая Бакасова, чабана колхоза «Белые камни». В докладной не было ничего, что Танабай мог бы отрицать, но ее тон, формулировки предъявляемых ему обвинений привели его в отчаяние. Он покрылся испариной от сознания

своего полного бессилия перед этой чудовищной бумагой. Докладная Сегизбаева оказалась куда страшнее его самого. Против нее не бросишься с вилами в руках. И все, о чем намеревался Танабай сказать в свое оправдание, рухнуло в один миг, потеряло в его же собственных глазах всякое значение, превратилось в жалкие жалобы пастуха на свои обычные невзгоды. Не глупец ли он? Какая цена его оправданиям перед этой грозной бумагой?! С кем вздумал он сразиться?

— Товарищ Бакасов, признаете вы объективность фактов, изложенных в записке члена бюро товарища Сегизбаева? — спросил Кашкатаев, закончив читать докладную.

— Да, — глухо отозвался Танабай.

Все молчали. Казалось, все были в страхе от этой бумаги. Алданов удовлетворенно смерил сидящих за столом вызывающим взглядом — видите, мол, что происходит.

— Товарищи члены бюро, если разрешите, я внесу ясность в существо дела, — решительно заговорил Сегизбаев. — Я хочу сразу предостеречь некоторых товарищей от возможной попытки квалифицировать действия коммуниста Бакасова просто как хулиганский поступок. Если бы это было так, то, поверьте мне, я не стал бы

выносить вопрос на бюро: с хулиганами у нас есть другие меры борьбы. И дело, конечно, не в моих оскорбленных чувствах. За мной стоит бюро районного комитета партии, за мной в данном случае, если хотите, стоит вся партия, и я не могу допустить надругательства над ее авторитетом. А самое главное — все это говорит о запущенности нашей политико-воспитательной работы среди коммунистов и беспартийных, серьезных недостатках в идеологической работе райкома. Нам всем еще предстоит ответить за образ мыслей таких рядовых коммунистов, как Бакасов. Нам еще предстоит выяснить, один ли он такой, или у него есть единомышленники. Что стоит его заявление: «Новый манап в кожаном пальто!» Оставим в стороне пальто. Но, по Бакасову, выходит, что *я*, советский человек, партийный уполномоченный, — новый манап, барин, душитель народа! Вот как! Вы понимаете, что это означает, что кроется за такими словами? Думаю, комментарии излишни… Теперь о другой стороне дела. Удрученный крайним неблагополучием с животноводством в «Белых камнях», я в ответ на возмутительные слова Бакасова, якобы забывшего свои социалистические обязательства, назвал его вредителем, врагом народа

и сказал, что его место не в партии, а в тюрьме. Признаю — оскорбил его и готов был извиниться перед ним. Но теперь я убедился, что это именно так. И не беру слова свои назад, а утверждаю, что Бакасов — опасный, враждебно настроенный элемент…

Чего только Танабай не пережил, войну прошел с начала до конца, но не подозревал, что сердце может кричать таким криком, каким оно кричало сейчас. С этим криком, отдававшимся неумолкающей канонадой в ушах, сердце его падало, вставало, карабкалось, срывалось вниз и снова пыталось встать, но пули били его в упор. «Боже, — стучало в голове Танабая, — куда девалось все, что было смыслом моей жизни, смыслом всей моей работы? Вот уже до чего дожил — стал врагом народа. А я-то страдал за какую-то кошару, за ягнят этих обдристанных, за беспутного Бектая. Кому это нужно!..»

— Напомню еще раз выводы своей докладной записки, — продолжал Сегизбаев, расставляя слова железным порядком. — Бакасов ненавидит наш строй, ненавидит колхоз, ненавидит соцсоревнование, плюет на все это, ненавидит всю нашу жизнь. Это он заявил совершенно открыто в присутствии парторга колхоза товарища Сая-

кова. В его действиях наличествует также состав уголовного преступления — покушение на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Я прошу правильно понять меня, я прошу санкцию на привлечение Бакасова к судебной ответственности, с тем чтобы по выходе отсюда он был взят под стражу. Состав его преступления полностью соответствует статье пятьдесят восемь. А о пребывании Бакасова в рядах партии, по-моему, и речи не может быть!..

Сегизбаев знал, что запросил слишком, но он рассчитывал на то, что если бюро и не сочтет нужным привлекать Танабая Бакасова к судебной ответственности, то исключение его из партии, во всяком случае, будет обеспечено. Этого требования Кашкатаев уже никак не сможет не поддержать, и тогда его, Сегизбаева, позиции еще больше утвердятся.

— Товарищ Бакасов, что вы скажете о своем поступке? — спросил Кашкатаев, уже приходя в раздражение.

— Ничего. Все уже сказано, — ответил Танабай. — Выходит, я был и остаюсь вредителем, врагом народа. Так зачем же знать, о чем думаю я? Судите сами, вам виднее.

— А вы считаете себя честным коммунистом?

— Теперь этого не докажешь.

— А вы признаете свою вину?

— Нет.

— Вы что, считаете себя умнее всех?

— Нет, наоборот, глупее всех.

— Разрешите, я скажу. — С места встал молодой парень с комсомольским значком на груди. Он был моложе всех, щуплый, узколицый, выглядел еще как-то по-мальчишески.

Танабай только теперь приметил его. «Крой, мальчик, не жалей, — сказал он ему про себя. — Я тоже был когда-то таким, не жалел…»

И, как вспышку, сверкнувшую в далеких тучах, увидел он то место в пшенице у дороги, где Кулубай рвал и топтал молодое жито. Он увидел это совершенно отчетливо, все разом предстало перед его мысленным взором, и содрогнулся он, закричал в душе беззвучным криком.

Его вернул в себя голос Кашкатаева:

— Говорите, Керимбеков…

— Я не одобряю поступка товарища Бакасова. Считаю, что он должен понести соответствующее партийное взыскание. Но я не согласен и с товарищем Сегизбаевым. — Керимбеков сдерживал в голосе дрожь волнения. — Мало того, я считаю, что надо обсудить и самого товарища

Сегизбаева…

— Вот те раз! — оборвал его кто-то. — Это у нас в комсомоле, что ли, порядки такие?

— Порядки у всех одни, — ответил Керимбеков, еще больше волнуясь и краснея. Он запнулся, подбирая слова и превозмогая свою скованность, и вдруг, словно с отчаяния, заговорил хлестко и зло: — Какое вы имели право оскорблять колхозника, чабана, старого коммуниста? Да попробуйте вы назвать меня врагом народа. Вы объясняете это тем, что были крайне удручены состоянием животноводства в колхозе, а вы не предполагаете, что чабан был удручен не меньше вашего? Вы, когда приехали к нему, поинтересовались, как он живет, как идут у него дела? Почему гибнет молодняк? Нет, судя по вашей же записке, вы сразу же начали поносить его. Ни для кого не секрет, как тяжело идет расплодная кампания в колхозах. Я часто бываю на местах, и мне стыдно, неудобно перед своими комсомольцами-чабанами за то, что мы требуем с них, а помощи практической не оказываем. Посмотрите, какие кошары в колхозах, а с кормами как? Я сам сын чабана. Я знаю, что это такое, когда мрут ягнята. В институте нас учили одному, а на местах все идет по старинке. Душа болит, глядя на все это!..

— Товарищ Керимбеков! — перебил его Сегизбаев. — Не пытайтесь разжалобить нас, чувство — понятие растяжимое. Факты, факты нужны, а не чувства.

— Извините, но тут не суд над уголовным преступником, а разбор дела нашего товарища по партии, — продолжал Керимбеков. — Решается судьба коммуниста. Так давайте же призадумаемся, почему так поступил товарищ Бакасов. Действия его, конечно, надо осудить, но как случилось, что один из лучших животноводов колхоза, каким был Бакасов, дошел до такой жизни?

— Садитесь, — недовольно сказал Кашкатаев. — Вы уводите нас в сторону от существа вопроса, товарищ Керимбеков. Всем тут, по-моему, абсолютно ясно — коммунист Бакасов совершил тягчайший проступок. Куда это годится? Где это видано? Мы никому не позволим накидываться с вилами на наших уполномоченных, мы никому не позволим подрывать авторитет наших работников. Вы бы лучше подумали, товарищ Керимбеков, как наладить дела в комсомоле, чем заниматься беспредметными спорами о душе и чувствах. Чувства чувствами, а дела делами. То, что позволил себе Бакасов, действительно долж-

но насторожить нас, и, конечно, ему нет места в партии. Товарищ Саяков, вы, как парторг колхоза, подтверждаете всю эту историю? — спросил он у Чоро.

— Да, подтверждаю, — проговорил бледный Чоро, медленно поднимаясь с места — Но я хотел бы объяснить…

— Что объяснить?

— Во-первых, я попросил бы, чтобы мы у себя в парторганизации обсудили Бакасова.

— Это не обязательно. Проинформируете потом членов парторганизации о решении бюро райкома. Что еще?

— Я хотел бы объяснить…

— Что объяснить, товарищ Саяков? Антипартийное выступление Бакасова налицо. Объяснять тут уже нечего. Вы тоже несете ответственность. И мы вас накажем за развал работы по воспитанию коммунистов. Почему вы пытались уговорить товарища Сегизбаева не ставить вопрос на бюро? Хотели скрыть? Безобразие! Садитесь!

Начались споры. Директор МТС и редактор районной газеты поддержали Керимбекова. На какой-то момент показалось даже, что им удастся защитить Танабая. Но сам он, подавленный и смятенный, уже никого не слушал. Он все спра-

шивал себя: «Куда девалось все то, чем я жил? Ведь здесь никому, кажется, и дела нет до всего того, что там у нас в отарах, в стадах. Каким же я дураком был! Жизнь свою извел ради колхоза, ради овец и ягнят. А теперь все это не в счет. Теперь я опасный. Ну и черт с вами! Делайте со мной что хотите — если от этого лучше станет, не буду жалеть. Давайте, гоните меня взашей. Мне теперь один конец, кройте, не жалейте…»

Выступил председатель колхоза Алданов. По выражению лица и жестам председателя Танабай видел, что тот кого-то поносит, но кого именно — не доходило до его сознания, пока он не услышал слова: «Кишен… иноходец Гульсары…»

— … И что вы думаете? — возмущался Алданов. — Он в открытую грозился размозжить мне голову только за то, что мы вынуждены были надеть путы на ноги коню. Товарищ Кашкатаев, товарищи члены бюро, я, как председатель колхоза, прошу избавить нас от Бакасова. Его место действительно в тюрьме. Он ненавидит всех руководящих работников. Товарищ Кашкатаев, за дверью находятся свидетели, которые могут подтвердить угрозы Бакасова в мой адрес. Можно ли будет их пригласить?

— Нет, не надо, — брезгливо поморщился Каш-

катаев. — Достаточно и этого. Садитесь.

Потом стали голосовать.

— Внесено одно предложение: исключить из членов партии товарища Бакасова. Кто «за»?

— Одну минутку, товарищ Кашкатаев. — Снова порывисто встал Керимбеков. — Товарищи члены бюро, не совершим ли мы тяжелую ошибку? Есть другое предложение — ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело Бакасова и объявить вместе с этим выговор члену бюро Сегизбаеву за оскорбление партийного и человеческого достоинства коммуниста Бакасова, за недопустимый метод работы Сегизбаева как уполномоченного райкома.

— Демагогия! — вскричал Сегизбаев.

— Успокойтесь, товарищи, — сказал Кашкатаев. — Вы находитесь на бюро райкома, а не дома у себя, прошу соблюдать дисциплину. — Теперь все зависело от него, первого секретаря райкома. И он повернул дело так, как и рассчитывал Сегизбаев. — Привлекать Бакасова к уголовной ответственности я не нахожу нужным, — сказал он, — но в партии ему, конечно, не место, в этом товарищ Сегизбаев совершенно прав. Будем голосовать. Кто за исключение Бакасова?

Членов бюро было семь человек. Трое подняли

руки за исключение, трое — против. Оставался сам Кашкатаев. Помедлив, он поднял руку «за». Танабай ничего этого не видел. Он узнал решение своей участи, когда услышал, как Кашкатаев обратился к секретарше:

— Запишите в протокол: решением бюро райкома товарищ Бакасов Танабай исключен из членов партии.

«Вот и все!» — сказал про себя Танабай, помертвев.

— А я настаиваю на объявлении выговора Сегизбаеву, — не сдавался Керимбеков.

Можно было и не ставить этого на голосование, отклонить, но Кашкатаев решил, что надо поставить. В этом тоже был свой тайный смысл.

— Кто за предложение товарища Керимбекова? Прошу поднять руки!

Опять три на три. И опять Кашкатаев поднял руку четвертым и спас тем самым Сегизбаева от выговора. «Только поймет ли он, оценит ли эту услугу? Кто его знает… Коварен, хитер».

Люди задвигались на стульях, как бы собираясь уходить. Танабай решил, что все уже кончено, встал и молча, ни на кого не глядя, направился к дверям.

— Бакасов, вы куда? — остановил его Кашката-

ев. — Оставьте свой партийный билет.

— Оставить? — Только теперь до Танабая дошло все то, что случилось.

— Да. Положите на стол. Вы теперь не член партии и не имеете права носить его при себе…

Танабай полез за партбилетом. Долго возился в наступившей тишине. Он был там, глубоко, под фуфайкой, под пиджаком, в кожаной сумочке, сшитой руками Джайдар. Сумочку эту Танабай носил на ремешке через плечо. Наконец вытащил наружу, достал партийную книжицу, нагретую у груди, и положил ее, теплую, пропитанную запахом своего тела, на холодный полированный стол Кашкатаева. Поежился даже, самому стало холодно. И, опять ни на кого не глядя, стал запихивать сумочку под пиджак, собираясь уйти.

— Товарищ Бакасов, — послышался сзади, из-за стола, сочувствующий голос Керимбекова, — а что вы сами скажете? Ведь вы ничего не сказали здесь. Может быть, вам трудно было? Мы надеемся, что двери для вас назад не закрыты, что рано или поздно вы сможете вернуться в партию. Вот скажите, что вы думаете сейчас?

Танабай обернулся с болью и неловкостью за себя перед этим незнакомым парнем, все еще пытавшимся как-нибудь облегчить свалившееся

на его плечи горе.

— Что мне говорить? — промолвил он грустно. — Всех не переговоришь тут. Одно лишь скажу, что не виновен я ни в чем, если даже и поднял руку, если даже и сказал нехорошие слова. Объяснить вам этого не смогу. Вот и все, стало быть.

Наступило гнетущее молчание.

— Хм. Значит, на партию обижаешься? — раздраженно сказал Кашкатаев. — Ну, знаешь, товарищ. Партия тебя на путь истинный наставляет, от суда тебя спасла, а ты еще недоволен, обижаешься! Значит, ты действительно недостоин звания члена партии. И вряд ли двери назад будут тебе открыты!

Вышел Танабай из райкома спокойным на вид. Слишком даже спокойным. И это было скверно. День стоял теплый, солнечный, близился вечер. Люди шли и ехали по своим делам. Детвора бегала на площади у клуба. А Танабаю тошно было смотреть на все и от самого себя было тошно. Скорей отсюда в горы, домой. Пока не случилось с ним еще что-нибудь плохое. У коновязи рядом с его конем стоял Гульсары. Большой, длинный и сильный, переступил он с ноги на ногу, когда приблизился Танабай, и посмотрел на него спо-

койно и доверчиво темными глазами. Позабыл уже иноходец, как колотил его Танабай вилами по голове. На то он и конь.

— Забудь, Гульсары, не обижайся, — шепнул иноходцу Танабай. — А у меня беда большая. Очень большая беда. — И всхлипнул, обняв шею коня, но сдержался, не заплакал, постыдившись прохожих.

Сел на свою лошадь и поехал домой.

Чоро догнал его за Александровским подъемом. Как только заслышался позади знакомый перестук бегущего иноходца, Танабай обидчиво поджал губы, нахохлился. Оглядываться не стал. Обида за себя темнила душу, темнила глаза. Теперешний Чоро был для него совсем не тем, каким был когда-то прежде. Вот и сегодня — стоило Кашкатаеву повысить голос, и он покорно сел на место, как вышколенный ученик. А что же дальше? Люди верят ему, а он боится сказать правду. Бережет себя, слова выбирает. Кто научил его этому? Пусть Танабай отсталый человек, простой работяга, а ведь он грамотный, все знает, всю жизнь в руководстве ходит. Неужели не видит Чоро, что все это не так, как говорят сегизбаевы и кашкатаевы! Что слова их снаружи красивы, а внутри лживы и пусты. Кого обманывает, ради

чего?

Не повернул Танабай головы и тогда, когда Чоро догнал его и поехал рядом, сдерживая разгоряченного иноходца.

— Я думал, Танабай, мы вместе выедем, — сказал он, переводя дыхание. — Хватился, а тебя уже нет…

— Чего тебе? — все так же не глядя на него, бросил Танабай. — Езжай своей дорогой.

— Давай поговорим. Не отворачивайся, Танабай. Поговорим как друзья, как коммунисты, — начал Чоро и осекся на полуслове.

— Я тебе не друг и тем более не коммунист уже. Да и ты давно уже не коммунист. Ты прикидываешься им…

— Ты это серьезно? — спросил Чоро упавшим голосом.

— Конечно, серьезно. Выбирать слова еще не научился. Что, где и как говорить, тоже не знаю. Ну, прощай. Тебе прямо, а мне в сторону. — Танабай свернул коня с дороги и, не оборачиваясь, так и не глянув ни разу в лицо друга, поехал полем, прямиком в горы.

Он не видел, как мертвенно побледнел Чоро, как хотел остановить его, протянув руку, и как потом скорчился, схватился за грудь, как пова-

лился на гриву иноходца, хватая ртом воздух.

— Плохо мне, — шептал Чоро, корежась от невыносимой боли в сердце. — Ой, плохо мне! — хрипел он, синея и задыхаясь. — Скорей домой, Гульсары, домой скорей.

Мчал иноходец его к аилу по темной, пустынной степи, пугал коня голос человека, слышалось в нем что-то страшное, жуткое. Прижал Гульсары уши, испуганно фыркая на бегу. А человек в седле мучился, корежился, судорожно вцепившись руками и зубами в гриву коня. Поводья болтались, свисая с шеи бегущего Гульсары.

## 20

В тот поздний час, когда Танабай был еще в пути к горам, по улицам аила носился верховой, поднимая лай всполошившихся собак.

— Эй, кто там дома? Выходи! — вызывал он хозяев. — На партсобрание давай, в контору.

— А что такое? Почему так срочно?

— Не знаю, — отвечал посыльный. — Чоро зовет. Сказал, чтобы быстрей шли.

Сам Чоро сидел в это время в конторе. Привалившись плечом к столу, согнувшись, задыхаясь, крепко зажимал он пятерней грудь под рубахой. Мычал от боли, кусал губы. Холодная испарина выступила на позеленевшем лице, глаза провалились в орбиты темными ямами. Временами он забывался, и снова казалось ему, что несет его иноходец по темной степи, что хочет он окликнуть Танабая, а тот, бросив на прощание раскаленные, как уголь, слова, не оглядывается. Прожигают сердце слова Танабая, душу прожигают…

Сюда привели парторга под руки из конюшни, после того как отлежался он там немного на сене. Конюхи хотели отвести его домой, но он не согла-

сился. Послал человека сзывать коммунистов и теперь ждал их с минуты на минуту.

Засветив лампу и оставив Чоро одного, сторожиха возилась у печки в передней комнате, иногда заглядывала в приоткрытую дверь, вздыхала, качала головой.

Чоро ждал людей, а время уходило каплями. Горькими, тяжелыми каплями каждую секунду иссякало отпущенное ему на роду время, цену которого он постигал только теперь, прожив немалую жизнь. Не уследил он дней своих и годов, оглянуться не успел, пролетели они в трудах а заботах. Не все получилось на веку его, не все удалось, как хотелось. Старался, бился, но где-то и отступал, чтобы обойти углы, чтобы не так жестко было ходить. И, однако, не обошел. Приперла его к стене та сила, с которой избегал он сталкиваться, и теперь отходить было некуда, путь кончался. Ах, если бы он пораньше спохватился, если бы пораньше заставил себя прямо смотреть в глаза жизни…

А время убывало горькими, гулкими каплями. Как долго не идут люди, как долго их ждать!

«Только бы успеть, — со страхом думал Чоро. — Только бы успеть все сказать! — Беззвучным, отчаянным криком удерживал он покидавшую

его жизнь. Крепился, готовился к последнему бою. — Все расскажу. Как было дело. Как проходило бюро, как исключили Танабая из партии. Пусть знают: я не согласен с этим решением райкома. Пусть знают: я не согласен с исключением Танабая. Скажу все, что я думаю об Алданове. Пусть потом, после меня, заслушают его. Пусть решат коммунисты. О себе расскажу все, какой я есть. О колхозе нашем, о людях скажу... Только бы успеть, скорей бы уж приходили, скорей...»

Первой прибежала жена с лекарствами. Перепугалась, запричитала, заплакала:

— Да ты в уме своем? Да неужто ты не сыт этими собраниями? Пошли домой. Ты посмотри на себя. Боже мой, подумай хоть о себе!

Чоро не хотел слушать. Отмахнулся, запивая лекарство. Зубы стучали о стакан, вода лилась на грудь.

— Ничего, мне лучше уже, — проговорил он, пытаясь дышать ровней. — Ты подожди там, уведешь меня потом. Не бойся, иди.

И когда послышались с улицы шаги людей, Чоро выпрямился за столом, подавил в себе боль, собрал все силы, чтобы выполнить то, что он считал своим последним долгом.

— Что случилось? Что с тобой, Чоро? — спра-

шивали его.

— Ничего. Скажу сейчас, пусть подойдут все, — отвечал он.

А время убывало горькими, гулкими каплями.

Когда коммунисты собрались, парторг Чоро Саяков встал из-за стола, снял шапку с головы и объявил партсобрание открытым…

## 21

Вернулся Танабай к себе ночью. Джайдар вышла во двор с фонарем. Ждала, глаза проглядела.

И с первого взгляда поняла она, какая беда стряслась с мужем. Он молча разнуздывал коня, расседлывал, а она светила ему, и он ничего ей не говорил. «Хоть бы напился в районе, может, легче было бы ему», — подумала она, а он все молчал, и страшно становилось от его молчания. А она-то собиралась порадовать его — корма подвезли немного, соломы, муки ячменной, и теплее стало, ягнят выгоняли на пастьбу, травку щиплют уже.

— Бектаевскую отару забрали. Нового чабана прислали, — сказала она.

— А хрен с ним, с Бектаем, с отарой, с чабаном твоим…

— Устал?

— Чего устал? Из партии выгнали!

— Да потише ты, сакманщицы услышат.

— Чего тише? Что мне скрывать? Выгнали, как последнюю собаку, и все. Так мне и надо. И тебе тоже так и надо. Мало нам. Ну чего стоишь? Чего смотришь?

— Иди отдыхай.

— Сам знаю.

Танабай пошел в кошару. Осмотрел овец. Потом пошел в загон, там тоже побродил впотьмах и снова вернулся в кошару. Места себе не находил. От еды отказался и разговаривать отказался. Плюхнулся на солому, сваленную в углу, и лежал неподвижно. Жизнь, заботы, тревоги всякие потеряли смысл. Уже ничего не хотелось. Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг.

Ворочался, хотел уснуть, хотел забыться, но где там, куда уйдешь от себя? Снова припомнил, как уходил Бектай, как оставались за ним черные следы на белом снегу, как нечего ему было сказать в ответ, снова представлял себе, как орал Сегизбаев, сидя на иноходце, как поносил его последними словами, как грозил засадить его в тюрьму, как предстал Танабай на бюро райкома вредителем и врагом народа, и на этом кончалось все, вся его жизнь. И снова хотелось ему схватить вилы и броситься с криком, бежать в ночь, истошно орать на весь свет, пока не свалится куда-нибудь в овраг и не свернет там себе шею.

Засыпая, он думал, что лучше умереть, чем так жить. Да, да, лучше смерть!..

Проснулся с тяжелой головой. Несколько минут

не мог сообразить, где он и что с ним. Рядом перхали овцы, блеяли ягнята. Значит, в кошаре он. Брезжил рассвет на дворе. Зачем он проснулся? Зачем? Лучше бы не просыпался совсем. Умереть осталось только, надо покончить с собой…

…Потом он пригоршнями пил воду из речки. Холодную, студеную воду с тонким, хрустящим ледком. Вода с шумом протекала между дрожащими пальцами, а он снова черпал ее и пил, обливаясь. Отдышался, пришел в себя и только тогда представил себе всю нелепость этой затеи с самоубийством, всю глупость этой расправы над собой. Да как можно лишить себя жизни, которая единожды дается человеку?! Да разве сегизбаевы стоят того? Нет, Танабай будет еще жить, он еще будет горы ворочать!

Вернувшись, он незаметно спрятал ружье, патронташ и весь тот день усердно работал. Поласковей хотелось ему быть с женой, с дочками, с сакманщицами, но сдерживал себя, чтобы женщины ничего не заподозрили. А те работали как ни в чем не бывало, точно ничего особенного не случилось, все было в порядке. Благодарен им был Танабай за это, помалкивал и работал. Сходил на выпас, помог пригнать отару домой.

Вечером погода испортилась. Дождь или снег,

но что-то будет. Затуманились горы вокруг, небо отяжелело в тучах. Опять надо было думать, как уберечь молодняк от холода. Опять надо было расчищать кошару, стелить солому, чтобы снова не начался мор. Мрачнел Танабай, но старался забыть, что было, и не падать духом.

Стемнело уже, когда во дворе появился приезжий всадник. Встретила его Джайдар. Они о чем-то поговорили. Танабай в это время работал в кошаре.

— Выйди на минутку, — позвала его жена. — Человек к тебе. — И уж по тому, как позвала она, он почувствовал что-то недоброе.

Вышел. Поздоровался. То был чабан из соседнего урочища.

— Это ты, Айтбай? Слезай с коня. Откуда?

— Из аила. Был я там по делам. Просили передать тебе: Чоро тяжело болен. Сказали, чтобы ты приехал.

«Опять этот Чоро!» Вспыхнула угасшая было обида. Видеть его не хотелось.

— А что я, доктор? Он всегда болеет! У меня тут и без него забот по горло. Погода вон портится.

— Ну, дело твое, Танаке, поедешь не поедешь, сам знаешь. А я передал, что просили. До свидания. Мне пора, ночь скоро.

Айтбай тронул лошадь, но затем придержал.

— Ты подумай все же, Танаке. Плохо ему. Сына вызвали с учебы. Поехали встречать на станцию.

— Спасибо, что передал. Но я не поеду.

— Поедет, — застыдилась Джайдар. — Не беспокойтесь, поедет он.

Танабай промолчал, а когда Айтбай выехал со двора, сказал жене зло:

— Ты брось эту привычку отвечать за меня. Я сам знаю. Сказал, не поеду — значит, не поеду.

— Подумай, что ты говоришь, Танабай!

— Мне нечего думать. Хватит. Додумался до того, что выгнали из партии. Нет у меня никого. И я если заболею, пусть никто не приезжает. Подохну один! — Он махнул в сердцах рукой и пошел в кошару.

Но покоя на душе не было. Принимая роды у маток, таская ягнят, устраивая их в углу, цыкая на орущих овец, расталкивая их, чертыхался и бурчал:

— Давно бы ушел, не страдал бы так. Всю жизнь болеет, стонет, за сердце хватается, а сам с седла не слазит. Тоже мне начальник. Видеть тебя не желаю после этого. Обижайся не обижайся, а я тоже в обиде. И никому нет дела…

На дворе стояла ночь. Снег стал сыпать поне-

многу, и тишина вокруг была такая чуткая, что слышно было даже, как с шорохом падали на землю редкие снежинки.

Танабай не шел в юрту, избегал разговора с женой, и она не приходила. «Ну и сиди, — думал он. — А поехать меня не заставишь. Мне теперь все безразлично. Мы с Чоро чужие люди. У него своя дорога, у меня своя. Были друзьями, а теперь не то. А если я друг его, то где он был раньше? Нет, мне теперь все безразлично…»

Джайдар все же пришла. Принесла ему плащ, сапоги новые, кушак, рукавицы, шапку, которую он надевал при выездах.

— Одевайся, — сказала она.

— Напрасно стараешься. Я никуда не поеду.

— Не теряй времени. Может случиться, что потом всю жизнь будешь жалеть.

— Ничего я не буду жалеть. И ничего с ним не случится. Отлежится. Не первый раз.

— Танабай, никогда я тебя ни о чем не просила. А сейчас прошу. Отдай мне свою обиду, отдай мне свое горе. Поезжай. Будь человеком.

— Нет. — Танабай упрямо мотнул головой. — Не поеду. Мне теперь все безразлично. Ты думаешь о приличии, о долге. Что люди скажут? А я теперь знать ничего не хочу.

— Одумайся, Танабай. Я пойду пока присмотрю за огнем, как бы не упали угли на кошму.

Она ушла, оставив его одежду, но он не тронулся с места. Сидел в углу, не мог переломить себя, не мог забыть тех слов, которые он говорил Чоро. А теперь: «Здравствуйте, проведать явился, как здоровье? Не помочь ли чем?» Нет, не сможет он так, не в его это правилах.

Джайдар вернулась.

— Ты еще не оделся?

— Не надоедай. Сказал: не поеду…

— Встань! — гневно вскрикнула она. И он, к удивлению своему, встал по ее приказу, как солдат. Она шагнула к нему, глядя в тусклом свете фонаря исстрадавшимися, возмущенными глазами. — Если ты не мужчина, если ты не человек, если ты баба слюнявая, то я поеду за тебя, а ты оставайся, нюни разводи! Я поеду сейчас же. Иди седлай немедленно коня!

И он, повинуясь ей, пошел седлать лошадь. На дворе порошил снег. Тьма, казалось, кружилась вокруг бесшумной, медленной каруселью, как вода в глубокой заводи. Горы не различишь — темно. «Вот еще наказание! Куда она теперь одна среди ночи? — думал он, набрасывая впотьмах седло. — И не отговоришь. Нет. Не откажется.

Убей, не откажется. А если собьется с пути? Ну, пусть пеняет на себя...»

Седлал Танабай коня, и самому стыдно становилось: «Зверь я, больше никто. Одурел от обиды. Выставляю ее напоказ, — смотри, какой я несчастный, как мне плохо. И жену извел. А она-то при чем? За что ее терзаю? Не видать мне добра. Никудышный я человек. Зверь, и только».

Заколебался Танабай. Нелегко было отступиться от своих слов. Пошел назад набычившись, опустив глаза.

— Оседлал?

— Да.

— Ну так собирайся. — И Джайдар подала ему плащ. Танабай молча стал одеваться, радуясь, что жена первая пошла на мировую. И все же для вида покуражился:

— А может, с утра поеду?

— Нет, отправляйся сейчас. Будет поздно.

Ночь кружилась в горах тихой заводью. Плавно и мягко оседали большие хлопья последнего весеннего снега. Один среди темных склонов ехал Танабай на зов отвергнутого им друга. Снег налипал на голову, на плечи, на бороду и руки. Танабай сидел в седле неподвижно, не отряхивая его. Так ему было лучше думать. Думал он о Чо-

ро, обо всем том, что связывало их долгие годы, когда Чоро учил его грамоте, когда они вступали в комсомол, а потом и в партию. Вспомнил, как они работали вместе на стройке канала и как Чоро первый принес ему газету с заметкой о нем и с фотографией, первый поздравил, пожал руку.

Смягчался душой Танабай, оттаивал, и его охватывало щемящее чувство беспокойства: «Как он там? А может, и правда ему очень плохо? А то зачем бы вызывать сына? Или сказать хочет что? Посоветоваться?..»

Уже светало. Снег все так же кружил. Танабай заторопил коня, погнал рысью. Скоро за теми вон буграми, в низине, — аил. Как там Чоро? Быстрее бы.

И вдруг в тишине утра донесся смутный, далекий голос со стороны аила. Всплеснул чей-то крик и оборвался, замер. Танабай осадил коня, подставил ухо по ветру. Нет, ничего не слышно. Наверное, это так показалось.

Конь вынес Танабая на бугор. Внизу перед ним среди белых, заснеженных огородов, среди голых садов лежали улицы аила, еще безлюдные в эту раннюю пору. Нигде никого. И только у одного двора толпилась черная куча народа, у деревьев стояли оседланные лошади. Это был двор Чоро.

Почему так много собралось там люда? Что случилось? Неужели…

Приподнявшись на стременах, Танабай судорожно глотнул колючий ком холодного воздуха и замер, и сейчас же погнал коня вниз по дороге. «Не может быть! Как же так? Не может быть!» На душе у него стало так скверно, словно бы он был виновен в том, что там, наверное, случилось. Чоро, единственный его друг, просил приехать на последнее свидание перед вечной разлукой, а он артачился, упрямствовал, тешил свою обиду. Да кто же он после этого? Почему жена не плюнула ему в глаза? Что может быть на свете уважительнее последней просьбы умирающего человека?

Опять перед Танабаем встала та дорога в степи, на которой догнал его на иноходце Чоро. Что он ему тогда ответил? Да разве можно простить себе это?

Как в бреду, ехал Танабай по снежной улице, сгибаясь под тяжестью своей вины и стыда, и вдруг увидел впереди, за двором Чоро, большую группу конных. Они приближались молчаливой кучей и вдруг все разом громко заголосили в один голос, раскачиваясь в седлах:

— Ой-бай, баурымай! Ой-бай-ай, баурым! [26]

«Казахи приехали», — догадался Танабай и понял, что надеяться уже не на что. Соседние казахи, прибывшие из-за реки, оплакивали Чоро как брата, как соседа, как человека, близкого им и известного во всей округе. «Спасибо вам, братья, — подумал в ту минуту Танабай. — От дедов и отцов — в беде и горестях вместе, на свадьбах и скачках вместе. Плачьте, плачьте вместе с нами!»

И сам вслед за ними огласил утренний аил истошным, надсадным криком:

— Чоро-о-о! Чоро-о-о! Чоро-о-о!

Он рысил на коне, свисая с седла то на левую, то на правую сторону, и рыдал по своему ушедшему из этого мира другу.

Вот уже двор, вот стоит возле дома Гульсары в траурной попоне. Оседает снег на него и тает. Остался иноходец без хозяина. Стоять ему с пустым седлом.

Танабай припадает к гриве коня, подымается и снова припадает. Вокруг — едва различимые, как в тумане, лица людей, плач. Он не слышал, как кто-то сказал:

---

**[26] Примечания: 26**

Ой-бай-ай, баурымай! — траурный крик, оплакивание умершего.

— Снимите Танабая с седла. Подведите к сыну Чоро.

Несколько пар рук протянулись к нему, помогли слезть с коня, повели его под руки через толпу.

— Прости меня, Чоро, прости! — плакал Танабай.

Во дворе лицом к стене дома стоял сын Чоро, студент Самансур. Он повернулся к Танабаю в слезах, они обнялись, плача.

— Нет твоего отца, нет моего Чоро! Прости меня, Чоро, прости! — захлебываясь, рыдал Танабай.

Потом их развели. И тут Танабай увидел рядом с собой среди женщин ее, Бюбюжан. Она смотрела на него и молча лила слезы. Танабай зарыдал еще сильнее.

Плакал за все, за все утраты, за Чоро, за вину свою перед ним, за то, что не мог вернуть назад те слова, которые бросил ему по дороге, плакал за нее, что стояла теперь рядом, как чужая, за ту любовь, за ту грозовую ночь, за то, что оставалась она одинокой, и за то, что старела она уже, плакал за иноходца своего Гульсары, стоящего в траурной попоне, за обиды свои и муки, за все то, что было не выплакано.

— Прости меня, Чоро, прости! — повторял он. И

тем самым как бы просил прощения у нее.

Ему хотелось, чтобы Бюбюжан подошла и утешила его, чтобы она утерла ему слезы, но она не подходила. Она стояла и плакала.

Утешали его другие:

— Довольно, Танабай. Слезами не поможешь, успокойся.

И от этого ему было еще горше и больнее.

## 22

Хоронили Чоро после полудня. Мутный диск солнца бледно просвечивал сквозь блеклые слои неподвижных туч. Все еще плавали в воздухе мягкие влажные хлопья снега. По белому полю черной молчаливой рекой тянулась похоронная процессия. Эта река словно бы возникла здесь внезапно и словно бы впервые прокладывала себе русло. Впереди на машине с откинутыми бортами везли усопшего Чоро, туго и глухо запеленатого в белую погребальную кошму. Возле сидели жена, дети, родственники. Все другие следовали верхом на лошадях. Двое шли за машиной пешком — сын Самансур и Танабай, ведший на поводу коня покойного друга, иноходца Гульсары, с пустым седлом.

Дорога за околицей была в мягком ровном снегу. Широкой и темной, изрытой копытами коней полосой следовала она затем по пятам процессии. Она словно бы отмечала последний путь Чоро. Путь выводил к холму, на кладбище. И здесь оканчивался для Чоро уже безвозвратно.

Вел Танабай иноходца на поводу и говорил ему про себя: «Вот, Гульсары, лишились мы с тобой

нашего Чоро. Нет его, не стало… Что же ты тогда не крикнул мне, не остановил меня? Не дал Бог тебе языка. А я хоть и человек, а оказался хуже тебя, коня. Бросил друга на дороге, не оглянулся, не одумался. Убил я Чоро, убил его словом своим…»

Всю дорогу до самого кладбища Танабай вымаливал у Чоро прощение. И на могиле, спустившись в яму вместе с Самансуром, он говорил Чоро, укладывая его тело на вечное ложе земное:

— Прости меня, Чоро. Прощай. Слышишь, Чоро, прости меня!..

Падала в могилу брошенная горстями земля, потом она посыпалась потоками с разных сторон, уже с лопат. Наполнила яму и выросла свежим бугром на холме.

— Прости, Чоро!..

После поминок Самансур отозвал Танабая в сторону:

— Танаке, дело у меня к вам, поговорить нам надо.

И они пошли через двор, оставив людей, дымящие самовары и костры. Вышли на зады в сад. Пошли вдоль бровки арыка, остановились за огородом, у сваленного дерева. Сели на него. Помолчали, каждый думал о своем. «Вот она, жизнь-то, — размышлял Танабай, — мальчишкой

знал Самансура, а теперь вон какой стал. Повзрослел от горя. Теперь он вместо Чоро. Теперь мы с ним как равный с равным. Так оно и должно быть. Сыновья заступают на место отцов. Сыновья род продолжают, дело продолжают. Дай-то Бог стать ему таким же, как отец. Да чтобы дальше пошел, чтобы разумом и умением выше нас поднялся, чтобы счастье творил себе и другим. На то мы и отцы, на то мы и рождаем сыновей с надеждой, что будут они лучше нас, в этом вся суть».

— Ты, Самансур, старший в семье, — сказал ему Танабай, по-стариковски оглаживая бороду. — Ты теперь вместо Чоро, и я готов выслушать тебя, как самого Чоро.

— Должен я вам передать, Танаке, наказ отца, — проговорил Самансур.

Танабай вздрогнул, ясно уловив в говоре сына голос и интонации отца, и впервые обнаружил, что он очень похож на отца, на того молодого Чоро, которого сын не знал, но которого знал и помнил Танабай. Не потому ли говорят, что человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его?

— Слушаю тебя, сын мой.

— Я застал отца живым, Танаке. Вчера ночью успел приехать за час до его кончины. Он был

в сознании до самого последнего вздоха. А вас, Танаке, он очень ждал. Все спрашивал: «Где Танабай? Не приехал?» Мы его успокаивали, что вы в дороге, что вы вот-вот появитесь. Видно, хотел он вам что-то сказать. И не успел.

— Да, Самансур, да. Нам надо было увидеться. Очень надо было. Век не прощу себе. Это я виноват. Это я не успел.

— Так вот, просил он меня передать. Сын, говорит, скажи Танаке моему, что прощения прошу у него, скажи, чтобы обиду не держал в душе и чтобы он сам отвез мой партбилет в райком. Пусть, говорит, Танабай собственноручно сдаст мой билет — не забудь, передай. Потом забылся. Мучился. И, умирая, смотрел так, точно ждал кого-то. И плакал, слов уже было не разобрать.

Танабай ничего не отвечал. Всхлипывая, теребил бороду. Ушел Чоро. Унес с собой половину Танабая, часть жизни его унес.

— Спасибо, Самансур, за слова твои. И отцу твоему спасибо, — промолвил наконец Танабай, беря себя в руки. — Одно лишь меня смущает. Ты знаешь, что меня исключили из партии?

— Знаю.

— Как же я, исключенный, повезу партбилет Чоро в райком? Не имею я на то права.

— Не знаю, Танаке. Решайте сами. А я должен выполнить предсмертную волю отца. И буду вас просить сделать так, как хотел он, покидая нас.

— Я бы от души рад. Но такая беда приключилась со мной. А не лучше, если ты сам отвезешь, Самансур?

— Нет, не лучше. Отец знал, что просил. Если он вам верил, то почему я не должен вам доверять? Скажите в райкоме, что такой был наказ отца моего, Чоро Саякова.

Еще затемно, ранним утром, выехал Танабай из аила. Гульсары, славный иноходец Гульсары, в беде и радостях одинаково надежный конь, — Гульсары бежал под седлом, дробя копытами мерзлые комья дорожной колеи. В этот раз он вез Танабая, ехавшего с особым поручением умершего друга его, коммуниста Чоро Саякова.

Впереди, над невидимыми краями земли, медленно наливался рассвет. В чреве рассвета нарождалась новая заря. Она разрасталась там, внутри серой мглы…

Иноходец бежал туда, к рассвету, к одинокой и яркой звезде, еще не угасшей на небосклоне. Один по пустынной гулкой дороге выбивал он рокочущую дробь ходкой иноходи. Давно не доводилось Танабаю ездить на нем. Бег Гульсары

по-прежнему был стремителен и прочен. Ветер пластал гриву, дул седоку в лицо. Хорош был Гульсары, в доброй силе был еще конь.

Всю дорогу Танабай раздумывал, терялся в догадках, почему именно ему, Танабаю, изгнанному из партии, Чоро наказал перед смертью отвезти в райком свой партбилет. Чего он хотел? Или испытать думал? А может, хотел тем самым сказать о своем несогласии с исключением Танабая из партии? Теперь этого никогда не узнаешь, не выпытаешь. Никогда больше ничего не скажет он. Да, есть такие слова страшные: «Никогда больше!» Дальше и слов уже нет…

И опять нахлынули разные мысли, снова ожило все то, что хотел забыть, оторвать от себя навсегда. Нет, оказывается, еще не все кончено. С ним, при нем еще последняя воля Чоро. Он придет с его партбилетом и поведает о нем, о Чоро, все как есть, расскажет, каким был Чоро для людей, каким был для него. И о себе расскажет, потому что Чоро и он — пальцы одной руки.

Пусть узнают, какими они были тогда, в молодости, какую жизнь они прожили. И, может быть, поймут, что не заслуживает он, Танабай, чтобы отлучали его от Чоро ни при жизни, ни после. Только бы выслушали его, только бы дали

высказаться!

Танабай представил себе, как он войдет в кабинет секретаря райкома, как он положит ему на стол партбилет Чоро и как расскажет обо всем. Признает свою вину, извинится, только бы вернули его в партию, без которой жить ему плохо, без которой не мыслит он самого себя.

А что, если скажут: какое он, исключенный из партии, имеет право приносить партийный документ? «Не должен был ты прикасаться к партбилету коммуниста, не должен был ты браться за это дело. И без тебя нашлись бы другие». Но ведь такова была предсмертная воля самого Чоро! Так он завещал при всех, умирая. Это может подтвердить его сын, Самансур. «Ну и что же, мало ли что может сказать человек при смерти, в бреду, забытьи?» Что тогда он ответит?

А Гульсары бежал по звонкой, смерзшейся дороге и, минуя степь, уже выходил к Александровскому спуску. Быстро домчал Танабая иноходец. Не заметил даже, как приехал.

Рабочий день в учреждениях только начинался, когда Танабай приехал в райцентр. Нигде не задерживаясь, он направил взмокшего иноходца прямо к райкому, привязал его у коновязи, стряхнул с себя пыль и пошел с бьющимся от волнения

сердцем. Что ему скажут? Как его встретят? В коридорах было пусто. Не успели еще понаехать из аилов. Танабай прошел в приемную Кашкатаева.

— Здравствуйте, — сказал он секретарше.

— Здравствуйте.

— Товарищ Кашкатаев у себя?

— Да.

— Я к нему. Я чабан из колхоза «Белые камни». Моя фамилия Бакасов, — начал он.

— Как же, знаю вас, — усмехнулась она.

— Так вот, скажите ему, что парторг наш Чоро Саяков умер и при смерти просил меня отвезти его партбилет в райком. Вот я и приехал.

— Хорошо. Обождите минутку.

Не так уж долго пробыла секретарша в кабинете Кашкатаева, но Танабай перемучился, места себе не находил, дожидаясь ее.

— Товарищ Кашкатаев занят, — сказала она, плотно прикрывая за собой дверь. — Он просил передать билет Саякова в сектор учета. Это там, направо по коридору.

«Сектор учета… направо по коридору». Что это? — не соображал Танабай. Потом понял все разом и разом упал духом. Как же так? Неужели все так просто? А он-то думал…

— У меня к нему разговор. Прошу вас, пойдите

скажите ему. Важный разговор у меня.

Секретарша неуверенно пошла в кабинет и, вернувшись, снова сказала:

— Занят он очень. — И потом добавила от себя сочувственно: — Разговор-то ведь с вами окончен. — И еще тише сказала: — Не примет он вас. Лучше уезжайте.

Пошел Танабай по коридору, завернул направо. Надпись: «Сектор учета». В дверях окошечко. Постучал. Окошечко открылось.

— Что вам?

— Билет привез вам сдать. Умер парторг наш — Чоро Саяков. Колхоз «Белые камни».

Заведующая учетом терпеливо ждала, пока Танабай доставал из-под пиджака кожаную сумочку на ремешке, в которой еще недавно носил свой партбилет и в которой на этот раз привез партбилет Чоро. Передал он книжечку в окошко: «Прощай, Чоро!»

Смотрел, как она писала в ведомости номер партбилета, фамилию, имя, отчество Чоро, год вступления в партию — последняя память о нем. Потом дала ему расписаться.

— Все? — спросил Танабай.

— Все.

— До свидания.

— До свидания. — Окошечко захлопнулось.

Вышел Танабай на улицу. Стал отвязывать поводья иноходца.

— Все, Гульсары, — сказал он коню. — Это все.

И неутомимый иноходец понес его назад, в аил. Большая весенняя степь бежала навстречу с ветром, под рокочущий перестук копыт. Только в беге коня унималась, стихала боль Танабая.

В тот же день вечером вернулся Танабай к себе в горы.

Жена встретила его молча. Взяла коня под уздцы.

Помогла мужу слезть с седла, поддерживая его под руку.

Танабай обернулся к ней, обнял ее, привалился к плечу. Она тоже обняла его, плача.

— Похоронили мы Чоро! Нет его больше, Джайдар. Нет моего друга! — говорил Танабай и еще раз дал волю слезам.

Потом он молча сидел на камне подле юрты. Хотелось побыть одному, хотелось посмотреть на восход луны, которая тихо поднималась из-за зубчатых вершин белого снежного хребта. В юрте жена укладывала детей на ночь. Слышалось, как огонь потрескивал в очаге. Потом запела, хватая за душу, гудящая струна темир-комуза. Будто

ветер тревожно завыл, будто бежал человек по полю с плачем и жалобной песней, а все вокруг молчало, затаив дыхание, все безмолвствовало, и только бежал как будто одинокий голос тоски и скорби человеческой. Будто бежал он и не знал, куда приткнуться с горем своим, как утешиться среди безмолвия этого и безлюдья, и никто не откликался. Он и плакал, и слушал себя один. Танабай понял, что это жена играет для него «Песню старого охотника»...

...В далекие времена был у старика сын — молодой, смелый охотник. Отец сам обучал сына нелегкому делу охотничьему. И тот превзошел его.

Промаха не знал. Ни одна живая тварь не могла уйти от его меткой и смертоносной пули. Перебил он в горах вокруг всю дичь. Маток беременных не жалел, малых детенышей не жалел. Истребил он стадо Серой Козы, первоматери козьего рода. Осталась Серая Коза со старым Серым Козлом, и взмолилась она, обращаясь к молодому охотнику, чтобы тот пожалел старого Козла, не убивал его, чтобы им род свой продолжить. Но тот не послушался, уложил метким выстрелом громадного Серого Козла. Рухнул Козел со скалы. И тогда запричитала Серая Коза, повернулась боком к

охотнику и сказала: «Стреляй мне в сердце. Я с места не стронусь. Но ты не попадешь — это будет твоим последним выстрелом!» Засмеялся молодой охотник над словами выжившей из ума старой Серой Козы. Прицелился. Грянул выстрел. А Серая Коза не упала. Пуля задела ей только переднюю ногу. Испугался охотник — такого еще никогда не случалось. «Ну вот, — обернулась к нему Серая Коза. — А теперь попробуй поймай меня хромую!» Засмеялся в ответ молодой охотник «Что ж, попробуй уйди. А догоню — пощады не жди. Прирежу тебя, старая, как паршивую хвастунью!»

Стала убегать хромая Серая Коза, охотник — за ней. Много дней и много ночей по скалам, по кручам, по снегам и камням продолжалась эта погоня. Нет, не давалась Серая Коза. Давно уже бросил охотник свое ружье, одежда на нем висела клочьями. И не заметил он, как завела его Серая Коза на неприступные скалы, откуда не было путей ни вверх, ни вниз, откуда ни слезть, ни спрыгнуть нельзя было. Здесь и оставила его Серая Коза и прокляла его: «Отсюда тебе не уйти вовек, и никто тебя не сможет спасти. Пусть твой отец поплачет над тобой, как плачу я по убитым детям своим, по исчезнувшему роду своему. Пусть

воет отец твой среди каменных гор, один среди холодных гор, как вою я, старая Серая Коза, первоматерь козьего рода. Проклинаю тебя, Карагул, проклинаю…» С плачем убежала Серая Коза — с камня на камень, с горы на гору.

Остался молодой охотник на головокружительной крутизне. Стоит на узком уступе, прижавшись лицом к стене, боится оглянуться — ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево не ступить ему. Ни неба не видно, ни земли не видно.

А отец тем временем искал его повсюду. Облазил все горы. И когда нашел на тропе брошенное им ружье, понял, что с сыном стряслось несчастье. Побежал он по скалистым ущельям, по темным теснинам. «Карагул, где ты? Карагул, отзовись!» А в ответ ему каменные горы грохотали каменным хохотом, отвечали его же словами: «Где ты, Карагул? Отзовись!..»

«Здесь я, отец!» — вдруг донесся до него голос откуда-то с высоты. Глянул старик вверх и увидел сына своего, как вороненка на краю обрыва, на высокой, неприступной скале. Стоит там спиной к миру, обернуться не может.

— Как же ты там очутился, несчастный сын мой? — перепугался отец.

— Не спрашивай, отец, — отвечает тот. — Я

здесь в наказание свое. Завела меня сюда старая Серая Коза и прокляла страшным проклятием. Я стою уж много дней, не вижу ни солнца, ни неба, ни земли. И лица твоего не увижу, отец. Сжалься надо мной, отец. Убей меня, облегчи мои страдания, прошу тебя. Убей и похорони меня.

Что мог поделать отец? Плачет, мечется, а сын все молит: «Убей меня поскорей. Стреляй, отец! Сжалься надо мной, стреляй!» До самого вечера не решался отец. А перед заходом солнца прицелился и выстрелил. Разбил ружье о камни и запел прощальную песню над телом сына.

*Убил я тебя, сын мой Карагул.*

*Один остался я на свете, сын мой Карагул,*

*Судьба покарала меня, сын мой Карагул.*

*Судьба наказала меня, сын мой Карагул.*

*Зачем обучил я, сын мой Карагул,*

*Тебя ремеслу охотника, сын мой Карагул,*

*Зачем истребил ты, сын мой Карагул,*

*Всю дичь и тварь живую, сын мой Ка-*

*рагул,*

*Зачем уничтожил ты, сын мой Карагул,*

*То, что явилось жить и умножаться, сын*

*мой Карагул?*

*Один остался я на свете, сын мой Карагул,*

*Никто не откликнется, сын мой Карагул,*

*Плачем на мой плач, сын мой Карагул.*

*Убил я тебя, сын мой Карагул.*

*Своими руками убил, сын мой Карагул…*

…Сидел Танабай подле юрты, слушал древний киргизский плач, смотрел, как медленно всплывала луна над молчаливыми темными горами, как зависала она над островерхими снежными пиками, над громоздящимися каменными скалами. И опять молил он умершего друга о прощении.

А Джайдар в юрте все наигрывала на темир-комузе плач по великому охотнику Карагулу:

*Убил я тебя, сын мой Карагул,*

*Один остался я на свете, сын мой Карагул...*

## 23

Близился рассвет. Сидя у костра, в изголовье умиравшего иноходца, припоминал старик Танабай то, что было потом.

Никто не знал, что ездил он в те дни в областной город. То была его последняя попытка. Хотелось ему повидать секретаря обкома, выступление которого он слышал на совещании в районе, и рассказать ему о всех своих бедах. Ему верилось, что этот человек понял бы и помог бы. И Чоро говорил о нем хорошо, и другие хвалили его. О том, что того секретаря перебросили в другую область, он узнал, уже придя в обком.

— А вы не слыхали разве?

— Нет.

— Ну, если у вас очень важное дело, то я доложу нашему новому секретарю, может, он вас примет, — предложила женщина в приемной.

— Нет, спасибо, — отказался Танабай. — Я ведь так хотел, по своему личному делу. Я ведь его знал, и он меня знал. А так беспокоить не стал бы. Извините, до свидания. — Он вышел из приемной, веря в душе, что хорошо знал секретаря и что тот тоже лично знал его, чабана Танабая

Бакасова. А почему бы нет? Они могли бы знать и уважать друг друга, в этом он не сомневался, потому и сказал так.

Шел Танабай по улице, направляясь к автобусной станции. Возле пивного ларька двое рабочих грузили на машину пустые бочки из-под пива. Один стоял в кузове. А тот, что накатывал бочку к нему наверх, случайно оглянулся на проходящего мимо Танабая и замер, переменился в лице. Это был Бектай. Удерживая бочку на накате, он пристально и с неприязнью смотрел на Танабая своими узкими рысьими глазами, ждал, что тот скажет.

— Ну ты что там, уснул, что ли? — раздраженно бросил Бектаю тот, что стоял в машине.

Бочка скатывалась вниз, а Бектай, удерживая ее, пригибался под тяжестью и смотрел не отрываясь на Танабая. Но Танабай не поздоровался с ним. «Так вот ты где. Вот где ты. Хорош. Ничего не скажешь. К пивному делу пристроился, — подумал Танабай и, не задерживаясь, пошел дальше. — Пропадает ведь парень, а? — подумал он затем, замедляя шаги. — Хорошим человеком мог бы стать, может, поговорить?» И захотел вернуться, жалко стало ему Бектая, готов был простить ему все, только бы тот одумался.

Однако не стал этого делать. Понял, что если тот знает о его исключении из партии, то разговор не получится. Не хотел Танабай давать этому злословному парню повода издеваться над собой, над судьбой своей, над делом, которому оставался верен. Так и ушел.

Ехал из города на попутной машине и все думал о Бектае. Запомнилось ему, как тот стоял, пригибаясь под тяжестью скатывающейся бочки, как пристально и выжидательно глядел на него.

Позже, когда Бектая судили, Танабай сказал на суде только, что Бектай бросил отару и ушел. Больше ничего не стал говорить. Очень хотелось ему, чтобы Бектай в конце концов понял, что был не прав, и раскаялся. Но тот, кажется, и не думал раскаиваться.

— Отсидишь — приезжай ко мне. Потолкуем, как быть дальше, — сказал Танабай Бектаю. А тот ничего не ответил, даже глаз не поднял. И Танабай отошел от него. После исключения из партии стал неуверен в себе, виновным чувствовал себя перед всеми. Оробел как-то. Никогда в жизни не думал он, что с ним случится такое. Никто ему не колол глаза, и все равно сторонился людей, избегал разговоров, молчал больше.

## 24

Иноходец Гульсары неподвижно лежал у костра, уронив голову на землю. Жизнь медленно покидала его. Клокотало, хрипело в горле у коня, глаза расширились и угасали, не мигая глядели на пламя, деревенели вытянутые, как палки, ноги.

Прощался Танабай с иноходцем, говорил ему последние слова: «Ты был великим конем, Гульсары. Ты был моим другом, Гульсары. Ты уносишь с собой лучшие годы мои, Гульсары. Я буду всегда помнить о тебе, Гульсары. И сейчас при тебе я уже вспоминаю о тебе, потому что ты умираешь, славный конь мой Гульсары. Когда-нибудь увидимся с тобой на том свете. Но не услышу я там топота твоих копыт. Ведь там нет дорог, там нет земли, там нет травы, там жизни нет. Но покуда я буду жив, не умрешь, потому что я буду помнить о тебе, Гульсары. Перестук твоих копыт будет для меня как любимая песня...»

Думал так старик Танабай и грустил, что время промчалось, как бег иноходца. Что быстро как-то постарели они. Быть может, и рано еще Танабаю считать себя стариком. Но ведь человек стареет

не столько от старости своих лет, сколько от сознания того, что он стар, что время его ушло, что осталось только доживать свой век…

И сейчас, в эту ночь, когда умирал его иноходец, Танабай, заново пристально и внимательно оглядывая пройденное, сожалел, что так рано сдался старости, что не решился сразу последовать совету того человека, который не забывал, оказывается, о нем, который сам нашел его и сам пришел к нему.

Случилось это лет семь спустя после того, как его исключили из партии. Танабай тогда работал объездчиком колхозных угодий в Сарыгоуском ущелье, жил там в сторожке со старухой своей Джайдар. Дочери уехали учиться, а потом вышли замуж. Сын после окончания техникума определился на работу в районе и тоже был уже семейным человеком.

Однажды летом выкашивал Танабай траву по берегу речки. День стоял сенокосный, жаркий и светлый. Тихо было в ущелье. Кузнечики трещали. В рубашке навыпуск, в белых широченных стариковских штанах, ступал Танабай за звенящей косой, ровной, плотной гривой клал траву в валок. С удовольствием работал. И не заметил, как остановился неподалеку легковой «газик»,

как вышли из машины двое и направились к нему.

— Здравствуйте, Танаке. Бог на помощь! — услышал он рядом с собой. Оглянулся и увидел Ибраима. Тот был все такой же проворный, толстощекий, с брюшком. — Вот мы и нашли вас, Танаке, — заулыбался Ибраим во всю ширь лица. — Сам секретарь райкома приехал, увидеть вас пожелал.

«Ох и лиса! — с невольным восхищением подумал о нем Танабай. — Во все времена находит себе место. Смотри, как юлит. Прямо-таки раздобрейший человек. Всякому угодит, всякому услужит!»

— Здравствуйте. — Танабай пожал им руки.

— Не узнаете, отец? — спросил приехавший с Ибраимом товарищ, не выпуская из своей крепкой ладони его руки.

Танабай медлил с ответом. «Где же я его видел?» — допытывал он себя. Перед ним стоял очень знакомый как будто бы и в то же время, видимо, очень изменившийся человек. Молодой, здоровый, загорелый, с открытым и уверенным взглядом, одетый в серый парусиновый костюм, в соломенной шляпе. «Городской кто-то», — подумал Танабай.

— Так это же товарищ... — хотел было подска-

зать Ибраим.

— Постой, постой, я сам скажу, — остановил его Танабай и сказал, смеясь про себя: — Узнаю, сын мой. Еще бы не узнать! Здравствуй еще раз. Рад тебя видеть.

Это был Керимбеков. Тот самый комсомольский секретарь, который смело защищал Танабая в райкоме, когда его исключали из партии.

— Ну, если узнали, то давайте поговорим, Танаке. Пойдемте пройдемся по берегу. А вы пока тут берите косу и покосите, — предложил Керимбеков Ибраиму.

Тот с готовностью засуетился, скидывая с себя пиджак:

— Конечно, с удовольствием, товарищ Керимбеков.

Танабай и Керимбеков пошли по сенокосу, сели у реки.

— Вы, наверно, догадываетесь, Танаке, по какому делу я к вам, — начал разговор Керимбеков. — Смотрю на вас, вы такой же крепкий, сено косите — значит, здоровье в порядке. Этому я рад.

— Слушаю тебя, сын мой. Я тоже рад за тебя.

— Так вот, чтобы яснее вам было, Танаке. Сейчас вы сами знаете, многое изменилось. Многое

уже пошло на лад.

— Знаю. Что верно, то верно. По колхозу нашему могу судить. Дела как будто бы лучше пошли. Даже не верится. Был я недавно в долине Пяти Деревьев, там как раз бедовал я в тот год чабаном. Позавидовал. Кошару новую поставили. Добрая кошара, под шифером, голов на полтыщу. Дом построили для чабана, стало быть. А рядом сарай, конюшня. Совсем не то, что было. Да и на других зимовьях то же самое. И в самом аиле народ строится. Как ни приеду, так новый дом вырос на улице. Дай-то Бог и дальше так.

— Об этом и наша забота, Танаке. Не все еще как надо. Но со временем наладим. А к вам я с вопросом таким. Возвращайтесь в партию. Пересмотрим ваше дело. На бюро был разговор о вас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Танабай молчал. Смутился. И обрадовался, и горько ему стало. Вспомнил все пережитое, глубоко засела в нем обида. Не хотелось ворошить прошлое, не хотелось думать об этом.

— Спасибо на добром слове, — поблагодарил Танабай секретаря райкома. — Спасибо, что не забыл старика. — И, подумав, сказал начистоту: — Стар я уже. Какой толк теперь от меня партии? Что я могу сделать для нее? Никуда я уже

не гожусь. Прошло мое время. Ты не обижайся. Дай мне подумать.

Долго не решался Танабай, все откладывал — завтра поеду, послезавтра, а время шло. Тяжеловат стал на подъем.

Однажды все же собрался, оседлал коня, поехал, но вернулся с половины дороги. А почему? Сам понимал, что по глупости своей вернулся. Сам себе говорил: «Одурел, в детство впал». Понимал все это, но ничего не мог поделать с собой.

Увидел он в степи пыль бегущего иноходца. Сразу узнал Гульсары. Теперь он редко когда его видел. Белым бегучим следом прочерчивал иноходец летнюю, сухую степь. Смотрел Танабай издали и мрачнел. Раньше пыль из-под копыт никогда не догоняла иноходца. Темной стремительной птицей несся он впереди, оставляя за собой длинный хвост пыли. А теперь пыль то и дело накатывалась на иноходца облаком, окутывала его. Он вырывался вперед, но через минуту снова исчезал в густых клубах самим же им поднятой пыли. Нет, теперь он не мог уйти от нее. Значит, крепко постарел, ослаб, сдался. «Плохи твои дела, Гульсары», — с едкой печалью подумал Танабай.

Он представлял себе, как задыхался конь в

пыли, как трудно ему было бежать, как злился и нахлестывал его всадник. Он видел перед собой растерянные глаза иноходца, чувствовал, как он изо всех сил старается вырваться из клубов пыли и не может. И хотя всадник не мог услышать Танабая — расстояние было изрядное, — Танабай крикнул: «Сто-ой, не гони коня!» — и пустился вскачь наперерез ему.

Но не доскакал, остановился вскоре. Хорошо, если тот человек поймет его, а если нет? А если скажет ему в ответ: «Какое тебе дело? Откуда ты такой указчик? Как хочу, так и еду. Проваливай, старый дурак!»

А иноходец тем временем уходил все дальше неровным, трудным бегом, то исчезая в пыли, то вновь вырываясь из нее. Долго смотрел ему вслед Танабай. Потом повернул коня и поехал назад. «Отбегали мы свое, Гульсары, — говорил он. — Постарели. Кому мы теперь нужны такие? И я тоже не бегун теперь. Осталось нам, Гульсары, доживать последнее...»

А через год увидел Танабай иноходца, запряженного в телегу. И опять расстроился. Печально было смотреть на старого, вышедшего из строя скакуна, уделом которого осталось ходить в побитом молью хомуте, таскать ветхую повозку.

Отвернулся Танабай, не захотел смотреть.

Потом еще раз встретил Танабай иноходца. Ехал на нем по улице мальчишка лет семи, в трусиках, в драной майке. Пришлепывал коня голыми пятками, сидел он на нем гордый и ликующий оттого, что сам управлял лошадью. Видно, мальчуган ехал на коне впервые, и потому посадили его на самую смирную и покорную клячу, каким стал бывший иноходец Гульсары.

— Дедушка, посмотрите на меня! — похвалился малыш старику Танабаю. — Я Чапаев! Я сейчас через речку поеду.

— Ну-ну, езжай, я посмотрю! — ободрил его Танабай.

Смело, одергивая поводья, мальчишка поехал через речку, но, когда конь стал выбираться на тот берег, не удержался, шлепнулся в воду.

— Ма-ма-а! — заревел он от испуга.

Танабай вытащил его из воды и понес к коню. Гульсары смиренно стоял на тропинке, держа на весу поочередно то одну, то другую ногу. «Мозжат ноги у коня, — знать, совсем уже плох», — понял Танабай. Он посадил мальчика на старого иноходца.

— Езжай и больше не падай.

Гульсары потихоньку побрел по дороге.

И вот в последний раз, уже после того, как иноходец снова попал в руки Танабая, и после того, как, казалось бы, старик выходил его, поставил на ноги, последний раз свозил он его в Александровку и теперь умирал в дороге.

Ездил Танабай к сыну и невестке по случаю рождения внука, второго у них в семье ребенка. Привез им в подарок тушу барана, мешок картошки, хлеба и всякой снеди, испеченной женой. Понял он потом, почему Джайдар не захотела приезжать, сказалась больной. Хотя и не говорила никому, но не любила она невестку. Сын и без того был человеком несамостоятельным, безвольным, а жена попалась жестокая, властная. Сидя дома, помыкала мужем, как ей хотелось. Бывают же такие люди, которым ничего не стоит обидеть, оскорбить человека, лишь бы верх держать, лишь бы чувствовать свою власть.

Так случилось и на этот раз. Оказывается, сына должны были повысить по работе, но потом почему-то повысили другого. Вот она и накинулась на не повинного ни в чем старика:

— Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да табунщиках проходил. Все равно под конец выгнали, а из-за этого теперь сыну твоему ходу нет по службе. Так и будет он сто

лет сидеть на одной должности. Вы там живете себе в горах — что вам еще нужно, старикам, а мы здесь страдаем из-за вас.

Ну и прочее в этом духе…

Не рад был Танабай, что приехал. Чтобы как-то успокоить невестку, сказал неуверенно:

— Если уж такое дело, может, я обратно в партию попрошусь.

— Очень ты там нужен. Так тебя там и ждут. Обойтись не могут без старого такого? — фыркнула она в ответ.

Если бы то была не невестка, жена его родного сына, а кто-нибудь другой, разве позволил бы Танабай разговаривать с собой таким образом? Но своих, плохи они или хороши, никуда не денешь. Промолчал старик, не стал перечить, не стал говорить, что мужа ее не продвигают по службе не потому, что отец виноват, а потому, что сам он никудышный и жена попалась ему такая, от которой доброму человеку бежать надо куда глаза глядят. Недаром же в народе говорят: «Хорошая жена плохого мужа сделает средним, среднего — хорошим, а хорошего прославит на весь мир». Но опять же не хотелось старику позорить сына при жене, пусть уж думают они, что он виноват.

Потому и уехал Танабай поскорей. Тошно было

ему оставаться у них.

«Дура ты, дура! — ругал он теперь невестку, сидя у костра. — Откуда только беретесь вы такие? Ни чести, ни уважения, ни добра человеку другому. Все о себе печетесь. Обо всех по себе судите. Только не быть по-твоему. Нужен я еще, нужным буду...»

## 25

Открылось утро. Вставали горы над землей, прояснялась, ширилась степь вокруг. На краю оврага чуть тлели побуревшие угольки потухшего костра. Рядом стоял седой старик, накинув на плечи шубу. Теперь уже не было нужды укрывать иноходца. Отошел Гульсары в иной мир, в табуны Господни… Смотрел Танабай на павшего коня и диву давался — что с ним стало! Гульсары лежал на боку с откинутой в судороге головой, на которой видны были глубокие впадины — следы уздечки. Торчали его вытянутые, несгибающиеся ноги с истертыми подковами на потрескавшихся копытах. Больше им не ступать по земле, не печатать следы по дорогам. Надо было уходить. Танабай наклонился к коню в последний раз, опустил ему на глаза холодные веки, взял уздечку и, не оглядываясь, пошел прочь.

Шел он через степь в горы. Шел, продолжая долгую думу свою. Думал о том, что стар он уже, что дни его на исходе. Не хотелось ему умирать одинокой птицей, отбившейся от своей быстрокрылой стаи. Хотел умереть на лету, чтобы с прощальными криками закружились над ним

те, с которыми вырос в одном гнездовье, держал один путь.

«Напишу Самансуру, — решил Танабай. — Так и напишу в письме: помнишь иноходца Гульсары? Должен помнить. На нем я отвозил в райком партбилет твоего отца. Ты сам отправлял меня в тот путь. Так вот, возвращался я прошлой ночью из Александровки, и в дороге пал мой иноходец. Всю ночь я просидел возле коня, всю жизнь свою продумал. Не ровен час, паду в пути, как иноходец Гульсары. Должен ты мне помочь, сын мой Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был. Как теперь понимаю, твой отец Чоро неспроста завещал мне отвезти его партбилет в райком. А ты его сын, и ты знаешь меня, старика Танабая Бакасова…»

Шел Танабай по степи, перекинув уздечку через плечо. Слезы стекали по лицу, мочили бороду. Но он не утирал их. То были слезы по иноходцу Гульсары. Смотрел сквозь слезы старик на новое утро, на одинокого серого гуся, быстро летящего над предгорьем. Спешил серый гусь, догонял стаю.

— Лети, лети! — прошептал Танабай. — Догоняй своих, пока крылья не устали. — Потом вздохнул и сказал: — Прощай, Гульсары!

Он шел, и слышалась ему старинная песня.

…Бежит верблюдица много дней. Ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись. Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко…